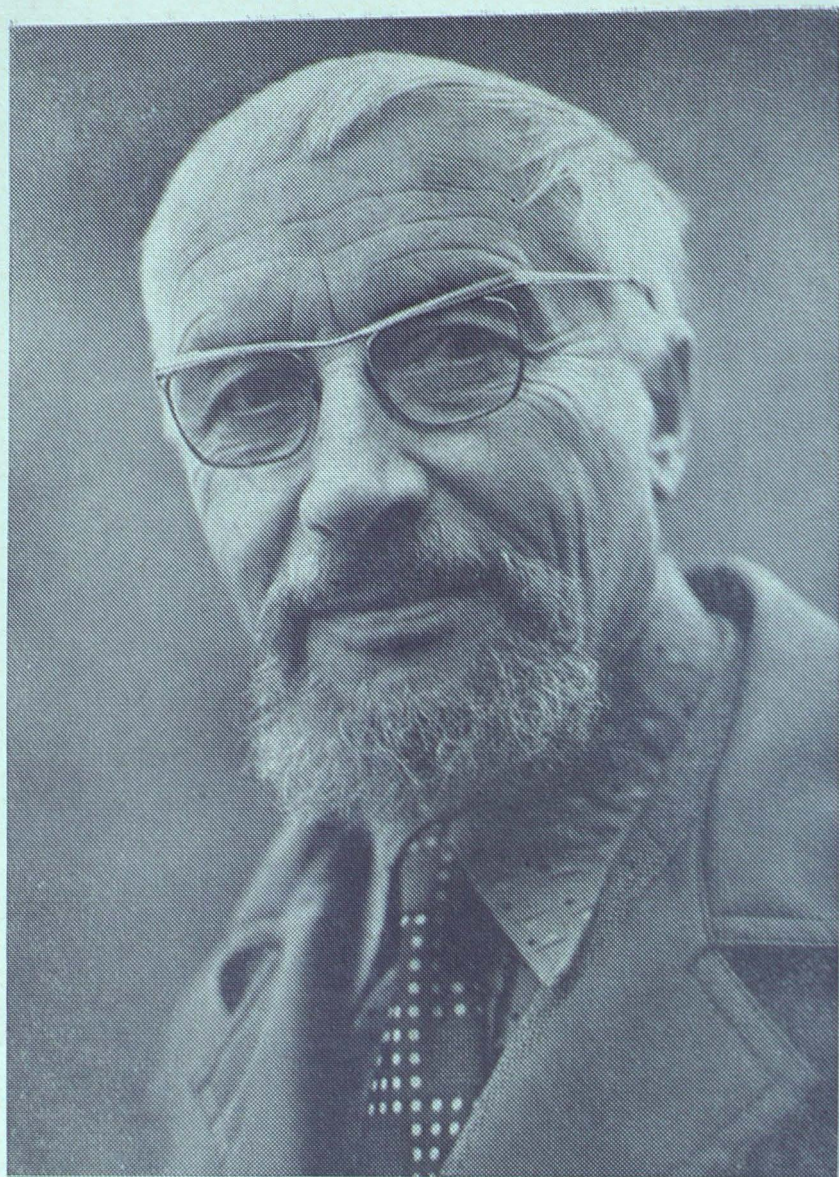


АЛЕКС ДЕБОЛЬСКИ

**ТАКОЕ
ДОЛГОЕ
ЛЕТО**



АЛЕКС ДЕБОЛЬСКИ

**ТАКОЕ
ДОЛГОЕ
ЛЕТО**

РОМАНЫ

Перевод с немецкого автора

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1979**

Советский немецкий прозаик Алекс Дебольски — автор ряда книг, опубликованных в разные годы на родном и русском языках.

В книгу «Такое долгое лето» вошли два романа.

Действие романа «Туман» происходит на Украине в первые послереволюционные годы. Автор показывает драматизм эпохи, процесс революционной ломки в сознании людей, а также поднимает важные морально-этические проблемы.

Роман «Такое долгое лето», посвященный жизни современного села в Прииртышье, написан в юмористическом ключе, в нем много комических ситуаций, не лишен он и острых сатирических черт.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1979 г.



ТУМАН

РОМАН



З

емлю окутал туман. Мягкий и непроницаемый, он укрыл холмы и долины, дома и деревья, реки и мосты.

И людей.

И людские слезы.

И людскую кровь.

Стекло окна прохладно. Оно выдерживает тяжесть моей головы. Если бы его не существовало, моя голова окунулась бы в туман, который стелется за окном, словно вата.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЕЗД

Свои письма к нам он пишет печатными буквами. Вот и все, что я о нем знаю. Прямо скажем, не много. Почти ничего. Даже меньше, чем ничего. Но чем труднее задача, тем выше честь ее решения. И я ни минуты не сомневаюсь, что решу ее.

Я поднимаюсь на подножку вагона. При этом я невольно усмехаюсь, потому что этот странный поезд кажется мне ненастоящим, прямо-таки неправдоподобным: поезд, который никуда не едет.

Я ни на мгновение не забываю об исключительной важности своего задания. Все мое существо исполнено сознания огромной ответственности. И все же — так бывало уже и раньше — я могу быть в хорошем настроении, могу быть веселым, а где надо — и сердитым.

тым. То есть я могу вести себя так, как будто бы все внешние обстоятельства воздействуют на меня обычным образом, как будто мое поведение только ими и определяется.

Итак, я вхожу в вагон, единственный пассажирский вагон этого необычайного железнодорожного поезда.

За тонкой переборкой стрекочет пишущая машинка. Прохожу чуть подалее по узкому коридору, и человек, за которым я следую, открывает одну из дверей, пропускает меня вперед.

И вот я стою в неожиданно просторном помещении, которое только своими узкими окнами, без крестовидных переплетов, но с подвижной фрамугой, отличается от обычной комнаты. Сопровождающий меня человек снимает свою серо-бурую, жесткую, как деревяшка, брезентовую куртку, пристраивает ее на крючок железной вешалки возле двери. Не спеша, основательно вытирает тяжелые яловые сапоги о соломенный, деревенского вида половик. Бросает на ходу зеленую форменную фуражку с черным, влажно блестящим лаковым козырьком на грубо сколоченный деревянный топчан, покрытый серым солдатским одеялом. Затем устраивается с удобством в пружинном кресле с потертой обивкой, которое стоит за большим черным письменным столом с точеными ножками.

— Вот так.— говорит он с дружелюбной, располагающей улыбкой.— Теперь мы можем в полном спокойствии побеседовать друг с другом. Присаживайтесь, пожалуйста.

Неужели он что-нибудь подозревает? Застав меня за разговором с рабочими, он не сумел скрыть своего недовольства. Обеспокоен? Но, надо надеяться, он не догадался, что речь шла как раз о нем. Обставляет ли он наш разговор такими церемониями, чтобы выиграть время и собраться с мыслями, или же это его обычная манера поведения?

Я опускаюсь на кривоногий, жалобно скрипящий стул.

— Вот мои бумаги,— говорю я.

— Да что там, вовсе не обязательно,— возражает он.— Мы от этого совсем уже привыкли. У кого сейчас бумаги в порядке? Главное, чтобы человек умел что-то

делать, а это выясняется сразу, как только он приступит к работе.

Тем не менее он берет мои документы и внимательно их изучает.

Да, вовсе не надо было мне высказывать со своими бумагами, раз тут это не принято. С самого начала оказался белой вороной.

— Даже направление Совета Народного Хозяйства! Весьма отрадно.

Перестарались? Пожалуй, да.

— И три курса технологического института за плечами. Да это же просто замечательно. Где учились? В Харькове? Мне тоже не чуждо это учебное заведение.

— Я знаю. Вы были там профессором. Но в мое время вас, к сожалению, уже не было.

— Действительно, я вас что-то не припомню.

— Я был зачислен в тысяча девятьсот двенадцатом. А в конце пятнадцатого был призван на военную службу.

— Да, да, такова судьба многих одаренных молодых людей. Сейчас они достигли бы уже бог знает каких высот, молодые образованные специалисты. Да, война многим перечеркнула все планы. Война — и ее последствия.

— Вы имеете в виду — революция? — спрашиваю я и тут же жалею об этом. «Не надо торопиться — говорю я себе. — Никакого нажима, иначе пропало дело с доверием».

Но профессора, по-видимому, мой вопрос вовсе и не ставит в затруднительное положение.

— Нет, я имею в виду другие последствия. Разруху. Неразбериху...

— Это преодолимо.

— Вот именно. Этим-то мы и занимаемся. В какой чине вы закончили службу?

— Прапорщик, выше чинов не выслужил. А вы, если мне дозволено спросить?

— Я никогда не был на военной службе, упаси бог. Никогда и не испытывал к ней никакого влечения. Сугубо штатский человек... Ну ладно, перейдем к делу, не так ли? Что вы практически знаете по железнодорожному мостостроению? Вы когда-нибудь видели заклепку?

Мне нравится его манера разговора. Вообще есть что-то симпатичное в этом старике. Его спокойствие, уверенность в себе, отеческое добродушие. Он привык к превосходству над окружающими, но, как видно, не злоупотребляет им. Да и рабочие говорили о нем с почтением.

Все это плохо согласуется с картиной, которая складывалась из сообщений неизвестного.

Но не надо торопиться. Первое впечатление может быть обманчивым. А может и оказаться самым верным.

— Здесь вам придется иметь дело не только с техническими вопросами. А управлять людьми в трудовом процессе далеко не просто, особенно в наше время, когда старые понятия выброшены за борт, а новые еще не выработались. Вы упомянули революцию. Не знаю, как к ней относитесь вы, и не собираюсь выяснять ваших позиций. Но, во всяком случае, если судить по вашему возрасту, то до революции вы еще, вероятно, не были заняты на производстве, так ведь? Значит, это пойдет вам, пожалуй, даже на пользу: по крайней мере вам не придется переучиваться.

Он задвигался в кресле, подыскивая еще более удобное положение для своего крупного, слегка уже рыхлеющего тела. Да, он так и остался профессором: даже одному слушателю готов прочесть целую лекцию.

— А вот нам, старым производственникам, новая обстановка дает много материала для размышления. Наша русская отсталость давно уже стала притчей во языцех. А знаете ли вы, между прочим, почему в России при царе невозможен был никакой прогресс? Потому, что никакое истинное дарование не желало поступать на службу к царской власти. Несправедливая власть может привлечь на свою сторону только негодяев, в лучшем случае дураков. Таково мое убеждение. Может быть, у вас другое, это дело ваше.

С самого начала все идет совершенно иначе, чем я себе представлял. Оказывается, это он собирается переманивать меня на сторону новой власти!

— Наш рабочий не может тягаться с европейским или американским хотя бы уже по той простой причине, что крепостное право отменено у нас всего лишь шестьдесят лет назад. Однако... Можно было бы предполагать, что вот, мол, прекратится злоупотребление властью и

все наладится само по себе. Теперь у нас фабрики, как говорят, принадлежат рабочим. Но те, кому приходится организовывать производство, сталкиваются с теми же трудностями: низкая квалификация, никуда не годная трудовая дисциплина, пьянство, ленность, безалаберщина и всякое такое прочее.

Он откровенно наслаждается присутствием внимательного слушателя. Ничего удивительного, в таком медвежьем углу будешь рад любому новичку.

— Эти явления, которые в конечном счете имеют следствием низкую производительность труда, для нас, как я уже сказал, не новы, или, пожалуй, их следует считать новыми в том смысле, что раньше можно было истолковывать их как реакцию на жестокую эксплуатацию со стороны фабрикантов. Но вот фабрикантов не стало, и что же?.. А дело в том, что необходимо время, чтобы люди сумели перемениться. Но если мы станем ждать, пока это произойдет, как же мы справимся с нашими производственными задачами, да еще таким образом, чтобы была заметна разница между старыми порядками и новыми? Ну-с, что вы на это скажете, молодой человек?

Вот уж чего я никак не ожидал, так это постановки подобных вопросов.

— Мне кажется, людям нужно объяснить... Призвать их...

— Так я и знал! Призвать! Ну ладно, один раз призвать, другой раз, может быть, и подействует. Но в дальней перспективе? Тот, кто считает, что людей можно побудить работать только с помощью одних призывов, уподобляется садовнику, который, желая ускорить рост деревьев, тянет их за верхушку... Есть и другие пути — к примеру, сдельщина. Многие поддаются ее воздействию, но выход ли это? Разве что в редких случаях. Корыстолюбие почти всегда сопутствует посредственности. Апеллировать не к карману, а к совести — вот это было бы, пожалуй, более надежным путем и уж во всяком случае более порядочным. С другой стороны, у кого есть совесть, тот и так не может работать плохо, сам по себе не может. Но он, совестливый, хочет, чтобы все вокруг было по справедливости! Как только он заметит несправедливость, пропала и у него всякая охота к работе. Да, да, таков русский человек с его заострен-

ным, настороженным чувством справедливости. Почему у него так развито это чувство, вопрос другой. Может быть, потому, что слишком уж много несправедливости пришлось ему стерпеть. А может быть, русские в этом отношении вовсе и не отличаются от других народов. Каждый говорит о том, что ему ближе. Меня лично ничто так не увлекает, как русская история.

Теперь он, кажется, замечает, что слишком далеко зашел, пустившись в философские рассуждения с едва знакомым человеком. Не иначе, как сильно изголодался по соответствующему собеседнику.

— Ну да ладно, все это не имеет прямого отношения к делу. Однако с проблемами организации работы вам придется еще как столкнуться. Разумеется, вы сможете в любую минуту обратиться ко мне за советом, но, честно говоря, я и сам иной раз становлюсь в тупик перед некоторыми вещами. Надо бы, так сказать, всем вместе... Вы согласны?

Все это, конечно, очень важно, и я бы, что и говорить, со всей охотой... Однако не за этим я прибыл сюда.

— Да, разумеется. Но если быть со своей стороны откровенным, я чувствую себя далеко не достаточно подготовленным.

— Да, да, я знаю. Ну, да ведь опыт, он еще придет. Главное, чтобы имелось желание.

Нет, я ожидал чего угодно, но только не этого. У меня такое ощущение, словно я обманываю лучшие надежды этого доброго старика. Он на меня рассчитывает. Он мне рад. Надеется найти во мне союзника. А я? Мне придется его разочаровать. А может быть, и нет? А не играет ли он какую-то двойную игру? Только для чего бы?

Теперь я уж и вовсе не знаю, что тут происходит и с кем я имею дело.

II

Туман мягок и непрозрачен. Похоже, что он приглушает даже звуки. Кажется, что звуки должны заблудиться в этой непроходимой белизне, или не достигнуть того уха, для которого они предназначены.

Гудок локомотива?

Выстрел?

Крик о помощи?

Нельзя пойти по следам звуков, туман приглушает их так же, как он мешает видеть, и никак не понять, откуда донесся звук, с близкого расстояния или изда-лека.

МОСТ

Разбудил меня какой-то резкий звук, похожий не то на ружейный, не то на пулеметный огонь. Сначала сквозь дрему доносились отдельные выстрелы, потом несколько, затем все больше и больше, чаще и чаще. Порой казалось, что выстрелы раздаются совсем близко, над самым ухом, вспышками слепят глаза. И вот я уже совсем проснулся.

Через узенькую щель в разошедшей двери ко мне врывается тонкий, как лезвие ножа, солнечный луч. Снаружи доносятся жесткие удары по металлу — множество тяжелых молотков колотят по натянутым струнам из звенящей стали. Так, значит, они уже работают там, на мосту! Я вскакиваю со своего топчана, который пронзительно взвизгивает подо мной.

С вафельным полотенцем через плечо и большим куском хозяйственного мыла в руке — и то, и другое могло бы выдать меня внимательному наблюдателю как близкое к источникам снабжения служебное лицо, — я еще раз осматриваюсь в моем новом жилище. Это треть товарного вагона, так называемой теплушки, отделенная от серединного прохода дощатой перегородкой. Высоко под потолком, кое-как застекленные, два маленьких окошка. Два топчана на козелках из неструганых тесин, такие же самые, как в кабинете у профессора, на них набитый соломой тюфяк, желтоватая холщовая простыня и серое солдатское одеяло. Грубо сколоченный стол и два табурета.

Моего товарища по комнате уже нет, наверно, он ушел на работу.

Спускаюсь по шаткой деревянной лесенке, направляюсь к жестяному умывальнику, прибитому к наружной стене вагона, но утренний воздух так ошеломительно ударяет мне в лицо, он такой чистый, влажный и приятный после вчерашнего дождя, что я не могу удержаться и сбегаю по откосу к реке.

Как ни очарован я поэтической красотой природы, тем не менее с ходу запоминаю местные приметы. Сразу замечаю различие в облике двух деревень, виднеющихся за рекой по ту и по другую сторону железнодорожной насыпи. Слева, то есть к востоку, там, где ослепительный пшенично-желтый солнечный диск повис в неподвижной голубизне, прячутся в густой зелени равномерные белые кубики под соломенными шатрами, выглядывают из-за оград, сплетенных из прутьев,— украинское село, как на картине. Справа от железной дороги, на удалении нескольких сот шагов от плоского берега реки, широко раскинулась русская деревня: серые бревенчатые избы, широкая, поросшая травой улица, красные железные крыши на домах богатеев.

По эту сторону реки, за высоким, обрывистым берегом,— сосновый бор на песчаных холмах, стройные, высокие стволы и пышные нежно-зеленые кроны. Внизу, под обрывом,— широкая отмель из золотистого песка.

По ту сторону реки необъятный простор зеленого луга усеян обширными белыми пятнами, местами сливающимися воедино, которые издаലെка выглядят как снег. И только когда я начинаю различать движение в гуще этих «снежных пятен», сопровождаемое громким «га-га», до меня доходит, что это гуси, неисчислимое множество гусей пасется здесь, на жирной черноземной луговине. «А в городе не увидишь уже и кошки»,— приходит мне в голову. И я снова вспоминаю напутственные слова комиссара Дратвина.

В большинстве районов страны недород. Рабочие без хлеба. Но в некоторых местностях урожай отменный, в том числе и здесь, в этом уголке, где соприкасаются друг с другом Украина и Россия. Есть единственный путь для вывоза накопившегося здесь у крестьян продовольствия, которое они охотно обменяли бы на плуги, текстильные товары, мыло и керосин. Этот путь — железная дорога, сильно пострадавшая во время гражданской войны. Она уже восстановлена на всем своем протяжении, остался один лишь только мост.

Скоро должен быть готов и он. Но в последнее время к нам стали поступать сообщения, что в ремонтном отряде, который называется «Головной ремонтный поезд № 47», окопались бывшие деникинские офицеры,

что начальник поезда, старый «спец», охотно предоставляет убежище недобитым белогвардейцам. Они умышленно замедляют строительные работы. И более того — не исключена опасность диверсии.

— Вот такие дела, Шольц. Вся эта история пока еще весьма туманна, почему операции и дается кодовое название «Туман». Но мы не можем ждать, пока появится больше исходных данных, мы сами должны их добыть. Слишком много поставлено на карту, — сказал комиссар Дратвин и испытующе посмотрел мне в глаза. — Давненько уже тебе не приходилось забираться во вражеские тылы, правда? Ну, так вот, желаю удачи. Будь осторожен, никто не знает, нет ли там среди них людей из деникинской контрразведки. В случае необходимости подашь сигнал тревоги, Чека немедленно подключится в открытую. Ясно?

И вот я вижу перед собой этот мост. С этой песчаной отмели, во встречных лучах утреннего солнца, он смотрится как резко вычерченный силуэт: три широких арки, толстая черта несущих балок и паутина решетки между ними. Мост выглядит почти исправным.

— А ты отличный пловец, — слышу голос откуда-то сверху, когда возвращаюсь к своей теплушке.

С вагонной крыши свесилась голова моего товарища по комнате. Два лукавых, насмешливо прищуренных глаза на раскрасневшемся, довольном лице.

— Ты что делаешь там, наверху?

— Хлопочу о своем здоровье. Утреннее солнце — это сильнейшее лечебное средство, чтобы ты знал.

Человек, которого я ищу, пишет свои сообщения печатными буквами, он не хочет быть узанным. А может быть, и он взбирается по утрам на вагонную крышу, заботясь о своем здоровье?

III

Осенний туман, он густой. Ничего не видно в этом плотном слое белой ваты, сколько ни всматривайся в него.

*Лихо вспрыгнул граф влюбленный
На коня, потрянул головой*

*И помчался к нареченной,
Прямо в замок родовой...*

*Проклятье! Теперь еще этот дурацкий стишок будет
меня преследовать!*

ПОСВЯЩЕНИЕ

Первый день. Он всегда остается в памяти, даже если в этот день не происходит ничего особенного.

— Пойдемте, я провожу вас к вашему строительному участку,— говорит профессор, когда я с постыдным опозданием заявляюсь в служебный вагон.

На мои извинения он не обращает внимания, делает вид, как будто их не слышит, только взглядывает мимоходом на свои большие, толстые серебряные часы с отпрыгивающей пружинной крышкой, которые он вытаскивает из нагрудного кармана своего форменного железнодорожного кителя.

Мы идем по насыпи к мосту. Все громче раздаются удары кувалд, при разговоре уже приходится напрягаться, иначе голоса не слышно в общем шуме.

Мы останавливаемся над огороженной площадкой величиной с рыночную площадь какого-нибудь небольшого городка. Внизу в муравьиной возне я различаю инструментальную кладовую, несколько верстаков под открытым небом, огромный штабель ипал и несколько кузнечных горнов.

— Федот Прокопьевич! — зовет профессор.

Зова там, внизу, пожалуй, не слышно, однако кто-то заметил, как профессор подает знаки, указывает на них тому, кому они адресованы, и вот он уже шествует к нам размеренным шагом. На нем светлый, в клеточку, обильно заляпанный мазутом франтовской пиджак и синие брюки галифе, вправленные в брезентовые сапоги цвета хаки, а на голове, непропорционально большой по сравнению с приземистой фигурой, буденновский шлем. В противоположность своей по-южному живописной наружности разговаривает он медленным, тягучим говором, с ударением на растянутое «о».

— Ну как дела, Прокопыч? — говорит профессор.— Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с вашим новым начальником участка.

Прокопыч бросает на меня беглый взгляд, опускает глаза, переступает нерешительно с ноги на ногу, наконец высказывается:

— А чего, нешто мы не справляемся?

Его свисающие черные усы кажутся повисшими еще ниже.

— Почему же, Федот Прокопьевич? — возражает профессор. — Совсем не в этом дело. Андрей Карлович возьмет на себя техническое руководство, наладит снабжение материалами. Он инженер, с ним вы можете посоветоваться...

— Это-то да. Оно конечно. Так ведь мы и сами вроде неплохо справлялись.

— А теперь дело пойдет еще лучше, Прокопыч. Или вы опасаетесь, что при усиленном техническом контроле выработка станет ниже?

— Мы сроду халтурой не занимались, Федор Денисович. Грех на душу берете — такое говорить.

— Да ничего я не говорю. И это не ради контроля, а в порядке помощи.

Прокопыч в замешательстве смотрит в сторону, сопит. Профессор переводит разговор в другую плоскость:

— Что у вас сегодня, Прокопыч, плохое настроение?

— Какое уж тут будет настроение, когда кругом одни деэртиры.

— Как! Опять Шундика упустили?

— Что значит упустили?.. Позавчера свадьба была. Вчера половина артели опохмелялась. Сегодня все на месте, Шундика нету. Сам же обещал до конца доработать! Но уж тестюшка у него! Это такой кулак, каких свет не рожал. Трех лошадей имеет и семь коров. Этому такого батрака, как наш Семен, только подавай. Я знал, что к тому идет. Так нет, все говорили, пусть женится, раз ему девка по праву пришлась. Теперь мы нашего Шундика только и видели.

— Может быть, он еще вернется, Прокопыч? Вы с ним разговаривали?

— Да как же я с ним поговорю? Они же меня на порог не пускают, вся эта кулацкая свора. Они там пьянствуют день и ночь, а когда Семена спросишь, они отвечают — он спит, а другой раз — что его нету. Но это все враки.

— Семена Шундика потерять нельзя,— говорит профессор.— Вот Андрей Карлович этим и займется.

А почему бы и нет? С чего-то же надо начинать! А вдруг этот Шундик как раз и имеет пристрастие к печатным буквам?

Потом мы осматриваем мой участок. К нему относится целый пролет моста длиной в сорок метров: две несущих балки из спаренных швеллерных стальных брусьев, две арки из склепанной угловой стали и решетка фермы, которая усиливает несущие конструкции. Все это должно быть скреплено с помощью тысяч заклепок.

Мы идем вдоль полуготового моста по узкому деревянному настилу, пробираемся между дымящими нагревательными горнами, мимо рабочих, которые с помощью простых сверлильных приспособлений, взмахивая рычагом туда и сюда, проделывают отверстия в стали. Грохот ударов кувалдами здесь оглушительен. Клепальщики попарно сидят на шпалах, на стальных балках, стоят на узких боковых площадках лесов. Один клещами вставляет раскаленный докрасна стержень заклепки в отверстие, молотком заколачивает заклепку по самую головку, затем что есть силы прижимает головку к балке, другой же бьет кувалдой по противоположному концу — раз, два, три, десяток ударов, — пока и там не образуется шаровидная шляпка. Вот она еще красная, но через минуту будет синей и затем черной — заклепка остынет и, остывая, стиснет силой своего сжатия соединенные части металла. Так она будет держать их вечно, пока не придет новая война с пушками, бомбами и динамитом...

Или здесь еще со старой войной не покончено, еще длится старая вражда?

Пока что слишком мало исходных данных. Почти никаких.

Но у меня еще есть время.

А внизу река несет свои чистые, прозрачные воды, ее поверхность, если смотреть немного вдаль, сияет серебристым отливом, но если направить взгляд отвесно вниз, то видно, как сквозь увеличительное стекло, желтое песчаное дно с маленькими круглыми камушками и зеленые водоросли, кольшующиеся от течения, как волосы на ветру, и даже рыбок можно разглядеть отсю-

да, сверху, маленькие, проворные, безгласные существа, которые своей непостижимостью с незапамятных времен приводят человека в изумление и восторг.

— Итак, я оставляю вас на волю судьбы и Федота Прокопьевича,— говорит начальник строительства.— Сегодня вечером милости прошу ко мне, расскажете о ваших первых впечатлениях, договорились?

Он ушел, а я остался с глазу на глаз с этим неприветливым человеком, которого мое появление, по-видимому, вовсе не устраивает.

IV

Ничего не видно за туманом, который обволакивает землю.

Можно только догадываться о том, что скрывает туман, точно же знать этого никто не может. Лишь когда туман рассеется, станет ясно, все ли еще остается на старых местах. То, что спрятано туманом, не может быть реальным.

Единственная реальность, которая мне осталась,— это оконное стекло, остужающее мой лоб.

«ЧТО У ТЕБЯ ЗА ДУШОЙ!»

— Так-так,— говорит Прокопыч, когда мы остаемся с ним один на один и оба бесцельно озираемся, стоя посреди мостовой фермы.— А сам-то откуда будешь?

— В Харькове родился,— отвечаю я, несколько озадаченный.

Его фамильярность мне вполне по нраву. Но как он распознал во мне «своего»?

— Ну, значит, ты здесь недалеко от дома. А я вот из Лысьвы, с Урала, слышал про такие места?

Через несколько минут мы уже хорошие друзья, и Прокопыч убеждает меня, что «дезертира», этого простака, попавшегося в ловушку кулацкой кабалы, я непременно должен выволить.

Едва Прокопыч уходит узнать, нельзя ли разжиться новыми сверлами, потому что вроде бы только что пришла снабженческая дрезина, как я замечаю парня.

который со своего рабочего места энергично подает мне знаки, прося подойти. Он сидит верхом на стальной балке и просверливает в ней отверстие; разговаривая со мной, он продолжает двигать рычагом вперед и назад.

— Вы, наверное, новый начальник участка? — говорит он и показывает белые зубы, ровные и блестящие, как жемчужины. По-детски круглое лицо измазано мазутом, непокорный вихор то и дело падает на глаза, парень отстраняет его голым мускулистым предплечьем. Козырек его некогда защитного цвета, а теперь черной фуражки задран вверх, сама же фуражка сидит на затылке. Когда-то белая нижняя рубашка с засученными по локоть рукавами вылезла из-под пояса и развеивается на ветру парусом, но на потных плечах она прилипла.

— Я уже слышал. Вы бывший прапорщик, но воевали за наших, за красных, я имею в виду. Э-э, здесь все друг о друге все знают. А чего Прокопыч от вас хотел? Небось чтобы вы ему дурака Сеньку вызволили от кулаков? Он с этим ко всем пристаёт. Ну, еще бы, Сенька силен, как бык, и на работу зол, этого у него не отнимешь. Только он не вернется. Из-за Прокопыча. Старик сам виноват. Ему все было мало, он хотел из человека последние жилы вымотать. Аккордная работа, понимаете? Прокопыч как десятник получает свою долю, а ему деньги нужны. Корову у него забили в его деревне под Лысьвой, на Урале. А у самого девятéro детей, кто бы это подумал. Он был полурабочий-полукрестьянин. Они все там работают на заводе, весной же уходят домой, в деревню, засевают поля, потом среди лета косят сено, в осень убирают хлеба, а в остальном работают на заводе, понимаете? В своем деле как кузнец он разбирается крепко, этого у него не отнимешь. Но ему нужны деньги, без денег он домой не вернется. Девятéro детей, и еще жаль, говорит, что до десяти не догнал, до круглого числа, война, говорит, помешала. Гражданскую он тоже воевал. За красных, само собой, они там, на Урале, с каких пор все большевики. У него в кармане письмо от евонной Насти, это его жену так зовут, а написала старшая дочка Нюра, потому что жена писать не умеет. Там все сказано про корову и прочее, как из-за бескормицы пришлось зарезать. Он нам сам все письмо прочитал. Он всегда читает это письмо,

когда пьяный, только пьет он исключительно на чужие, свои деньги бережет на корову. Девятеро детей, вы себе представляете? В ихней деревне это еще и не диковина, он говорит, у других бывает до восемнадцати штук. Как же без коровы? Без коровы никак нельзя. У него деньги в чулке, а чулок в подштанниках прячет. Не верите? Чтобы мне провалиться на этом месте, если вру. Он все точно подсчитывает, кто сколько дыр просверлил, сколько заклепок забил. У него порядок!

Парень хохочет во все горло. Поди разберись, то ли он осуждает Прокопыча, то ли восхищается им.

— А у тебя сколько детей?

— Ну-у, нет, меня на эту удочку не поймашь! Мишка Парфенов — и дети? Никак не вяжется. Это же значит — ходить в брачном ярме! Никогда! Я даже на Сенькину свадьбу не пошел. Из-за принципа. Долой буржуазные предрассудки, вот как!

Прокопыч возвращается, ворчит на снабженцев. Мишке Парфенову он все же сует украдкой новенькое длинное сверло и при этом подмигивает мне доверительно одним глазом.

В обеденный перерыв все, вооружившись котелками, направляются к полевой кухне, которая развернута чуть в стороне от производственной площадки, в тени большого дуба: два объемистых черных котла под навесом и несколько грубо отесанных длинных столов со скамьями.

Здесь я впервые вижу в полном сборе всю свою бригаду. Восемнадцать человек. Двадцатилетние парни, мужики под сорок, старики за пятьдесят. Красноармейские гимнастерки и яловые сапоги. Крестьянские поддевки с лаптями. Бородатые и бритые лица. Только руки как будто выструганы из одного дерева. Большие. Тяжелые. Мозолистые. Надежные.

Может быть, незнакомец потому и пишет печатными буквами, что другими не умеет?

Мишка Парфенов подмигивает мне заговорщически, изображает жестами: с этим народом еще хлебнешь горюшка!

Я же чувствую себя среди них как у себя дома, как в своем бывшем полку, хотя и вижу людей впервые. Я перехватываю направленные на меня взгляды — любопытные, испытующие. «С чем пришел к нам этот но-

вый, что у него за душой?—написано в этих взглядах.— Будет он только требовать от нас больше выработки? Или же он и нам что-нибудь даст? Хотя бы для успеха нашей работы. А может быть, также и для жизни? Ведь жизнь теперь начинается совершенно заново! Не сразу во всем разберешься. Хорошо, если бы кто-то подсказал. А новый, кажется, с образованием...»

Мишка Парфенов предлагает мне свой котелок, но увы, я должен идти наверх, в «салон», находящийся в одном из вагонов, иными словами — в офицерскую столовую. Мне нельзя отделяться от тех, кто там, наверху. Ибо здесь, внизу, у меня меньше забот, здесь я как у себя дома.

▼

«Что с вами, Шольц? Вам плохо?»

Это профессор.

На протяжении двух месяцев он был моим начальником. По крайней мере так ему казалось.

Его мягкая рука ложится мне на плечо: невероятная фамильярность со стороны профессора.

«Идите домой, Шольц. Теперь уже ничем не поможешь. Может быть, позвать Павлова?»

«Нет-нет, не надо. Я сейчас пойду. Спасибо».

Мне в самом деле надо идти. Копаться в мыслях можно и дома. Но здесь такое прохладное оконное стекло...

Как же это было с профессором?

ЧАЕПИТИЕ У ПРОФЕССОРА

По окончании работы я иду к начальнику поезда.

Я должен рассказать ему о моих впечатлениях. Зачем ему это нужно? Он определенно не ожидает от меня никаких новых предложений для улучшения организации работ. Он просто хочет больше узнать обо мне! «Иногда новичку бросаются в глаза вещи, которые нам, старикам, примелькались и мы оставляем их без внимания», — сказал он. Неплохой предлог, чтобы заставить выговориться новичка.

Человек, у которого я угощаюсь чаем — настоящим китайским чаем, который ныне в диковинку, — этот человек умен. Я не могу отказать ему в уважении. А игра с сильным партнером всегда интересна. Я несколько оправился от первых неожиданностей и сейчас попробую взять реванш.

Моя роль удастся мне легко. Каждый из нас имеет естественную потребность общения с людьми. При этом люди узнают, кто есть кто и что от кого можно ожидать.

Но не слишком ли отвлекают меня взгляды юного создания, представленного мне как его дочь? Ах, нет, просто они придают нашей беседе немного дополнительного интереса, эти взгляды, и больше ничего. А уж на это-то самообладания у меня хватит. Что меня больше занимает, так это мысль о том, почему присутствует только дочь, а где же жена?

Я стараюсь не смотреть на девушку, однако все время ощущаю ее присутствие. Удивительно, но ее взгляд, который, как я знаю, направлен на меня, мне несколько не мешает. Напротив, я как будто бы чувствую в этом взгляде даже какую-то поддержку. В коротких репликах, которыми время от времени обмениваются отец и дочь, сквозит, мне кажется, некоторая холодность, если не отчужденность, хотя не было произнесено ни одного резкого выражения. Он называет ее нежным словом «детка», да и в ее голосе, когда она называет его папой, слышится отзвук привычной нежности. И все же остается чувство, как будто здесь что-то разбито вдребезги и оба всего лишь кричат друг другу подбадривающие слова через непреодолимую пропасть.

Мне становится как-то беспокойно, хотелось бы знать, откуда взялось это напряжение, однако разговор идет о других вещах и я, как младший и подчиненный, не могу разрешить себе никакой нескромности.

— Так вы считаете, что и другие артели могли бы перейти на аккордную? — спрашивает начальник поезда. — Да, у Прокопыча производительность самая высокая. Но другие — они просто не хотят. В России всегда недолго любили аккордную систему. Рабочие усматривают в ней что-то аморальное.

— А вы, если позволено спросить, вы находите аккордную работу аморальной?

— Я не хочу навязывать рабочим свои взгляды. Нам следует принаравливаться к образу мысли рабочего. Вы не находите?

— Мне кажется, мораль не может быть одинаковой для всех времен. Если мораль мешает нам делать полезное дело, в нашем случае ускорить восстановление моста, то следует повнимательней присмотреться к этой морали. Аккордная работа для прибыли предпринимателя — это одно дело, но если речь идет о стройке, которая принадлежит самому народу?

— Все это так, но практически при аккордной работе нам действительно больше приходится сталкиваться с аморальными явлениями. Знаете ли вы, что Прокопыч предложил инструментальщику самогонки, чтобы тот выдавал его артели лучшие сверла? Ну хорошо, на своем участке он ускорит восстановление моста, а на других? А как подсчитать урон от недовольства, которое потом возникает на стройке?

— Рабочим надо лучше разъяснять широкие взаимосвязи, чтобы они научились рассматривать свою задачу с высоты общих интересов. Это приходит тогда, когда рабочий начинает осознавать свое новое положение в обществе в качестве хозяина производительных сил.

— Может быть. Но как вы собираетесь сообщить ему это сознание?

— Люди учатся на опыте. Рабочий увидит, что с улучшением общего экономического положения улучшается и его собственная жизнь.

— И человек будет лучше работать, когда он знает, что это всем на пользу, так? А не тогда, когда он знает, что больше получит только он один? Это было бы прекрасно. Но люди различны. Все зависит от того, кто одержит верх, кто наведет свой порядок, такой порядок, который ему больше подходит.

Что он, действительно не понимает или же все еще хочет испытать мою политическую подкованность? Во всяком случае, мне надо быть начеку и ни в коем случае не следует раздражаться.

— А вы думаете, что люди могут по своему усмотрению создать общественный уклад, не повинаясь всеобщим законам развития общества?

— Люди пытаются, насколько это возможно, действовать в соответствии со своими идеалами.

— Значит, по-вашему, идеалы являются движущей силой развития общества?

— Я думаю, что расстояние между идеалами и действительностью со временем будет сокращаться. Вы улыбаетесь — находите мое мнение столь комичным?

— Извините, если я задам вам такой вопрос: вы знакомы с учением Маркса?

— Должен вам признаться: только в изложении его противников.

— Могу себе представить, что это было за изложение!

— Возможно, возможно. Но ведь мы говорили о практических вещах. Итак, вы полагаете, что вот улучшится экономическое положение страны и рабочий заметит, что улучшилось также и его собственное положение. Достаточно ли этого, чтобы в корне изменить его отношение к труду? Люди учатся на опыте, в этом вы совершенно правы. Но из опыта, который придет, которого сейчас еще нет, научиться нельзя. Пока что люди учатся на прежнем опыте, а из этого прежнего опыта известно, что между выгодой для одного и всеобщими интересами зияет непреодолимая пропасть. Или, может быть, этой пропасти уже не существует, хотите вы сказать?

— Но ты же сам говорил, папа, что может существовать выгода для всех,— подала свой голос дочь профессора.

— Ах, детка! Мечты о вечной справедливости, им предается множество людей в России.

— Только такой мир, в котором люди ищут не выгоду, а справедливость, может быть прекрасен.

— Желаю тебе увидеть такой мир. Или хотя бы такой, где выгода и справедливость идут рука об руку. Как вы думаете, такое возможно? Насколько я понимаю, подобные цели и ставит перед собой советская власть?

Девушка улыбается мне. Вот такой всегда мой отец, как бы говорит ее улыбка. Едва только подвернется подходящий собеседник, так и пошли философские и политические споры. На то он и профессор!

Выходит, что он последовательно держит сторону советской власти. Как будто и во мне он признал ее сторонника. Ну и прекрасно, разыгрывать противника советской власти мне ни в коем случае не следует. Таково было мнение и комиссара Дратвина. «Во-первых, это не наш метод,— говорил он.— Во-вторых, ты ни при каких условиях не должен допустить, чтобы рабочий класс увидел в тебе врага. Без его поддержки ты ничего не достигнешь. В-третьих, никому не придет в голову заподозрить в тебе лазутчика. А в-четвертых, это тебе все равно не удалось бы».

— Справедливость! Понятие для меня слишком расплывчатое. Еще вчера в нашей стране противостояли друг другу две огромные армии, люди стреляли друг в друга. Почему? Потому, что одним вершиной справедливости казалось то, что другие считали вопиющей несправедливостью. Несколько яснее становится картина, если рассматривать явления не с позиций абстрактной справедливости, а с классовой точки зрения.

Сегодня мое участие в дискуссии удастся мне несколько лучше, но все же я недоволен собой. Меня все время заносит в теоретические дебри, и мне приходится говорить умные вещи, вместо того чтобы выяснять конкретные обстоятельства. Или мне самому хочется блеснуть умом в присутствии девушки? Или это профессор со своей склонностью к теоретизированию так на меня влияет?

— Да, сегодня много говорят о классах. Наверное, это и правомерно. Люди еще недостаточно далеко ушли в своем развитии, чтобы переступить через собственную выгоду и обратиться к тому, что вы так метко окрестили абстрактной справедливостью. И если они теперь становятся на классовую точку зрения, то это уже означает большой шаг вперед, не так ли?.. Да, блажен, кто точно знает, к какому классу он принадлежит. Ну, а к какому классу вы отнесете, например, меня?

— Для вас, профессор, как и для каждого интеллигента, вопрос должен быть повернут обратной стороной: с каким классом вы готовы идти? А это как раз и выявляется в вашей точке зрения.

— Ах, вот что! Ловко это у вас получается. Ну, так давайте посмотрим, какова моя точка зрения. Я строю мосты. Являются ли мосты, которые я построил до ре-

волюции, выражением моей принадлежности к имущему классу? А те, которые я построю после революции,— к трудящемуся? Именно вот этот я строю во второй раз. Один раз так, а другой раз эдак.

Он смеется добродушно, и я смеюсь вместе с ним. А что мне остается? Этот человек умен и красноречив. Что думает он в действительности?

— С тех пор как вы работаете на советскую власть, а она, как известно, есть власть трудящихся классов, вы фактически уже причислили себя к этим классам. Многие же из ваших коллег не желают ничего строить для новой власти.

— Кого вы имеете в виду? Я знаю всех мостостроителей России.

— Я говорю вообще.

— А я, видите ли, в этом случае за конкретность. Если они сейчас не строят — я имею в виду своих коллег,— то лишь потому, что пока еще ничего не строится.

— Те, которые ничего не строят, они и раньше ничего не строили,— напоминает о своем присутствии дочь.— Теперь они оплакивают старую власть, потому что при ней они могли паразитировать.

— Ты права, детка. А у нас нет времени для оплакивания. Мы работаем.

— Ах, папа, зачем ты так несерьезно говоришь! Ты же никогда не симпатизировал старой власти, как всякий честный человек.

— Ладно, не спорю, но признаюсь, что если бы у нас сейчас была какая-то другая власть, я все равно стал бы работать.

Я пытаюсь дать разговору новое направление:

— Многие предпочитают подождать и посмотреть, что будет дальше. Многие не хотят своими сотрудничеством с новой властью опорочить себя перед старой. Потому что думают, что она снова вернется, независимо от того, желают ли они этого возвращения или же опасаются.

— Мне нечего ждать. Человек, который что-то умеет делать, живет затем, чтобы предоставить свои способности в распоряжение общества. Какого общества? Человеческого. Классовые различия не играют лично для меня никакой роли. И я не вижу никакой нужды

скрывать свои взгляды. Ни перед какой властью. Я строю, а это всегда пользовалось спросом. И будет пользоваться спросом всегда.

Теперь он перегибает палку. Теперь он хочет казаться более белым, чем он есть в действительности. Зачем?

— Я полагаю, что как раз при новой власти со временем будут строить все больше и больше. И люди, которые умеют строить, будут все более в цене и в почете.

— Будем надеяться на лучшее.

Мне кажется, что настал момент, когда можно ближе подойти к предмету моего особого интереса.

— Извините...

С обращением я все еще окончательно не определился. «Господин профессор»? «Товарищ профессор»? «Господин» отброшен окончательно и бесповоротно, а «товарищ» прочно вошел в обиход только среди людей одного образа мыслей.

— Извините, Федор Денисович, если я задам вам один вопрос, который будет носить несколько личный характер... Вот, если вы позволите, почему, собственно, вы работаете здесь? Ведь вы, как крупный специалист, профессор, определенно могли бы и при советской власти рассчитывать на какую-то более высокую должность. Ну конечно, я понимаю, этот мост, так сказать...

— Этот мост — папин первенец. Он построил его еще в прошлом столетии. Будучи молодым инженером, — подала снова голос дочь.

— Да, да, я понимаю. И тем не менее. Снова работают институты, везде нужны хорошие профессора...

— А я забился в этот медвежий угол. Подозрительно, не правда ли?

— Я совсем не в этом смысле. Но ведь место выбирают себе неспроста. Человек ищет такое место, где он принесет больше пользы, вы сами это говорили.

— Кто уж там может точно знать, где он принесет больше пользы. Обучать специалистов для новой власти? Ничего не имею против. Но кому теперь до учения? С другой стороны... Скажите мне... — профессор откашливается, — скажите, пожалуйста, вот вы были у красных. Как, по вашему мнению, обойдется советская власть с теми, кто боролся против нее? Хорошо, вы были в Красной Армии, было ли это вашим свободным вы-

бором или нет, я не знаю и не спрашиваю об этом. Но многие были по другую сторону, и это не всегда было их свободным выбором. Сразу замечу, что я говорю не о себе, я никогда не был на военной службе, и вообще мне нечего опасаться. Но есть и другие. Теперь они забились в свои норы и дрожат. И ведь это не какие-то там несколько дюжин, это сотни тысяч, если не миллионы.

Кто-то стучится в дверь. Я замечаю, как дочь профессора вскидывает голову и бросает на дверь беспокойный взгляд.

— Пожалуйста! — говорит отец.

Дверь открывается, и входит молодой человек. Он высокого роста, с широкой грудью, у него темно-каштановые волосы. Голову на длинной, стройной шее держит высоко, в нем легко можно было бы узнать военного, прошедшего хорошую выучку, даже в отсутствие формы. Но в том-то и самое поразительное, что на нем надеты бриджи и офицерская гимнастерка из зеленоватой английской диагонали, той самой, которую носили в денкинских войсках. В руке он держит офицерскую фуражку. Не хватает только погон и кокарды.

Возникает короткое замешательство.

— Добрый вечер. Прошу извинить за вторжение.

— Проходите, Борис, садитесь. Мы тут как раз беседуем...

— Благодарю вас, Федор Денисович, я только забежал на минуту. Лиля, я думал, ты явишься сегодня на репетицию. Без тебя ничего не получается. Но я уже вижу, у вас гость. Прошу прощения.

Он не хочет оставаться, прощается. Но после его ухода вдруг исчезает вся атмосфера благорасположения и доверительности, которая, казалось, только-только начала налаживаться. Лиля хмурит брови, смотрит в сторону, профессор задумывается, становится рассеянным. Моего последнего вопроса он больше не касается. Я со своей стороны не решаюсь о нем напомнить. Через какие-нибудь четверть часа я прощаюсь и ухожу.

Иду домой. Солнце еще не совсем скрылось за верушками сосен в ближнем бору, заливают его золотисто-розовым светом. Мне это кажется странным, ибо я полагал, что провел у профессора много времени и ду-

мал, что уже поздний вечер. Здесь, на воле, прохладно, дышится легко и свободно.

Но меня не веселит вечерний, пропитанный смолой воздух. Я недоволен собой. Меня угнетает сознание своей умственной неповоротливости. Куда ты лезешь, военный разведчик Шольц! Может быть, на войне, где все ясно, где все было поделено на два противостоящих друг другу лагеря, ты был на своем месте, ты был смел и находчив, может быть. Но вот ты приходишь в соприкосновение с миром, где все цвета и оттенки перемешались в бесчисленных комбинациях и где тебе противостоят люди, превосходящие тебя по крайней мере в образованности...

У меня такое чувство, что эти часы я растратил, как последний бездельник. Впервые во мне начинает шевелиться сомнение в моей способности выполнить поставленную задачу.

VI

Существует ли эта река? Существует ли еще этот мост? Существует ли золотистый пляж? Все окутал туман. Непроницаемый для взора, цепкий и бесчувственный, он простер над землей свои ватные руки и все закрыл ими.

Пришла моя власть, говорит туман, и так будет во веки. Это наглость с его стороны, не что иное, как наглость. Ведь его власть не может продержаться долго, подуют ветры, и ему конец. Он это знает, потому-то он так и спешит насладиться своим недолговечным господством.

БЕЛЫЯ ЦВЕТOK

Мне снится сон: я лежу за толстым стволом ивы где-то внизу, у реки, и веду наблюдение за противником, который занят какими-то действиями на мосту.

Я вижу там высокорослые, стройные, юркие фигуры, которые быстро лазают по фермам, вижу свежие, здоровые лица с пышными, закрученными кверху, «вильгельмовскими» усами, золотые погоны сверкают

на солнце, отблески резко бьют мне в глаза, мне приходится моргать, а юркие фигуры наверху подносят тем временем все больше ящиков с динамитом. Я хочу стрелять, но отблески от золотых погон мешают мне целиться, я хочу встать и сменить позицию, но песок слишком рыхл и слишком глубоок, на него нельзя опереться, он только засасывает, когда начинаешь шевелиться, засасывает все глубже, глубже, и вдруг я слышу выстрелы. Сначала одиночные, потом все чаще, чаще... Это наши пришли, радуюсь я и открываю глаза.

Что такое, неужели я снова проспал? Нет, на мосту еще все тихо. Но мой сосед и сегодня уже успел исчезнуть. Определенно он уже наверху, на крыше, принимает свои солнечные ванны. Я уже знаю, что он работает фельдшером, что это единственный медицинский работник не только на наш поезд, но и на близлежащие деревни и что его приемная находится здесь же, в нашем вагоне. Больше я пока ничего о нем не знаю. Когда я вчера вернулся домой, он уже лежал в постели.

Я встаю с каким-то блаженным чувством. Давно уже я не чувствовал в себе такой легкости и озаренности, — наверное, с самого детства.

Я бегу к реке. Приятное чувство покоя разливается по всему телу. Откуда оно взялось?

...Когда я вернулся, мой сосед по комнате уже лежал в постели. На его лице был заметен нездоровый румянец, может быть, у него была повышенная температура. Его глаза были открыты, но он даже не взглянул на меня, когда я вошел, и не выразил никакого желания завязать разговор. Меня это вполне устраивало, потому что...

Да, теперь я знаю, почему у меня так светло на душе.

Глаза! Ее глаза. Темные, неизмеримо глубокие, чуть-чуть мечтательные, малоподвижные большие глаза на тонком и бледном, в общем не очень приметном девичьем лице.

Она была молчаливой, сдержанной, но не робкой. С неподражаемой грацией и достоинством хлопотала она над комичным пузатым самоваром, с легкой, едва заметной улыбкой подавала мне граненый стакан и подвигала блюдечко с крошечными таблетками сахараина. Лиля, так называл ее отец. Лилия, белый цветок. Как

она была одета? При всем желании я не могу этого вспомнить.

...Прохладная вода освежает, у нее зеленоватый оттенок, ее прикосновение ласкает с бархатной нежностью. Я отдаюсь небыстрому течению, и оно несет меня туда, где заросли водяных лилий образуют кольцо вокруг небольшого омута, зеленое кольцо со множеством белых шариков.

Я с давних пор люблю этот цветок, наверное, это мой первый цветок, который я вообще осознал как образ красоты, как маленькое чудо, как дар природы.

Не в силах противостоять искушению, я начинаю рвать эти лилии. А почему бы и нет?

Впервые за много лет я снова рву лилии, с самых детских лет не занимался этим промыслом, но я все еще умею вести его по всем правилам искусства. Я скольжу рукой по гибкому, тонкому стеблю пониже, вглубь, погружаясь в воду с головой, затем захватываю его осторожно, но крепко и плавно тяну из глубины, так, чтобы каждому цветку сохранить его длинный стебель. Я добываю все больше цветков, пускаю их плавать в омутке, а сам ныряю снова и снова. Мной овладевает жадность, охотничий азарт, я хочу набрать как можно больше лилий. Сам не знаю зачем. Может быть, просто затем, чтобы доказать свое бывшее умение. Но перед кем? Перед самим собой?

Легкомыслие? Пусть так, но кому оно вредит? В конце концов, человеку нужна разрядка.

С огромным букетом длиннохвостых белых водяных лилий я иду вдоль этого странного, никуда не едущего поезда, то и дело немного отклоняюсь от теплушек, чтобы различить, какая же из них служит мне домом, и вдруг вижу перед собой девушку, миниатюрную и хрупкую, с темными волосами, бледным лицом и редкими веснушками на худощавых щеках.

Я бы не узнал ее, если бы не глаза. Большие. Глубокие. Внимательные.

— Доброе утро. Куда вы идете так рано?

— Я иду на мост.

— А что вы будете там делать?

— Совершать свой контрольный обход.

— А что вы контролируете?

— Кто явился на работу, а кто нет.

— Ох, значит, вчера я попался со своим опозданием,

— Вчера вас еще не было в моем списке.

— А сегодня?

— Сегодня да.

— Это меня радует. Я бы хотел всегда быть в вашем списке.

— А не пришлось бы мне всегда отмечать вам отсутствие?

— О нет! Даже опозданий не будет!

— Ну, тогда до свидания.

— До свидания. Я исправлюсь. Видите, я уже спешу.

Мы пошли каждый своей дорогой, и тут меня вдруг осеняет.

— Стойте! — кричу я и догоняю ее. — Вот. Для вас. Лилии.

VII

Так ли уж все это важно? Разве это поможет мне разобраться в случившемся и найти свою ошибку или, может быть, убедиться в своей правоте и освободиться от этого невыносимого груза вины?

Почему, почему же так случилось? В чем кроется моя ошибка — моя вина? Мог ли я этому помешать? Где, когда, в чем я запутался?

«СЕЯТЬ-ТО НАДО!»

После работы я иду в украинскую деревню, чтобы познакомиться с Семеном Шундиком. Мне подробно объяснили дорогу. Вот маленький пруд на краю деревни. Теперь тропа идет вдоль плетня, опоясывающего дворы с тыла. Потом мне нужно будет повернуть направо, и вскоре я увижу церковь. Сразу же за кладбищем простирается большая песчаная площадь, на которую по одну сторону выходят церковь с высокой колокольней и попевский дом, а по другую — сельская школа с домом учителя, а наискосок от нее стоит лавка торговца Гаврилы Диденко, который уже много лет как переехал в го-

род, и чуть подалее, в начале улицы,— искомый дом, принадлежащий его старшему сыну.

Громадный рыжий лохматый пес рвется изо всех сил, натягивая цепь, вертится и так и сяк, лает не взахлёб, а с расстановкой — он тебе не какая-нибудь шавка, он пес дела, хрипло лает, с приглушенной яростью.

На крыльце появляется старуха, машет на него досадливо, пес отворачивается с оскорбленным видом и прячется в своей конуре. Но это не обыкновенная копура, сколоченная кое-как да из чего попало, ее можно было бы назвать собачьим дворцом, она из струганных, плотно подогнанных досок, под высокою двускатной крышей.

Каким же тогда быть людскому-то дому! И впрямь на вид он отнюдь не сродни обычной украинской хате, поставленной стенами прямо на землю. Он стоит на каменном, почти метровом цоколе, оштукатуренные, побеленные стены построены никак уж не из хвороста и глины, под их гладкой поверхностью угадывается благородный материал — кирпич, а то и известняк. Окна большие, ставни свежевыкрашены зеленой масляной краской. Вместо обычной соломенной кровли красуется на этом доме красная черепичная крыша, которую изда-лека видно благодаря ее высоте.

Только ограда обыкновенная, все тот же плетеный тын, однако сплетен он с особой аккуратностью из тонких ивовых прутьев. Он тянется в этом же виде и дальше, опоясывает соседний двор, в котором стоит обыкновенная мазанка, крытая соломой, с неровными, бугристыми стенами, на которых местами облупилась штукатурка, с окошками в аршин высотой. А в ограде, разделяющей два соседних двора, проделаны широкие ворота, означающие, что оба двора хозяйствуют вместе. Амбары, коровники и конюшни занимают в обоих дворах всю заднюю границу.

— Ты что выглядаешь, добрый человек? — спрашивает старуха немного шепеляво, но с решительностью и угрозой в голосе.

— Здравствуйте, бабуся. Мне к Филиппу Гавриловичу Диденко. Он ведь здесь живет?

— Эге, він тут живе. А чего тебе от него надо?

— Это я ему сам скажу.

— Ты уж не из тех ли, что мост строят?

— А что вы имеете против моста?

— Семен до вас больше не хоче, то его остатне слово, и нечего вам приставать к нему с этим, вот так он сказал, а сам он уехал в поле.

— Вот и хорошо. А я пришел к Филиппу Гавриловичу. Он-то дома?

Старуха смотрит на меня озадаченно и уходит в дом. Рыжий пес ворчит из своего дворца, положив морду на высокий порог. Я свищу ему доверительно, он пригумокает, поднимается, вышагивает передними лапами наружу, но задом остается под крышей и начинает как бы нехотя лаять. Заигрыванием его не возьмешь.

Входная дверь отворяется, и появляется хозяин дома. Пес выскакивает из конуры, как из пушки, лает на меня теперь уже со всей яростью, тут же, бросив взгляд на хозяина, виляет хвостом и опять принимается лаять. Служба есть служба.

Филипп Гаврилович глядит довольно заспанно, хотя время послеобеденного отдыха уже прошло. Левый конец его усов свисает вертикально вниз, как веревка, правый же включен и растопырен по всей щеке. Хозяин босиком, старые шаровары висят, как длинная юбка, над голыми ступнями, ворот вышитой украинской рубашки расстегнут. Слегка седеющие и редееющие волосы стоят горой, как от испуга, из-под кустистых черных бровей смотрят зло и недоверчиво маленькие серые глаза. Вся его фигура так мало гармонирует с образцовым порядком во дворе, что у меня вырывается вопрос, действительно ли я имею дело с Филиппом Гавриловичем Диденко.

— А то с кем же еще! — бурчит он досадливо. — А вы кто такой?

Когда он говорит, вся комичность его фигуры отходит на задний план. Говорит он чисто по-русски, хотя и с украинским акцентом. Сразу понимаешь, что перед тобой человек, которому незачем следить за своей внешностью. Этого человека нетрудно представить себе и в модной городской одежде, и в купеческом кафтане, да и в офицерском мундире.

— Я от управления ремонтным поездом.

— Прощу. Проходите в дом. Управления надо уважать.

Он жестом приглашает меня в горницу, но сам от-

стает и направляется несколько нетвердым шагом куда-то на задний двор. Я сажусь за стол, покрытый белой скатертью, и осматриваюсь. В красном углу икона с лампадкой, на стене скверная копия картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Но никаких лебедей и оленей с воскресного базара не видно. Голубые стулья со спинкой и такой же «диван» — большая скамья — блистают чистотой отделки. Деревянный крашеный пол гладок, как лед. На потолке висит большая керосиновая лампа из зеленого стекла, с широким матово-белым стеклянным абажуром. Огромный фикус растет в углу в зеленом деревянном ящичке. К внутренней стене приставлена фисгармония, старый инструмент запущенного вида.

Из расположенной по соседству кухни старуха приносит четырехгранную бутылку и два граненых стакана, затем большой арбуз на глиняном блюде и две тарелки. Нарезает арбуз длинным, вычищенным до блеска ножом.

— Угощайтесь, добрый человек, — говорит старуха, шепелявя беззубым ртом. Она становится в двери, ведущей на кухню, и разглядывает меня, как какое-нибудь насекомое. — Ты мабуть Семену его начальник, да?

— Теперь уж, наверно, нет. Вы же сказали, что он не вернется на мост.

— Да что я, старуха, знаю! Сегодня он говорит так, завтра по-иному. Кто господарем не родился, тот ими не будет.

— Так Семен не родился крестьянином?

— На железо он больно лют. Старый самовар запаял. Все плуги и бороны починил. С кузнецом он закадычный друг, так бы и торчал день и ночь в его бисовой дымогарке. Вон даже эту штуку в дело обратил, гудит опять, как скаженная.

— А кто у вас играет на фисгармонии?

— Ах, да кому уж тут играть! Ганна, когда была маленька, поучилась немного у попа, а теперь забросила. Эту штуку отдал нам старый поп за долги, а теперь его уж и самого нет, допился аж до зеленых чертиков, еще когда война была, увезли в Харьков, на Холодную Гору, так люди говорят. А вот новый, тот в строгости себя держит, этот ни капельки в рот не берет. Ты в церковь ходишь?

Скучно и досадно выслушивать весь этот вздор, но я слушаю, стараюсь оставить в памяти как можно больше,— может, когда-нибудь пригодится. Никогда не знаешь, что понадобится в будущем. А вообще-то старуха себе на уме. Мелет вроде бы что попало, но какая-то хитрость, какая-то ядовитость кроются все же за ее бессвязными речами, что-то затаенное, предательское, злорадное.

— Нет, в церковь я не хожу. Времени нет.

— Так-так. Вот и мой племянник не ходит в церковь, перестал. Говорит: ни от чего-то он нас не упас! Это он про господа бога говорит такие слова. Раньше, говорит, поп был вторым человеком после головы, когда не первым, а теперь он совсем вроде бы последний. Все перевернулось вверх ногами, говорит. Гришка хромым был последний голодранец, а теперь сидит в канцелярии да бумаги подписывает, прямо как министр. А когда ему в город ехать, то все ему по очереди должны коней представлять, а у самого-то сроду лошади не было, вот какой это голодранец.

— Кто же этот Гришка?

— Да тут один из русской деревни, сельсовет он какой-то, что ли, на наши оба села, то ли комбед, я уж их толком и не знаю.

Услышав, как открывается входная дверь и по полу шлепают босые ноги, старуха бесшумно скрывается на кухне. Хозяин является в том же убранстве, только усы теперь направлены обоими концами книзу и волосы зачесаны назад. Он садится паискошь от меня и берет кусок арбуза.

— Так вы, значит, Семена хотите получить обратно? — говорит он без обиняков и смотрит на меня в упор. — Вы, может быть, думаете, что я его удерживаю? Это вы ошибаетесь. Он сам теперь не хочет. Не желает оставаться в пролетариях.

— Речь идет о восстановлении моста. Построим мост, товары из города хлынут в деревню, торговля пойдет в гору, для предприимчивых людей расширятся возможности к умножению богатства.

— Скажи, как вы это все точно знаете! Против моста ничего не имеем. Но Семена вы не получите. Он не хочет возвращаться к вам.

— А он говорил совсем другое.

— Что он говорил? Может быть, что тесть нуждается в нем как в рабочей силе? Чепуха все это. Он и мне это говорит, когда пьяный.

Покончив с куском арбуза, он наполняет стаканы из четырехгранной бутылки. Жидкость прозрачна, как слеза. Он без промедления опорожняет свой стакан, утирает усы ладонью.

— Рабочая сила сегодня нипочем. У крестьян нет семян, нет тягловой силы, нет орудий. Мне только стоит свистнуть, и завтра полсела сбегится к моим воротам. Но вот — Ганна!.. Приворожил ее ваш Семен. Вот оно как. Я Семена не жаю, клопец что надо. Что и говорить, Ганне я мог бы желать другого мужа — из благородных! Ну, да что там, я к молодым имею снисхождение. Я своему дитяти поперек дороги не встану. А что тяжкий был удар для меня, это так, веришь ты мне?

Его серые глаза мутнеют, голос утрачивает твердость.

— Пью вот с самой свадьбы без передыха, ты мне веришь? В поле я не могу, а сеять надо! Семен там, понял?

Он снова наливает, замечает, однако, что мой стакан почти полон. Смотрит мне в глаза, вздымая брови, наклоняется ко мне.

— Ты почему не пьешь? Или ты, может быть, думаешь, если Диденко пьян, то можно его одурачивать?

— Совсем не имею таких намерений.

— Тогда пей.

— Пожалуйста. За ваше здоровье.

— Вот. Ты молодец. Прямо как Семен, даже еще лучше. Но его не получишь. Знаешь, почему? Нет?

Его лицо совсем рядом с моим, но этого ему мало, он придвигает свой стул вплотную к моему, пытается меня обнять.

— А я тебе скажу: он смекнул, где его выгода. Понял? Нет? Вот слушай. Кто сегодня первый человек? Не знаешь? Крестьянин! Знаешь, почему? Потому, что крестьянин есть опора России. Теперь понял? Николашку поперли — ладно. Керенского тоже поперли. А у кого власть? У большевиков? Как бы не так! Пока они еще изображают, что будто они у власти. Но это ненадолго. Власть еще придет к нам и поклонится,

будьте любезны! На четвереньках приползет, вот что! Потому что крестьянин есть опора России! Власть будет у крестьянина. Потому что Россия крестьянская страна. Большевики считают, что их опора рабочих. А кто такой рабочий? Это тот же самый крестьянин, которого занесло в город. Почему он рабочий? Потому, что у него ничего нет. Не веришь?

— Как вам сказать. Если вы это так точно знаете...

— Я? Вот именно знаю! Но есть люди, которые знают все еще лучше. Они все знают, потому что ученые. Не веришь?

Его расположение оборачивается вдруг самой яростной злобой.

— Ах, ты не веришь?! Ты думаешь, Диденко пьян. Но я скажу тебе, почему Семен не хочет возвращаться к вам. Потому, что ему кое-что досталось! Обоих моих сыновей отняла война. Ты мой двор видел? Скотный двор видел? Пойдем, я тебе покажу. Не желаешь?

— Я в этом ничего не смыслю.

— Ага, ничего не смыслишь! — Его злость разгорается еще пуще, но вдруг ему приходит в голову что-то новое. — Семен — он не такой! У него крестьянская кровь. — Я вроде бы снова внушаю ему доверие, он наклонится ко мне и шепчет в ухо: — Вот это все он получит. Ну, что скажешь? Этот дом, падел сорок три десятины, семь коров, три лошади. Я один во всем селе на лошадях пашу, а не на быках, понял? Потому что лошади — что? — они быстрее!.. — Он, видимо, как будто очень гордится этим открытием. — Полсотни овец, а птицу мы не считаем. Все это получит муж моей дочери. Все! — повторяет он утвердительно, ибо это внезапное решение, видно, достается ему нелегко. Его рука тянется к бутылке, но бессильно падает на полпути. — Не могу больше пить! — жалуется он, разочарованный сам собой. — Душа не принимает больше.

Он задумывается на минуту, на его лице отражается лихорадочная работа мысли.

— Тетка! Тетка Горпина! — Старуха появляется на пороге кухни. — Тетка, принеси-ка молока из погреба. Не того, что от коровы, а того, которое в банке, поняла?

Мне давно опостылело его общество. Но я должен дожидаться Семена. Упоминание молока, «которое в банке», меня настораживает. Сгущенное молоко общества

«АРА» в деревне, которая вовсе не голодает и меньше, чем какая-либо другая, нуждается в американской продовольственной помощи?

Тетка Горпина приносит большую красную жестяную банку с фирменным знаком и надписью «конденсированный мюльк» и две кружки. Диденко берет банку двумя руками, наклоняет ее, толстая желтая струя течет из дыры в крышке. Мне же вспоминаются распухшие трупы детей, которые я видел год назад на одной железнодорожной станции под Пензой.

— Пей, управляющий, вкусная штука. Когда это наши коровы станут давать такое молоко, как американские!

— Да, действительно вкусно. Откуда же у вас это замечательное баночное молоко?

— Ну уж, где я беру, там тебе ничего не отломится. Есть еще на свете добрые люди, милок. Есть еще настоящие, понимающие люди. Есть образованные люди, которые все знают и все могут объяснить. Есть еще...

Дальше говорить он не может, ему делается плохо. С красным лицом он поспешно выходит наружу.

— Это он про врачуху,— поясняет старуха.— Которая в больнице в Бережном, в нашем волостном селе. Не знаешь ее? Ах, большое сердце у этой женщины, Ани Николаевны! Такая образованная, такая обходительная!

Снаружи залаяла собака, старуха глядит в окно.

— Вот они приехали, Гапка с твоим Семеном.

Старуха выбегает, и я вижу, как она открывает широкие ворота. Я тоже выхожу во двор.

Мужчина и женщина вводит в ворота двух запотевших и запыленных коней, тянущих плуг и борону. Лошади — каурый мерин и пегая кобыла — рослые и хорошо упитанные. Мужчине как будто особенно по душе каурый, которого он сейчас выпрягает перед сараем, похлопывает его по сильной, мускулистой шее и разговаривает с ним вполголоса, как это делают, наверно, все земледельцы, которые с душой отдаются своему делу. Неужели действительно у него крестьянская кровь? Или это человек, которому все мило, что относится к его труду?

Узнать Семена для меня не составило бы труда, даже если бы я встретил его где-нибудь в другом месте.

Именно таким я представлял его себе: богатырь, как будто сошедший из книжки сказок. Надетый на нем короткий крестьянский зипун ему мал, вверху рукава чуть не лопаются от шарообразных плечевых мускулов, а внизу они достают только до половины предплечья, что подчеркивает величину жилистых кистей, тяжелых, как кувалды. Пропотевшая белая рубаха в вороте раскрыта, влажно поблескивает бронзовая кожа. Голова, кажущаяся маловатой на крупном теле, украшена шапкой вьющихся светло-русых волос. Плотняные штаны тоже коротки, между их нижним краем и тяжелыми солдатскими ботинками — размер самое малое сорок пять — проглядывает голое тело. Черты лица правильные, только нос вроде чуть тяжеловат и широковат. Семеновы движения, когда он распрягает коня, кажутся еще не совсем уверенными, немного неловкими.

На женщину обращаю меньше внимания, замечаю только, как она быстро, словно играючи, распрягает другую лошадь, подводит ее к ограде и привязывает у кола.

— Чуть попозже поведем купать, тогда и напоим! — кричит она Семену и исчезает в коровнике.

Подхожу к Семену.

— Бог на помощь, — произношу обычное за работой приветствие. — Я новый начальник на твоём участке, Семен. Прокопыч и другие передают тебе привет.

— Да, да. — Он чешет в затылке. — Я знал, что кто-нибудь придет. Ну как там дела?

— Ждем тебя. Когда придешь-то?

Молчание.

— Я тут уже разговаривал с твоим тестем. Он говорит, что не удерживает тебя.

— Да и как он может! — И после короткой паузы: — Я приду наверняка.

Он говорит глубоким басом, звучащим мягко и добродушно, как это часто бывает у очень сильных людей, словно человек все время сдерживает себя, чтобы не напугать окружающих.

— Придешь, когда справишься с полевыми работами?

— Ну конечно. Сеять-то надо!

Исконная забота земледельца звучит в его голосе.

Он снял зипун, держит его в руке, оглядывается на жену, которая с ведром идет к колодцу, на соседний двор. Солнце садится за кроны вишневых садов, красит в розовый цвет дворовые постройки и фигуры людей. Семен во влажной от пота рубашке, вся его могучая стать с широкими, чуть обвислыми плечами, его юное художавое лицо с растрепанными кудрями — весь он так гармонично вписывается в эту идиллическую картину вечера на селе. Еретическая мысль закрадывается мне в голову: а ты пришел и хочешь разрушить эту гармонию! Но я отбрасываю немедленно эту мысль. Семен нам нужен.

— Семен,— говорю я,— возвращайся к нам. Забирай свою Ганку, и давайте к нам оба. Семен, я желаю тебе только добра. Этот дом не принесет тебе счастья, поверь мне. И ты не рожден крестьянином. Никто не рожден никем, кроме как человеком. А место человека там, где он больше нужен другим людям.

Он смотрит на меня с удивлением. В его голубых глазах загораются искорки.

— Я приду наверняка,— говорит он.— Но вот Ганна! Что делать мне, если она не захочет?

VIII

Мое дыхание оседает на оконном стекле матовой пеленой остывшего пара. Ну и пусть, все равно ничего не видно снаружи. Туман!

Может ли человек заранее предвидеть и рассчитать все последствия своих действий?

Разве я не действовал всегда с ясным умом и чистой совестью? И ведь я оказался прав!

Почему же моя правота обернулась несчастьем?

КАК В МОНТЕ-КАРЛО

На красной стене товарного вагона белой краской выведена дробь. Сверху значится: «40 человек», снизу, под чертой: «8 лошадей». Долгие годы эти вагоны предназначались для воинских перевозок, теперь они служат жилищем. Широкая дверь на роликах отодвигает-

ся на один шаг, и в образовавшийся просвет встраивается узкая домашняя дверь. Если вагон для семейных, то у входа прилаживают приставную деревянную лесенку, а в общежитиях довольствуются висячей железной стремянкой, и даже входная дверь, бывает, заменяется здесь старым солдатским одеялом. Широкий коридор, в ширину всей роликовой двери, разделяет две комнаты, в каждой из них помещается одна семья. В коридоре сложены дрова и уголь и всевозможная рухлядь. В каждой комнате стоит маленькая чугунная печка, так называемая «буржуйка», с железной трубой, выведенной наружу сквозь потолок или через окно. Пока еще стоит лето, «буржуйки» топят только для приготовления пицци. Готовят также и на примусах, технической новинке, которая есть лишь у немногих. В вагонах-общежитиях не готовят, только большой чайник ставят по вечерам на пышущую жаром «буржуйку».

Я иду вагон, в котором живут молодые рабочие моей бригады. Я заметил, что большинство из них по утрам выглядят невыспавшимися, и хочу выяснить, нельзя ли что-нибудь сделать для улучшения условий их отдыха.

Этот вагон должен быть четвертым от хвоста. В самом конце, собственно уже не в общем составе, а на некотором расстоянии от него, в тупике, у козла с упорными буферами, ближе к мосту, находится цистерна с запасом керосина. На обращенной к поезду тормозной площадке этой цистерны стоит часовой с винтовой. Другой часовой стоит у южного конца моста, по ту сторону реки. Расстояние между цистерной и собственно поездом составляет метров двадцать, а после разрыва, последним в сцепе, стоит вагон, который служит продовольственным складом, здесь хранятся мешки с просом и солью, бочки с солониной. Часовой на тормозной площадке цистерны охраняет сразу и продовольственный склад, а также две дрезины, стоящие на рельсах здесь, в промежутке.

Я иду вдоль поезда, выискивая взглядом нужный мне вагон. При этом я еще издали замечаю, что в один из вагонов входят все новые и новые люди. Кажется, это как раз и есть тот вагон, который я ищу. Вскоре я могу разглядеть какого-то парня, который стоит в дверях. При моем приближении он исчезает.

Мой слух улавливает, как внутри вагона о чем-то спешно договариваются. Парень снова появляется в дверях и делает вид, что его очень интересуют облака в небе.

— Миша Парфенов здесь живет? — спрашиваю я.

— Ага. То есть нет. Вообще-то да, но сейчас его, наверно, нету. Заходите в другой раз, может быть завтра.

— Нет, я уж лучше подожду.— И делаю намерение подняться в вагон.

— Погодите минутку, я сейчас проверю,— спохватывается парень,— может, он уже пришел.

Его проверка несколько затягивается, потом парень опять выходит на порог, делает невинное лицо. Внутри тем временем что-то волокут, прячут или переставляют, бог его знает, что там происходит, во всяком случае, явственно слышится топот множества ног по полу вагона.

— Он как раз поспать лег,— поясняет парень.

Но Мишка уже и сам появляется за его спиной. Лицо его красное и вовсе не выглядит заспанным.

— Ой, кого я вижу! — выражает он свою радость, но будто бы слишком уж ее подчеркивает.

— Могу я хотя бы войти?

— Конечно! — подтверждает Мишка и оглядывается.

— Там что, готовятся оказать мне прием?

— Ну, почему... Просто немножко прибираются. Как-то не привыкли к посещениям со стороны начальства. Надо же хоть немножко прибрать в нашем логове.

Внутри вагон представляет собой одно целое, в нем нет перегородок. После дневного света в полумраке помещения почти ничего не видно. Сначала из серого сумрака выступают лица, неожиданно много лиц. Все они похожи одно на другое, все бледные и безжизненные, как на фотонегативе. Потом я различаю двухэтажные деревянные нары, тесно установленные рядами вдоль стен.

Постепенно лица начинают приобретать окраску, и теперь они выглядят довольно-таки смущенными. Люди толкаются в замешательстве, и лишь некоторые делают вид, как будто они чем-то заняты.

Затем я вижу стоящий посередине длинный стол на

ножках. Среди присутствующих узнаю теперь и знакомых.

— Прокопыч! Разве и вы здесь живете?

— Ах, это ты, Андрей Карлович! Нет, я живу тут по соседству, так зашел вот, поглядеть, как тут наша молодежь.

Я придвигаю к себе табурет, чтобы с удобствами расположиться у стола, и тут замечаю на полу у ножки стола белый четырехугольник. Поднимаю его: так-так. Игральная карта. Следовательно, здесь служат чертям молебен.

— Ого, ребята! Да у вас играют! Так чего же вы секретничаете? Значит, понимаете, что это плохое занятие?

Все смущенно молчат. После короткой паузы из какого-то темного угла раздается скрипучий насмешливый голос:

— Не-е, этого мы не понимаем. Только вот господа офицеры всегда гневаться изволят, если застают нас за этим занятием.

— Во-первых, здесь больше нет никаких господ офицеров, а вы не солдаты. Во-вторых, сами господа офицеры тоже не прочь бывают посидеть за зеленым столом. В-третьих, лучше уж играть в карты с хорошими людьми, чем молиться богу с плохими.

Веселое оживление.

Теперь подает голос Мишка Парфенов:

— Так сыграйте с нами разок!

А что, если действительно сыграть? Я похлопываю себя по карманам как будто в поиске кошелька.

— Эх, жалко, денег не захватил с собой.

— А ничего, мы вам одолжим до получки,— говорит Мишка.

— Одалживать — это плохая примета,— встревает все тот же нахальный скрипучий голос из угла.

— Чепуха! — возмущается Мишка. — Я даю, и посмотрим, кто проиграет. Иди сюда, давай карты.

Теперь все табуреты опять придвигаются к столу. Одиннадцать человек объявились охотниками участвовать в игре, остальные стоят за их спинами и сочувствуют.

Сначала каждому сдается по одной карте в открытую, пока кому-то не выпадет туз, дающий право дер-

жать банк. Потом начинается собственно игра. Играют, разумеется, в двадцать одно — самую несложную и самую азартную игру, что-нибудь другое сейчас не практикуется у простых людей, обожженных войной, привыкших к обесценности денег.

Я беру в руки мою первую карту, ставлю половину суммы, одолженной мне Мицкой Парфеновым, целых пять рублей, — и проигрываю. Ничего не поделаешь, не повезло.

Картишки давно уже не новые, их углы загибаются, на «рубашке» видны трещины и пятна. В одной исправительной колонии для подростков я имел случай познакомиться с опытными игроками. На всякий случай я перенял от них искусство обращения с картами такого рода. Нет ли здесь подобных специалистов? Я наблюдаю за тем типом, который разговаривал со мной из угла, а сейчас как раз мечет банк. Все ли ладно с его манерой сдавать карты?

Во втором круге я ставлю осторожней. Получив семерку и восьмерку к своему королю, выигрываю рубль. Большинство проигрывает, игра течет без особого воодушевления. Владелец скрипучего голоса, верзила с длинным веснушчатым лицом и рыжими волосами, собирает выигрыш. Банк переходит к Прокопычу.

Когда Прокопыч смешивает карты, руки его слегка дрожат. Он тасует долго и обстоятельно.

— До смерти дотасуешься. — ухмыляется рыжеволосый, самый словоохотливый из игроков.

Обычная ставка банкующего равна десяти рублям, но игроки подзуживают Прокопыча:

— Такому богатому, как ты, надо сразу двадцатку ставить.

— Ты чего, двадцатку! Прокопыч как ахнет сразу целый червонец, он мелочиться не любит.

Червонец недавно в обращении: здесь, в поезде, еще ни разу не выдавали зарплату в новой твердой валюте, многие еще и в глаза не видели нарядного белого банковского билета с изображением сеятеля и золотой печати Государственного банка. Но популярность этой валюты с золотым покрытием, которая по своей ценности в десять раз превосходит обычные ходовые деньги, велика. У меня-то есть несколько червонцев в бу-

мажнике. Но я их могу расхोдовать только в чрезвычайном случае.

Прокопыч долго колеблется и в конце концов решается поставить пятнадцать рублей. Мишка, который сидит рядом с ним, произносит обычную фразу:

— Первая рука ревет, да бьет. По банку, Прокопыч! Давай туза.

Мишка тщательно складывает вместе обе свои карты, подносит их к глазам и начинает «тянуть». Медленно-медленно сдвигает он вниз верхнюю карту, постепенно приоткрывая узкую сторону нижней, потом перевортывает карты и «тянет» их широкую сторону. При этом он с чувством дует в карты, словно хочет таким образом уменьшить их трение и облегчить себе работу. Все с пониманием смотрят на его действия.

— Рамка! — констатирует он с раздражением.

Процедура «тянутия» повторяется. Мишкино лицо делается кислым.

— Перебор проклятый!

Он вывывает карты и подвигает к середине стола, где лежит банк Прокопыча, несколько измятых бумажек. Прокопыч держится напряженно, правой рукой поглаживает усы.

— Следующий, прошу, — говорит он. — В банке денег на всех хватит. На сколько?

Когда очередь доходит до меня, в центре стола лежит уже рублей шестьдесят, Прокопыч всех обыграл, никто не нанес ущерба его банку.

У меня туз, и в своем выигрыше я почему-то не сомневаюсь, но Прокопыча мне жалко: девятеро детей, и нет коровы.

— На двадцатку, — решаю я.

К своему тузу я получаю еще и второго.

— Очко, — объявляю я и бросаю карты на стол.

— А ты трусоват, начальник, — говорит рыжий со скрипучим голосом. — Мог бы и весь банк забрать.

— Мне обычно в картах не везет.

Идет уже заключительный круг, так называемый «стук», который играется, когда сумма в банке не меньше чем втрое превосходит первоначальную ставку, и этот круг приближается к концу с хорошими перспективами для Прокопыча. Наиболее заядлым игрокам не досталось хорошей карты, другие же довольствуются

небольшими ставками и не очень угрожают банку. Чем ближе очередь подходит к рыжеволосому, тем беспокойнее становится Прокопычу. Наконец настал решительный момент.

— Ну, на сколько тебе?

— Ха, он еще спрашивает. Сдает всякую муру, а ты играй. На рубль.

Прокопычу ничего другого и не надо. Больше ста рублей стоит на кону, а рыжий опасен. Раз он пасует, значит, весь банк останется в руках Прокопыча. Он уже хочет давать карту, как вдруг подают голос сразу несколько человек:

— Юзек, ты что, ошалел?

— Неужели ты хочешь покрыть свою рыжую голову вечным позором?

— Твоя же последняя рука!

«Последняя рука» — это обязывает. Тот, кто, будучи последней рукой, отказывается бить по банку, много проигрывает в уважении партнеров.

— Дашь сыграть за туза — пойду на все.

Две души живут в груди Прокопыча. Был бы у партнера настоящий туз, тогда Прокопыча ни о чем не спрашивали бы. Но теперь он должен сам принять решение.

— Не тушуйся, Прокопыч! Тебе сегодня везет, — советуют игроки.

— Ну что, не хочешь? — Рыжеволосый спокойно хлопывает рукой по бумажкам, которые лежат перед ним на столе.

— Ладно. Валяй. Покажи карту.

Рыжеволосый переворачивает очками вверх свою скромную бубновую семерку. Теперь она считается тузом.

Прокопыч дает вторую карту. Рыжеволосый «тянет». Потом требует еще одну карту. Не открывает ее. Затем произносит:

— Играю втемную. Бери себе.

Напряжение достигает предела. Слышно только тяжелое дыхание игроков.

Прокопыч открывает свою карту. У него восьмерка. С такой картой хороший игрок никогда не позволил бы последней руке играть за туза. Сразу видно, что Прокопыч жалкий дилетант. Вот он открывает свою

вторую карту — еще одна восьмерка. При шестнадцати положение самое трудное. Прокопыч долго раздумывает, потом решительно достает из колоды еще одну карту, вскрывает ее — это туз! С убитым видом он бросает карты, но игроки подбадривают его:

— Чего ты нос повесил, посмотри сначала, сколько у него. Он же втемную остановился!

Теперь свои карты должен показать рыжеволосый. Он не торопится. За ним еще его святое право «потянуть». И он «тянет», со всей обстоятельностью, поворачивает карты так и эдак. Пока наконец не остается никакого сомнения: он первым получил перебор!

При всеобщем ликовании сумма в банке точно подсчитывается. Сто двенадцать рублей! Столько-то теперь должен выставить рыжеволосый! Это он делает, не моргнув глазом. Только вокруг рта обозначается жесткая складка. Борьба еще не закончена, она только начинается.

Пример заразителен. Ставки становятся все выше, и скоро уже никто не открывает новый банк меньше, чем пятьюдесятью рублями. Один за другим отсеиваются проигравшиеся. Их места занимают новые игроки. За столом сидят теперь только семь человек, зато число зрителей больше по крайней мере втрое.

Я только что получил колоду в руки и должен открыть новый банк, как вдруг за моей спиной раздается звон гитары и мужской голос, который кажется мне знакомым, начинает петь. Я оборачиваюсь — да это же Павлов, мой сосед по комнате! Подмигнув мне ободряюще, он продолжает свое выступление:

Ах, в Монте-Карло, ах, в Монте-Карло,
Там деньги льются, деньги льются, как река!
Ах, в Монте-Карло, ах, в Монте-Карло,
Там жизнь легка!

Ах, в Монте-Карло, ах, в Монте-Карло,
Ты можешь за ночь превратиться в короля!
Ах, в Монте-Карло, ах, в Монте-Карло
Стоит удача у руля.

Видно, что Павлов здесь свой человек, со всех сторон его приветствуют дружескими восклицаниями:

— А ну, доктор, присоединяйся к нам!

— Ребята, освободите место для светила науки!

— Оставьте в покое доброго человека, он деньгами вовсе не интересуется.

— Он пришел наших вшей подсчитывать!

...Очередь банковать доходит между тем до Юзека. Быстрыми, натренированными движениями тасует он карты, его острый, испытующий взгляд скользит по лицам, оценивает одного игрока за другим. Быстро и ловко сдает он по карте, смотрит на свою карту и только тогда объявляет высоту банка:

— Сотня хрустов.

Раздается всеобщее восхищение. Прокопыч без колебаний хлопает ладонью по банку и тянет руку к колоде. С каменным лицом Юзек подает ему карту. Прокопыч не привык «тянуть», он поднимает карту сразу, смотрит на нее, и лицо его мрачнеет.

— Еще одну,— говорит он хриплым голосом, получает новую карту и с досадой бросает на стол все три.

— Две сотни,— обращается Юзек к следующему игроку.

Мишка сидит теперь рядом со мной, ибо те, которые сидели между нами, выбыли из игры. Он исподтишка показывает свою карту — это бубновый туз.

— Надо играть на все,— шепчет он.— Но денег не хватает.

— Не зарывайся. Он тебя посадит.

— Да ну, где там! С такой картой.

Мишка идет на сотню. Получает короля и остается при пятнадцати. Банковщик берет девятку к своей десятке и загребает деньги.

Я внимательно наблюдаю за руками Юзека. При большой ставке эти руки занимают с колодой чуть дольше обычного.

Моя очередь.

— Ну-с, какие наши пироги? — ухмыляется рыжий с вызовом.

— Двадцать,— говорю я.

— Что ж так, начальник? Или я ослышался?

— Нет, все правильно: двадцать рублей.

Юзек пожимает плечами. Я выигрываю.

Снова очередь доходит до Прокопыча. Во втором круге у него как первой руки нет особых обязательств, но Прокопыч настолько захвачен азартом игры, что уже не знает меры.

— На все. Две карты.

— На туза и на валета проработал я все лето,— остеррит кто-то.

Прокопыч поднимает карты, и его лицо искажается яростью.

— Ну, знаешь ли,— шипит он остервенело,— таких, как ты, у нас в деревне оглоблей зашибали, жулик проклятый!

— Гляди, как занятно,— парирует рыжеволосый.— Отчего же ты там не остался, если там такие интересные вещи происходят?

Прокопыча трясет как в лихорадке. Глаза его широко раскрыты, лицо пылает, руки непрерывно дрожат. После того как он придвинул к банку свой проигрыш, перед ним на столе остались лежать лишь несколько малоценных купюр.

Все, кто ставит по-крупному, у Юзека проигрывают. Но из тех, кто решается только на малую сумму, многие выигрывают. Никто на это не обращает особого внимания, каждый занят самим собой.

Я иду на пятьдесят. Набираю девятнадцать и выигрываю. Что за оказия, боится он меня, что ли?

Теперь может начинаться «стук» — последний круг. Триста семьдесят пять рублей стоит на кону. Куча денег в центре стола выглядит весьма внушительной. Рыжеволосый тасует колоду. Он сосредоточенно смотрит на нее, его руки двигаются быстро и уверенно, пальцы мелькают, словно спицы вращающегося колеса.

Прокопыч получает свою карту и проявляет беспокойство. Оставляет карту лежать на столе, а сам поднимается и идет куда-то. Мишка шепчет мне:

— Теперь он залезет в мотню, а для этого ему надо спустить штаны. Я вам что говорил? А вы не верили.

Прокопыч возвращается, выкладывает на стол слезавшиеся купюры, которые не хотят распрямляться.

— По банку,— говорит он хрипло.

На всех лицах отражается напряжение момента. Воз царяется почтительное молчание.

Молчит даже Юзек, цуемный балагур и сквернослов. Пот течет по его лицу. Ловким, молниеносным движением вытаскивает он карту и бросает ее Прокопычу, как если бы это был кусок раскаленной жести.

— Тяни, тяни! — советуют сочувствующие, сгрудившиеся у Прокопыча за спиной.

При медленном «тянущии» игрок восстанавливает самообладание и старается не выдать банковщику, хорошую он карту получил или плохую. Прокопыч пытается «тянуть», но делает это неловко и поспешно. На его лице написано разочарование. Он молчит.

— Дать еще одну? — спрашивает рыжеволосый безразличным тоном.

Прокопыч протягивает ладонь с двумя картами, Юзек кладет на них третью. Прокопыч «тянет», поднимает карты, повыше, к свету лампы, сочувствующие тоже видят их.

— Напоил!

— Деньги на бочку, — хладнокровно произносит рыжеволосый. — Дальше не играем, пока не выставлены гроши.

Но Прокопыч вовсе и не собирается отказываться. Просто руки его плохо слушаются. Ну вот, сосчитано и пересчитано. Теперь игра может продолжаться.

Когда наступает мой черед, в банке стоит шестьсот двадцать рублей. У меня десятка червей. Передо мной лежит что-то за сотню чужих денег, которые я выиграл в этот вечер. Окружающие подбадривают меня:

— Валяй, дуй по банку! Кто не рискует, тот не выигрывает.

— Да у меня и денег таких нет.

— Это неважно, возьми у соседа в долг.

— Ставлю сотню на твою карту!

— Я тоже добавлю!

Разве попробовать? Нет, тогда не останется денег для того, на что я теперь уже окончательно решился.

— Пятьдесят.

— Осторожность — мать всех добродетелей. Извольте вашу карту.

Я снова выигрываю, забираю пятьдесят рублей из банка. Рыжеволосый кивает мне как бы даже с благожелательством. Уж не ищет ли он во мне союзника? Доходит до него что-нибудь?

Банкует опять Прокопыч. Он ставит в банк сто рублей, но на первой же руке проигрывает.

— Уж если не везет, то не везет, — сетует он.

С потеряннным видом Прокопыч глядит на оставшие-

ся у него деньги. Их не много. Механически ставит в зависимости от карты то полсотни, то десять, то двадцать рублей и почти все время проигрывает. Прежде чем банк успевает перейти ко мне, он теряет свою последнюю десятку, тяжело поднимается из-за стола и хочет уйти. Его лицо словно бы одеревенело, глаза пусты и без всякого выражения.

— Погоди, Прокопыч,— говорю я.— Не торопись. Я одолжу тебе полсотни.

— В игре не одалживают! — вмешивается рыжеволосый.

— Это в твоей деревне, может быть, так. А здесь игра идет по международным правилам, правда, ребята? Как в Монте-Карло.

Все поддерживают меня. Прокопыча все жалеют, а рыжеволосого недолюбливают.

Теперь только бы не оступиться! Я тасую карты, держа их как бы невзначай картинками к себе, но слишком долго затягивать это нельзя, иначе могут обратить внимание. Особенно перед рыжеволосым надо соблюдать осторожность. Ну, так, последовательность ясна. Остальное — дело техники.

Я сдаю сверху по карте и уже знаю, что первая рука получает девятку, у рыжеволосого будет десятка, Прокопыч получит короля, а Мишка восьмерку. Теперь самое важное. Очередная карта вынимается снизу. Пальцы моей левой руки, которая держит колоду, ощущают снизу лицевую сторону карты. При довольно потрепанном состоянии колоды не так-то уж трудно определить достоинство очередной карты, потому что поверхность краски остается гладкой, а белое поле начинает ворситься. Если на очереди карта, которая мне не подходит, то ее надо двумя пальцами левой руки немного отодвинуть назад, а из-под нее вытащить следующую. Если делать это быстро, никто ничего не заметит.

Первая рука проигрывает. На очереди Юзек со своей десяткой.

— На двадцать.

Учулл он что-то?

Я играю как попало, и он выигрывает. Значит, это была проба. Или, может быть, он доволен своим выигрышем и решил больше не рисковать?

Во втором круге рыжеволосому достается дама. Когда очередь доходит до него, он спрашивает хладнокровно:

— Сколько у тебя там?

— Двести восемьдесят.

— Иду на все.

— Милости прошу.

Я даю ему одну карту, чтобы он не заподозрил, что мне известна его дама.

— Еще одну.

Он получил еще одну «рамку» и потом шестерку. Следующей идет десятка, которую я из осторожности пока что отвел назад. Но он решает по-другому.

— Достаточно,— говорит он.

Ах, таким образом ты решил сбить меня с толку! Я переворачиваю свою карту, а у меня туз. Беру к нему десятку. Игра сделана.

Рыжеволосый и бровью не ведет. За эту цену он самообладания не потеряет.

Мишка, сидящий на последней руке, выигрывает, и я продолжаю банковать с двумястами девьюста рублями. До рыжеволосого банк доходит с тремястами сорока рублями.

— Для вас?

У него туз. Смотрит на меня в упор. Он захвачен азартом, но сохраняет внешнее спокойствие.

— А если я осмелюсь?

— Твое дело. Игра есть игра.

— Тогда давай. По банку!

И снова все обступили стол, как очарованные, и снова возникает то же напряжение, только роли переменялись.

Я даю ему семерку. С восемнадцатью очками дела его ни то ни се.

— Бери себе.

Я показываю ему свою девятку, кладу на нее вторую карту, «тяну», хотя знаю уже, что это десятка.

Он пытается улыбнуться, но улыбка получается кривой.

— Имеешь много счастья в карты, начальник. Как бы не слишком много.

— Как раз хватает. Теперь будьте любезны платить.

— Кто имеет счастье в игре, не имеет счастья в любви.

— Бывает. Можешь утешиться этим.

Когда в моем заключительном круге снова его рука, он опять хочет играть на все.

— Попрошу предъявить деньги,— требую я.

— Чего это ты заважничал? Денег хватает, вот посмотри.

— По банку не будешь играть, пока не сосчитаны твои деньги.

— Такого я еще не видывал! Ну ладно, черт с тобой, играю на все свои деньги — вот на это все, что передо мной лежит, согласен?

Настал решительный момент, думаю я. Только спокойно, все надо делать с абсолютной точностью.

У него валет. Я даю ему восьмерку. Но за нею шестерку! Он погиб, но не хочет примириться с этим.

— Еще одну карту. Так. Играю втемную.

— Не пойдет. Ты же не последняя рука. Придется уж посмотреть, сколько ты набрал.

— Ну ладно,— говорит Юзек и начинает «тянуть». — Бери себе,— говорит он наконец.

Что за чертовщина, неужели я ошибся? Неужели я дал ему еще одну «рамку»? На ощупь ведь эта была восьмерка или семерка. Но ничего не поделаешь, нельзя себя выдавать, надо делать вид, как будто ничего не происходит.

У меня дама. Беру к ней восьмерку. Потом еще одну восьмерку. Девятнадцать. Неужели у него двадцать?

— Девятнадцать! А у тебя? Покажи свои карты.

Рыжеволосый бросает три карты на стол — двадцать! Но где же валет?

— А четвертая карта?

— Какая еще четвертая? Чего тебе надо?

Но от свидетелей никуда не денешься. Все собравшиеся в один миг приходят в движение:

— Эге, дружок! Мухлевать дело не пойдет. У тебя было четыре карты.

Рыжеволосому нечем крыть. Он делает удивленное лицо, шарит руками вокруг себя.

— Постой, постой, как же это так? Неужели я ее уронил?

Каким-то образом пропавший крестовый валет сно-

ва находится. Рыжеволосый, не говоря больше ни слова, подсовывает свои деньги к середине стола и так же бессловесно удаляется. Игра окончена.

Передо мной высокая гора измятых банкнотов. Я оглядываю стоящих вокруг людей. В их глазах светится изумление, восторг по поводу моей удачи, кое у кого также и зависть.

— Ну вот,— говорю я,— теперь подведем итоги.

Поскольку в моем голосе звучит неожиданная интонация, все затихают.

— Вы пригласили меня сыграть с вами, и я сыграл. Но если вы думаете, что делал это я с удовольствием, то вы ошибаетесь. Трудовой человек презирает игру на деньги. Почему? Потому, что это одна из множества форм паразитизма. Потому, что игра уводит человека на кривую дорогу, приучает его думать только о себе и плевать на разорение других. Но трудящийся только тогда может добиться своего освобождения, когда он заботится не только о себе, но и обо всех себе подобных. Вот так. Мне не нужны эти деньги. Прошу, пусть каждый возьмет обратно все, что проиграл.

Реакция бурная, но не такая, какой я себе ее представлял. Никто не хочет получать обратно деньги. Игра есть игра!

— Хорошо.— говорю я.— Тогда сделаем по-другому. Давайте выясним, кто больше всех проиграл и кому эти деньги всего нужнее.

— Прокопыч! Прокопычу! — раздается сразу несколько голосов.

— Нехай Прокопыч получит деньги обратно!

— У него семья большая!

— Вот и прекрасно. Итак, мы порешили, что передаем эти деньги Прокопычу с условием, что он на них больше не играет. Нет возражений? Прокопыч, прошу вас, получайте ваши деньги.

На лице Прокопыча написано смятение. Он не трогается с места. Я собираю деньги, складываю их в аккуратную стопку и сую ему в руки.

— Бери, Прокопыч, не будь дурак,— подбадривает толпа.

Когда я выхожу из вагона, рыжеволосый Юзек стоит в дверях. Он отстраняется лишь настолько, чтобы я как раз едва мог протиснуться.

— Для жулика ты слишком благородный,— говорит он вполголоса.— Ты пожалуй что из кожаных тужурок, ась?

Я делаю вид, как будто не слышу.

Внизу ко мне присоединяется Мишка Парфенов. Стоит глубокая ночь. Звезды мерцают на бархатном иссиня-черном небе. Воздух свеж и прян. Один за другим выходят игроки из вагона, разминают затекшие ноги, расходятся по своим теплушкам. Вдруг кто-то меня обнимает, с негромким всхлипыванием кладет мне на грудь тяжелую голову.

— Спасибо, браток! А то ведь мне было одно — удавиться! Проклятая игра! Ни в жизнь, ни в жизнь больше не возьму в руки карты.

— Вот и ладно, Прокопыч. Отоспитесь хорошенько. Завтра новый день настанет.

Мишка провожает меня до моего вагона.

— А ты? — спрашиваю я.— Ты будешь еще играть?

— Поглядим,— смеется он.— В какие-то разы можно и игрой сделать доброе дело, вы же сами нам это показали. Человек все должен уметь.

Нравится мне этот парень! Интересно, сможет ли он мне помочь?

...Мой сосед уже лежит в постели с закрытыми глазами. Когда ушел он из вагона «Монте-Карло»? Что ему там было нужно?

Но, может быть, он уже спит. Я не хочу его тревожить.

IX

«Что с тобой, Андрюша? Тебе нехорошо?»

Это фельдшер Павлов. Его рука твердая, сухая и горячая, сквозь ткань рубашки я чувствую его тепло. У него определенно повышенная температура. Собственно, это мне бы надо беспокоиться о нем, а не ему обо мне.

«Пошли, Андрюша. Мы с тобой пойдём домой, хорошо?»

«Да, да, Сережа, я сейчас приду».

Сейчас мне необходимо побыть одному. Можно было

бы, конечно, пойти в сосновый бор, там никто теперь не помешал бы.

Но этот туман! Я не решусь в таком тумане идти туда, он для меня слишком наполнен жутью.

Я останусь тут, у окна. Так приятно остужает лоб оконное стекло.

ЗРЕЛИЩЕ

Многочисленная ватага детей с громкими криками «ура» мчится по направлению к мосту.

В нашем поезде есть даже дети! Они принадлежат рабочим семьям, у которых, кроме их теплушек, этих превращенных в жилище товарных вагонов, нет другого приюта и которые в полном составе приехали издалека, из какой-нибудь «голодающей губернии». Но и дети из близлежащих деревень охотно проводят здесь время, потому что у нас всегда происходит что-то интересное, а еще потому, что дети рабочих с их разносторонним жизненным опытом всегда привлекают к себе крестьянских детей. Целыми днями носится «босоногая команда», занятая какими-то важными делами, по окрестности, проникает на место работ, находит себе занятие и под мостом, откуда рабочие гонят их с угрозой: «Вот заклепкой как даст тебе по башке!»

По никакой силе нельзя их разогнать, когда они смотрят на работу Семсена Шундика. Вот уж неделя, как он снова с нами. Именно дети были первыми, кто обратил внимание на его работу и оценил ее с эстетической точки зрения. Детям было безразлично, сколько заклепок за смену мог он заклепать, им было важно, как он это делал.

Детей можно понять. Даже многие взрослые приходят к рабочему месту Шундика, чтобы полюбоваться его неповторимым искусством.

До пояса голый, он стоит на широко расставленных ногах, словно вылитый из бронзы, с тяжелой кувалдой, длинная рукоять которой прислонена к левой ноге. У Шундика самая тяжелая кувалда во всем поезде, она почти вдвое тяжелее обычной. Вот он стоит так недвижно и посматривает вроде бы без интереса, даже со скукой, как его напарник Миша Парфенов клещами

всовывает докрасна раскаленную заклепку в предназначенное для нее отверстие и доколачивает ее молотком до полного упора шляпкой. Теперь, пока расширившаяся от нагрева заклепка плотно сидит в отверстии, надо как можно быстрее расклепать ее торчащий конец. Вот тут-то, не говоря ни слова, даже не поплевав на руки, как это делают многие другие, то есть никаким образом не обозначив своего приступления к делу, Семен молниеносным движением взмахивает кувалдой и обрушивает ее на светящуюся красным светом точку, однако — и в этом состоит наибольшее чудо — не с какой-нибудь там дикой силой, как можно было бы предположить при виде этой горы мускулов, а нежно, сдержанно, как бы с поглаживанием. Один, два, три удара, пока торчащий стержень не осядет на кромку балки, образуя упор. И тогда удары становятся с каждым разом все мощней, увесистей и в то же время быстрее, тяжелая кувалда так и носится в воздухе, а замахи попеременно идут то в одну, то в другую сторону, словно маятник, взлетает пятидесятифунтовый молот туда и сюда, стальная балка звенит, и стонет, и гудит, и громыкает, и содрогается, все быстрее и быстрее становится град ударов — и вдруг все резко обрывается. Семен стоит, кувалда прислонена длинной рукоятью к левой ноге, как будто ничего и не происходило. Лишь чуть-чуть вздымается его широкая грудь, но вскоре и этого уже не заметно. Ветерок поглаживает его гладкую, загорелую, влажно поблескивающую кожу. А великан смотрит в сторону, как бы отсутствуя и скучая.

Вот так работает Шундик, чудо-молотобоец. Он никогда не пользуется полукруглыми гладилками, которые служат для придания головке заклепки надлежащей формы. Но головки, которые получаются у него в свободном исполнении, да еще с применением сверхтяжелой кувалды, ничем не уступают тем, которые получили свою форму с помощью гладилки.

Присутствию зрителей Шундик, по-видимому, не придает никакого значения. Или скорее он, как заправский актер, полностью владеет своей ролью и знает, каким образом достигается наибольший эффект.

Но сегодня он не может удержаться от того, чтобы, отдыхая вот так в перерывах между сериями ударов, не бросить время от времени быстрый, мимолетный взгляд

в толпу зрителей. Ибо сегодня среди них присутствует новое лицо, которое, возможно, заслуживало бы не меньше внимания, чем сам Шундик. Это молодка высокого роста, но не худая, с полной грудью, муравьиной талией и широкими бедрами, с длинной, лебединой шеей и, пожалуй, несколько маловатой, но безукоризненной формы головой. Блестящие каштановые волосы заплетены в косу, которая обвивает голову в виде высокой короны, темные широкие брови почти срослись над чуть тяжеловатой переносицей, из-под них светятся смело и смещливо большие карие глаза в обрамлении густых, длинных черных ресниц. Полные губы наводят на мысль о спелых вишнях, а на нежных, покрытых легким пушком щеках видны маленькие забавные ямочки. При всем моем желании я не могу узнать в молодке ту Ганну, которую я видел однажды вечером, уставшую после тяжелой полевой работы, в косметике пыли и пота, хотя я достоверно знаю, что это именно она и есть.

На Ганне надеты белоснежная украинская блуза с сине-красной вышивкой и синяя юбка, на плечи накинута пестрая косынка, которую она подергивает длинными пальцами за бахрому. Молодка стоит в окружении целой ватаги детворы, преимущественно девчонок, они явно привязаны к ней, непрерывно к ней обращаются, указывают на то и на это и чего-то от нее добиваются. Ах, вот что, они требуют, чтобы красавица подошла поближе к рабочему месту Шундика, но она отмахивается небрежным жестом и остается стоять там, где стоит, у входа на мост, шагах в тридцати от работы мужа, и не понять, то ли она здесь в качестве зрительницы, то ли, напротив, сама дает собой полюбоваться. Что касается рабочих, то их взоры конечно же больше привлекает она, чем их коллега, как бы ни был он искусен.

Как ни стараются украинские дети, им не удастся заставить Ганну приблизиться к месту действия, она по-прежнему стоит на своем месте, посматривает на Семена лишь уголком глаза, озирается вокруг и вроде бы даже скучает. По ней видно, что долго она тут не выстоит. Да вот она уже и действительно собирается уходить. И тут другой участник этой тайной дуэли не выдерживает, сдается, он роняет длинную рукоять ку-

валды, приближается к молодой медленным, размеренным шагом. Дети разбегаются.

— Видали? — обращается ко мне Мишка Парфенов, когда я подхожу, чтобы подержать в руках шундиговскую кувалду и, может быть, испробовать, а смогу ли такую работать. — Евонная жинка. Теперь он пропащий человек. Вот и сначала так было: она пришла, поглядела, пару раз улыбнулась, и мужика как подменили. Каждый вечер бегал к ним в деревню, пока они его не подсекли.

Я пробую свои силы в обращении с кувалдой Шундика. Мишка просовывает заклепку в отверстие, и я размахиваюсь... Бац! — молот с адским грохотом ударяет рядом, лишь слегка задев стержень заклепки. Я еще раз замахваюсь, пытаюсь сделать так, чтобы тяжелый молот не падал так быстро, но нет, у меня снова не получается, эта штука ударяет слишком сильно и попадает как раз по центру. Мишка с противоположной стороны не может удержать заклепку в отверстии, она едва не вылетает наружу. Я ругаюсь, ведь так недолго и до несчастного случая. С обыкновенной кувалдой я управляюсь уже неплохо, а тут такой срам! Я откладываю в сторону не подвластный мне инструмент, признаю свое поражение, а между тем герой дня уже возвращается к своему рабочему месту.

— Ну как, договорились? — спрашивает Мишка.

Семен не отвечает, молча берет в руки кувалду.

— Пускай она уходит оттуда и переселяется к тебе в теплушку, — продолжает разговор Мишка.

— Да за ней бы дело не стало, — гудит глубокий, приглушенный бас Шундика. — Да только старик и слышать про то не желает. Я должен жить с ними, говорит. Сегодня вечером мне туда надо, начальник, — обращается он ко мне. — Она тут тоже ни при чем. Тут в отце дело, он так хочет.

— Конечно, Семен, твое святое право, у нас здесь не казарма, и ты не солдат.

— Это да, но за столько-то лет мы как-то уж привыкли... — улыбается геркулес. — Мне все кажется, будто война еще не кончилась.

— Смотри с какой точки зрения, Семен... В общем иди себе к ней, она действительно ни при чем. И ты тоже. Главное, чтобы ты приходил на работу.

— Приду завтра ровно к семи,— обещает Шундик.

Вот это как раз и есть то, в чем все сомневаются. У старого кулака, известное дело, всегда довольно самогона. А если Шундика понесло, то удержу он не знает.

Х

Туман, туман! Он бел и непрозрачен. Как было бы хорошо, если бы все это были только видения, порожденные туманом, а когда он рассеется, все снова окажется бы на старом месте. Ведь бывает, что человек просыпается после дурного сна и вздыхает облегченной грудью.

*Лихо вспрыгнул граф влюбленный
На коня, трягнул glavой
И помчался к нареченной,
Прямо в замок родовой...*

Бог ты мой, неужели я так и не смогу взять себя в руки?

ТРИНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ

— Далее я могу и должен с удовольствием отметить, что на третьем участке с тех пор, как там бразды правления принял наш новый коллега Андрей Карлович, работам придано заметное ускорение. Это тем более достойно внимания, что коллега Шольц известным образом уступает всем другим нашим начальникам участков в отношении технического опыта. Однако его умение обращаться с рабочими сделало возможным то, чего не в состоянии достигнуть самое лучшее техническое руководство...

— Может быть, вы хотите, чтобы мы все вооружились кувалдами, поплевали в ладони и принялись клепать заклепки. Но этого не сделает ни один инженер, который хоть сколько-нибудь ценит свое достоинство.

— Вы неправы, Петр Афанасьевич, позвольте вам заметить при всем моем уважении к вам,— продолжает начальник поезда, не обращая внимания на раздраженный тон реплики.— Популярность у рабочих всегда была нужна, а теперь же она просто необходима.

— Не следует ли мне ради этой популярности по вечерам ходить к ним в вагон, хлестать с ними самогонку, играть в двадцать одно и ругаться, как извозчик? — бурчит все тот же раздраженный голос.

Я сижу в своем углу с понурой головой, как этого требует обстановка, и делаю вид, что уязвлен этими намеками. Я не смотрю на говорящего, но точно могу себе представить, как вздуваются челюстные мускулы бывшего штабс-капитана, как нервно кривятся тонкие, плоско срезанные губы на его худом, изжелта-бледном лице, как скользят вверх и вниз кадык под его мягким, круглым подбородком. Это лицо было мне неприятно с самого первого взгляда, но я всячески противился этому чувству, чтобы при оценке конкретных действий начальника соседнего второго участка не допустить никакой предвзятости.

Совещание тем временем без дальнейших происшествий продолжается обычным порядком. Начальники участков излагают свои претензии, жалобы и оправдания, ссылаются на недисциплинированность рабочих, на нехватку инструмента, прежде всего сверл, на низкое качество кокса для разогрева заклепок. Одновременно краем уха каждый прислушивается к стуку молотов там, снаружи: каждый научился по звуковым оттенкам и по громкости распознавать различные участки, и стоит там или здесь ослабнуть «пулеметным очередям», как соответствующий начальник участка начинает поглядывать на свои карманные часы, если они у него есть, или даже отваживается на такую дерзость, как осведомиться о возможности скорого окончания совещания.

Это тринадцатое совещание, на котором я присутствую.

В моей профессии, где иногда так много зависит от случая, немудрено стать немного, совсем чуть-чуть, суеверным. Не то чтобы я всерьез принимал какие-то приметы и реагировал на них, это нет; но такое маленькое, поверхностное волнение я все же ощущаю каждый раз, когда черная кошка перебежит мне дорогу или когда я увижу во сне что-то необыкновенно плохое.

Вот и на этот раз, поскольку это не какое-нибудь, а мое тринадцатое совещание, я приготовился к чему-то чрезвычайному. И правда, должно же что-то произойти! А то я уже начинаю воспринимать как свою неспо-

способность, что я в течение двух недель ничего не смог раскрыть, ничего досконально выяснить. Я еще не знаю, что и за два месяца я продвинулся ненамного дальше. Не в меньшей степени беспокоит и даже озадачивает меня то, что я все больше теряю чувство пребывания в лагере противника. Я вижу вокруг себя людей, которые настроены либо так, либо иначе, одни из них симпатизируют новой власти больше, другие меньше, одни больше, другие меньше о ней беспокоятся и ради нее стараются, но утверждать или даже предполагать, что тот или другой оказывает ей активное сопротивление, нет, для этого мои наблюдения не дают достаточных оснований. Да, на войне все было гораздо проще.

Больше всего занимает мои мысли сам Федор Денисович Ковровский, наш начальник. Вы влюблены в свой предмет, профессор. Вы знаете все значительные железнодорожные мосты мира как свои пять пальцев. Ваша манера общения официальна и сдержанна, можно было бы испугаться вашего сурового, почти грозного выражения лица. В действительности же, дорогой Федор Денисович, вы не обидите и мухи. Хотя вы бываете недовольны работой некоторых из ваших помощников, от вас не услышишь прямых упреков. Ваше чувство такта порой кажется преувеличенным, или, может быть, вы нарочно перегибаете, чтобы устыдить виноватого? «Андрей Карлович, не знаете ли вы случайно, сколько заклепок поставлено вчера у Шевченко?» В такой форме всегда спрашивают того, кто сильнее всех отстал, о достижении того, кто больше всех преуспел.

Беспокоится ли этот человек о чем-нибудь всерьез, кроме своей работы? О да! О своей дочери, табельщице Лиле. О ней вдовац беспокоится очень много. Говорят, что его жена умерла в Харькове при деникинцах.

Ну, а сама дочь? Я не позволяю себе слишком много думать о ней. Однако в этой особой связи...

Красавицей тебя, Лиля, не назовешь. Но все же ты красива на свой особый лад. Это странная красота, которая обнаруживается постепенно и которую надо открывать снова и снова. Твое тонкое, бледное, усеянное редкими веснушками лицо с большими, широко раскрытыми, как бы удивленно глядящими на мир черными глазами, поначалу отчуждает, чуть ли не отталкивает, как уникальная икона. Но чем дольше всматриваться в эту

икону, тем более улавливается в каждой черте глубокое борение страстей. Едва заметная складка меж тонких черных бровей прорезает немного неравномерно высокий лоб и выдает непрерывную работу мысли, легкие движения нежных ноздрей выдают порой ускоренное дыхание, уши вдруг окрашиваются в розовый цвет, когда в остальном никаких признаков волнения не заметно,— все в этом лице полно жизни и трепета, но ничто не лежит на поверхности...

— ...или вам нечего сказать?

Ах, так, очередь дошла уже и до меня. Я должен отчитаться о положении дел на моем участке и внести предложения по улучшению работы. Бегло пройдясь взглядом по этому хорошо уже знакомому мне кабинету, который служит также и спальней комнатой профессора, со все тем же черным письменным столом на точеных ножках, все тем же дощатым топчаном под серым солдатским одеялом, с рядами стульев вдоль стен, на которых сидят знакомые мне люди, я с изумлением отмечаю, что чувствую себя и в этой обстановке уже как дома, настолько основательно я вжился в нее. То, что здесь происходит, это и моя жизнь. Для меня неизмеримо важно, действительно ли поступит давно затребованная партия сверлиз быстрорежущей стали в ближайшие дни, даст ли какой-нибудь эффект рационализаторское предложение покрыть нагревательные горны жестяным колпаком, чтобы ускорить разогрев заклепок и получить экономию кокса, останется ли с нами Семен Шундик или же опять уйдет к своему тестю. «Не слишком ли всерьез принимаешь ты свою задачу прикрытия, разведчик Шольц? — спрашиваю я себя.— Не отодвигаешь ли ты тем самым свою главную задачу на задний план? В конечном счете мосты строить можно и без тебя...» Но именно это и не хочет укладываться у меня в голове. Как же так — без меня?

— Вчера на нашем участке поставлено две тысячи двести сорок заклепок, это составляет немного больше сотни на одного рабочего. Если не встретится никаких новых осложнений, то мы нашу ферму с относящейся к ней решеткой закончим в ближайшие восемь или девять дней. Нужды и недостатки у нас те же самые, как и на других участках, и такие же самые, какими они были вчера, поэтому я, пожалуй, не стану о них гово-

рить. Вместо этого я хотел бы, с вашего разрешения, коснуться некоторых замечаний нашего уважаемого коллеги Петра Афанасьевича Гуцина, который счел нужным высказаться относительно моей незначительной персоны.

«Немножко подлить масла в огонь не помешает», — думаю я про себя.

— Некоторым коллегам, как я замечаю, не нравится моя манера обращения с рабочими. Кое-кто склонен усматривать в ней попытку, так сказать, втереться в доверие к новым хозяевам страны. На это я могу ответить следующее. Тот, кто годами валялся в окопах бок о бок с нашими рабочими и крестьянами, тому следовало бы научиться уважать и ценить этих людей. Да, кроме того, они пока никакие еще не хозяева, до тех пор, пока они, по крайней мере в технических вопросах, шагу не могут сделать без нашего руководства. Поэтому я со всей решительностью отвергаю любые намеки на какое-то подлаживание. Что же касается моих опытов с кувалдой, то они объясняются только моими спортивными интересами. Я сердечно приглашаю всех коллег последовать моему примеру, потому что физическая работа укрепляет мускулы и способствует пищеварительному процессу.

Все поглядывают украдкой в сторону хилого Петра Афанасьевича, у которого узкие плечи и впалая грудь. Он же лишь сопит, форма моей контратаки, пожалуй, недостаточно остра, чтобы пуститься в открытую перепалку. Несколькоими малозначащими фразами профессор закрывает совещание, и все расходится.

«Посмотрим... — говорю я про себя, сходя с подножки вагона в мягкий сухой песок насыпи, и бреду в направлении моста. — Посмотрим...»

Я и сам еще не очень-то знаю, к чему относится это «посмотрим». Гуцин мне несимпатичен. Но это, конечно, не причина, чтобы его атаковать. И вообще в моих действиях и оценках я не должен руководствоваться личными симпатиями или антипатиями, это я говорил себе уже сотни раз. И все же я инстинктивно чувствую, что с Гуциным справедливо было бы любое обострение. Я ощущаю к нему естественное отвращение.

Что удалось мне узнать об этом человеке? Вы, голубчик, были штабс-капитаном в деникинской армии,

это широко известно. Вы происходите из обедневшей дворянской семьи и воспитывались в Петербурге, в пансионе для необеспеченных благородных детей. О ваших родственниках ничего более не известно, — по-видимому, у вас вообще нет никакой родни. Ваша жена, такие ходят разговоры, оставила вас еще до окончательного поражения денкинской армии и вместе с каким-то получше вас устроенным офицером удрала то ли в Париж, то ли еще в какую-то заграницу.

Да, коллега Гуцин, у вас есть причины быть недовольным этим миром. От вас можно многого ожидать. Но между подозрением и доказательством расстояние велико. Ваши связи здесь, в поезде, у всех на виду, вы ни с кем особенно не дружны...

— Андрей Карлович! — слышу я у себя за спиной негромкий, но какой-то взволнованный голос, который я даже не сразу узнаю. Молодой прораб по каменным работам Борис Кунин до сих пор ни разу со мной не заговаривал. Он вообще малоразговорчив, его доклады на совещаниях всегда самые краткие. Он был первым, с кем я познакомился среди технического персонала мостостроителей, тогда еще, в мой первый вечер у профессора. После этого я заметил, что во время совещаний он меня иногда разглядывает с необъяснимой внимательностью, как будто бы я какая-то достопримечательность. У меня с самого начала было такое чувство, что от этого человека не может исходить никакая опасность — ни для меня, ни для дела. «Есть еще время», — говорил я себе и откладывал подробное знакомство с ним все дальше и дальше.

С другой стороны, у меня к нему с самого начала обозначился повышенный интерес, но этот ясно не мотивированный интерес был чисто личного плана, а я стремлюсь не давать личным мотивам слишком большого простора. Он единственный в поезде, кто без стеснения продолжает носить свою старую офицерскую форму, но это объясняется такой простой причиной, как отсутствие у него другого подходящего платья.

А в общем во всем поезде едва ли найдется другой такой человек, которого бы так же единодушно уважали и ценили, даже любили. Вероятно, и внешняя красота Кунина играет в этом немалую роль. Высокого роста, стройный, как юное деревце, он с гордым изяще-

ством несет свою прямо посаженную, в идеальных пропорциях выточенную голову, украшенную темно-каштановыми кудрями. Приветливая улыбка почти никогда не сходит с его лица римлянина с прямым, может быть несколько коротковатым носом, добродушно светящимися карими глазами и полным, резко очерченным ртом. Бывает же природа так щедра к своим избранникам!

Все жизнепроявления у этого человека так естественны и свободны, что его невозможно заподозрить ни в какой задней мысли. Если существует какая-то видимая причина для радости, он радуется от всего сердца, появляется повод для огорчения — он огорчается у всех на виду. Стремление скрывать свои чувства ему как будто бы вовсе даже и не знакомо. Простодушные Кунина иногда соблазняет коллег к тому, чтобы его незлобиво дурачить или подтрунивать над ним, и на каждую, даже самую прозрачную ловушку он неизменно попадает, потому что мысль о подвохе ему совершенно чужда. Он наливаясь краской от гнева, когда над ним смеются, но тут же отходит и сердечно смеется вместе со всеми.

«Искренне ли все это?» — закрадывается иногда в мои мысли сомнение. Но как можно разыграть такое?

Кунин хорошо воспитан. Он всегда уступает дорогу старшим. Поэтому он и сегодня последним покинул служебный вагон и вот теперь совсем запыхался, догоняя меня. Я останавливаюсь и жду его.

С удовольствием разглядываю его юношескую высокую фигуру, мощные взмахи широкой грудной клетки под темно-зеленой офицерской гимнастеркой.

— Андрей Карлович, извините, что я вас задерживаю. Я только хотел вам сказать, что я вам... что я с вами... что я ваше выступление там, на совещании, очень, очень одобряю! В самом деле, вот именно так надо разговаривать с этим Гуциным, с этим подлецом. Он этого заслужил! Он заслужил и больше, но... Да, да! Вы его не знаете еще. Но вы еще поймете, кто это такой. Вы даже не подозреваете, насколько вы были правы... Извините.

Он быстро сбегает по насыпи вниз, к реке. Там, внизу, под железными арками моста, которые покоятся на

временных, сложенных из железнодорожных шпал опорах, у старого, взорванного каменного быка возятся несколько каменщиков.

XI

Как мог я быть таким поверхностным, таким доверчивым, таким легкомысленным! Да, конечно, моя задача прикрытия (нет, я не могу ее так называть; моя вторая задача? моя другая задача?) стала значить для меня слишком много.

Нет, не слишком много. Она не могла значить для меня слишком много, она была действительно важной.

Я разделился на две части. Вот в чем было начало всех моих ошибок. Человек не может в одно и то же время существовать в двух лицах.

Теперь я вглядываюсь в туман, и мне чудятся там картины недавнего прошлого, которые разрывают мою душу.

Ну какой в этом смысл? Но мне не хочется уходить отсюда. Оконное стекло так прохладно.

ЛЮДИ ВОКРУГ МЕНЯ

Я бываю повсюду, где собираются люди.

На сегодняшний вечер я наметил себе рабочий клуб.

Большой четырехосный пульмановский вагон украшен сверху красным полотнищем с белой надписью: «Даешь пролетарскую культуру!» Это написал Мишка Парфенов красивыми прямыми буквами, что определенно стоило ему больших усилий, так как тщательность не его сильная сторона. Внутри вагона есть еще один подобный продукт Мишкиного творчества, он висит на боковой стене напротив входа и гласит: «Долой пошлую мещанскую песню, цыганщину и фокстрот!» Оба лозунга Мишка подглядел в одном комсомольском бюро в городе, куда его посылали на конференцию молодежи.

И вообще Мишка первый клубный активист, он даже не возражал бы считаться заведующим клубом. Но

на это звание претендует также и тетя Паша, которая здесь убирает и по сему считает своей обязанностью управлять поведением проходящих сюда людей.

Мишка встречает меня у входа:

— Хорошо, что вы пришли...

— Санюги хорошенько вытирай,— вставляет тетя Паша.

— ...Сегодня у нас как раз первая сквозная репетиция. «Коварство и любовь» на новый лад — это будет штука! Мы их всех переименовали — ну на кой шут рабочему человеку все эти аристократические имена? Фердинанд у нас называется Федей, Луиза, конечно, Лизой, из Бурма мы делаем Червяка, а Кальб стал Теленком. Это Петр Афанасьевич подал такую идею, образованнейший человек, он нам все в точности перевел с немецкого. А вместо князя с его гофмаршалами у нас играют нэпман и его прихлебатели. Как вы находите?

На низенькой сцене, сооруженной в конце вагона, за занавесом из тонкого ситца слышится негромкий шум голосов. Там о чем-то заспорили, голоса звучат все громче, и наконец занавес открывается. Вокруг стола сидя и стоя расположилось человек семь-восемь, среди них Кунин, Лиля и Гуцин. Это Кунин открыл занавес и в сильном волнении обращается к Парфенову:

— Послушай, Михаил, так дело не пойдет. Как я могу в качестве Феи Вершинина произносить такой текст? Мне его просто не выговорить!

— Ну, знаешь ли! Что в тебе так глубоко коренятся буржуазные предрассудки, никогда бы этого не подумал. Что значит не пойдет? Должно пойти.

— Михаил Васильевич совершенно правы,— замечает Гуцин.— Должно пойти, раз новая власть этого хочет.

Подобные вылазки штабс-капитан Гуцин позволяет себе нередко. Но брехливая собака не кусает — так, кажется, утверждает народная мудрость?

— Ах, оставьте уж, Петр Афанасьевич! — не выдерживает Лиля.— Вы не хуже нас всех понимаете, что Шиллера надо играть только так, как он сам написал.

— Вот уж с этим я не согласен! — возражает Мишка.— Мы вашего Шиллера запрежем в наш воз, и пусть тянет!

— Запрягайте, пожалуйста! — все больше возбуждается Кунин. — Но не калечьте!

— Друг ты мой, а костюмы? — высказывается один из актеров. — Где мы возьмем костюмы придворной челяди?

— Ты погляди-ка! — вставляет свое слово тетя Паша. — Костюмы ему подавай! Ишь какой большой господин. Научись сперва нос сморкать!

Дискуссия продолжается. Я подхожу к столу и интересуюсь списками ролей. Лиля играет Луизу Миллер. Ее почерк мне уже знаком, табельные списки она пишет равномерными косыми буквами, которые хранят направление школьной разлинованной тетрадки. Но тут ее почерк выглядит несколько поспешным и нервным, как будто трагичность ее роли и здесь нашла свое отражение. Кунин пишет без наклона, его буквы прямые, большие, крепко сколоченные, они стоят как сказочные богатыри, в готовности отразить любой натиск. Гуцин, который играет Вурма, пишет мелким каллиграфическим почерком, у его букв длинные узорчатые хвостики. Печатными буквами не пишет никто.

А в дальнем углу сидит на табурете фельдшер Павлов и тихонько перебирает струны своей гитары. Постепенно, один за другим, возле него собираются молодые парни и девчата. Некоторые из актеров, которым нечего сказать в дискуссии, тоже присоединяются к ним. Гитара играет все громче, песня раздается все смелей. Невзирая на Мишкин лозунг, звучат цыганские напевы. Но вот собравшиеся вдруг начинают требовать:

— Лезгинку давай! Сережа, оторви-ка, брат, свою лезгинку! Кавказскую!

Я подхожу ближе и не узнаю своего соседа по комнате. Его светло-серые, почти бесцветные глаза горят, мелкие капельки пота на лбу сверкают в свете керосиновой лампы, которая висит над ним на стене. Его правая рука подобна быстрой, ловкой хищной птице, она обрушивается сверху, вцепляется в струны и снова взлетает вверх, а тем временем левая рука сотрясает гриф инструмента в быстром ритме, отчего звучание получается дрожащим и жалобным.

— Лезгинку? — переспрашивает он. — Хорошо. Только чтобы все подпевали. Уговорились?

Теперь весь вагон приходит в движение. Подпеванием это, пожалуй, не назовешь, народ ограничивается в основном тем, что после каждой строфы раздается мощное «ха-ха». Но так или иначе никто не остается безучастным, одни напевают мелодию, другие уже отплясывают в образовавшемся кругу, и все в такт песни бьют в ладоши:

Есть у нас легенды-сказки — ха-ха!
И обычай наш кавказский — ха-ха!
Кახетинский пьем да пляшем — ха-ха!
И чтоб жилось нам по-братски — ха-ха!

Уже и тетя Паца подхвачена всеобщим порывом, она врывается в круг, выхватывает из-под фартука носовой платок, размахивает им над головой, взвизгивает фистулой: «И-и-и-и-их!» — и требует:

— Русскую давай!

Веселье достигает своей высшей точки. Все перешли на эту сторону вагона, только Лиля и Кунин остаются сидеть за столом, поглядывают в нашу сторону со снисходительной улыбкой. Да Гуцин стоит на краю помоста со скучающим выражением лица. Мишка Парфенов, который все время держится рядом со мной, кивает на сцену:

— Ишь, интеллигенция!

Поза Гуцина весьма выразительна. Он стоит, заложив руки за спину, его узкие плечи приподняты, как если бы он презрительно пожимал ими, и вся фигура расширяется книзу, в направлении выпуклостей его брюк-галифе. Он покачивается, перенося тяжесть тела с носков на пятки и обратно. Легко можно дорисовать картину, представив себе хлыст в его руках. Вдруг Гуцин сходит с подмостков, направляется размеренным шагом к веселящемуся кругу, бессловесно прокладывает себе дорогу сквозь толпу, которая расступается под его отталкивающим взглядом, и вот он уже стоит перед Павловым. Тот, как только видит перед собой Гуцина, обрывает игру на середине фразы, встает с табурета и протягивает Гуцину гитару.

Гуцин с каменным лицом берет инструмент, садится. Веселье утихомиривается, воцаряется наполненное ожиданием молчание. Гуцин трогает струны, подкручивает колки настройки. Сразу заметна разница между требованиями Павлова к строю гитары и его

требованиями. Наконец он более или менее удовлетворен созвучием, его пальцы все быстрее бегают по струнам и наконец извлекают аккорд.

С этого момента ободранный клубный вагон превращается в храм музыки. Вместо темных узких дощечек, которыми он обит, у него появляются стены из хрустала. И сквозь них открывается вид в бесконечные задумчивые дали, где в розовой дымке заката возникают испанские ландшафты. Лихие торреро постукивают каблуками, дерзкие андалузки взмахивают юбками, мрачные монахи предостерегают от греха, бесстыдная молодость смеется над немощной старостью, неумолимая смерть уравнивает всех, и не помогут тут ни ропот, ни мольба...

Молча, одухотворенно слушает толпа. Едва заканчивается одна пьеса, сразу несколько голосов требуют:

— Еще что-нибудь! Сыграйте еще!

Подошли даже Лиля и Кунин, они стоят у стены, с края полукруга слушателей, захваченные колдовством музыки. Изумление написано на их лицах — изумление и что-то другое. Недоверие? Горечь?

И снова:

— Еще что-нибудь, пожалуйста. Играйте еще!

Нет, что-то не в порядке с гитарой. Никто из слушателей не улавливает в ее звучании никаких изъянов, но мастер их слышит. После нескольких попыток наладить гитару Гущина поднимается и с легким поклонном отдает фельдшеру Павлову его инструмент:

— На. Валяй дальше.

Только теперь публика полностью отдает себе отчет в происшедшем. Все бурно хлопают в ладоши. Гущина же, как будто бы его это вовсе не касается, как будто он вовсе ничего и не слышит, идет бессловесно, как прежде, сквозь расступающуюся перед ним толпу и покидает вагон.

А Павлов — он не может «валять дальше». После Гущина — нет! В полном сознании своей немощи, он грустно смотрит на гитару, которая только что в руках виртуоза творила чудеса, и не решается даже тронуть струны. Народ расходится, каждый возвращается в свой собственный мир, чары вскоре развеялись и забылись, и только Павлов все еще сидит на своем табурете, всеми покинутый.

— Ну чего ты сидишь, все пошли домой, а он тут сидит, как чурбан,— говорит тетя Паша и начинает греметь ведрами.

Он пропускает все это мимо ушей. Потом как-то незаметно выскальзывает наружу.

Мы с Мишкой вместе идем домой.

— Говорят, он у какого-то испанского гитариста уроки брал. Фамилию я не запомнил, но, говорят, был какой-то сверхзнаменитый. Он хотел стать профессионалом, этот Гуцин, но его жена слышать ничего такого не желала. А может быть, это только так болтают. Играет он очень редко и вот всегда эдак, ни с того ни с сего. А так сколько его ни проси, ни за что не сыграет. Если не хочет, то уж... И вообще чудной тип.

— Ты считаешь?

— Все так считают. Ребята его не любят, хотя он им ничего плохого не сделал.

— Вот как! А кого рабочие любят?

— Ну, это же ясно! Начальника они любят, потому что он мужик справедливый. Кунина любят тоже, потому что он добрая душа и скромник, никогда ни на кого не наорет и никогда ничего такого не требует, что людям не под силу. Про вас я уж не говорю, вас с самого начала признали за своего.

— Слушай-ка, Миша, нет ли у тебя такого впечатления, что здесь, на мосту, не все в порядке? Ну, то есть, как бы тебе сказать... Что кто-то, неизвестно кто, каким-то образом противодействует... Или кто-то радуется, когда у нас не ладится дело тут, на строительстве, и вообще...

— У вас такое впечатление?

— Нет, я просто спрашиваю. Дело в том, что нам нужно как-то больше друг за друга держаться, нам всем, кого со старым миром ничто не связывает, понимаешь? Давай договоримся, что будем друг другу все говорить, если что заметим или услышим, все, что покажется нам подозрительным, ты меня понял?

— Да, конечно. Я так понимаю, что от них всего можно ожидать, от старых спецов!

— Нет, так уж прямо этого я не имел в виду. Но все же.

— Точно, точно, за ними нужен глаз да глаз. Волка как ни корми, а он все в лес смотрит.

Странная интонация появляется вдруг в его голосе, он говорит тихо, но с какой-то внутренней страстью, какая-то стихийная ненависть слышится в его словах. Мне становится жутковато, я уже чуть ли не жалею, что затеял этот разговор.

— Мы всегда должны трезво оценивать обстановку, Миша. Нужна трезвость и бдительность.

— Вот и я говорю. Нас не проведешь!

«Кого я приобрел, надежного помощника или услужливого дурака?» — задумываюсь я, оставшись наедине со своими мыслями. Меня пугает готовность Парфенова выполнять задание раньше, чем он как следует понял его существо. Слишком много тут идет от чувства, слишком много тут такого, что не подлежит контролю разума.

Дома меня ждут новые осложнения. Моего соседа по комнате колотит и крочит ужасный припадок кашля. Полотенце, которым он прикрывает рот, уже красно от крови. Увидев меня, он отстраняюще машет рукой, гонит меня прочь. Но я и не думаю уходить, я хочу помочь. Но чем?

— Есть у тебя кодеин?

Он отмахивается и отвечает вперемежку с кашлем:

— Да что там... кодеин... Уже... не помогает... Горячее молоко... с медом... вот это... было бы... дело. Но молока... нету...

Я обегаю соседние вагоны, одна рабочая семья держит козу, мне дают жестяную кружку молока. Меду сейчас не добыть, но у Павлова есть немного смальца. Я растапливаю печку, кипячу молоко, кладу в него смалец, даю Павлову это пойло. Его кашель успокаивается. Но теперь он совершенно ослаб, его лихорадит, трясет от озноба под тонким солдатским одеялом. Я беру такое же одеяло со своей постели и набрасываю на его дрожащее тело. Он хочет протестовать, но у него и на это нет силы. Я даю ему остатки горячего молока, постепенно он согревается и успокаивается. На его щеках горит нездоровый румянец.

— Спасибо тебе, браток, — говорит он, глядя в стену. — Ты, конечно, знаешь, что у меня.

— Знаю, знаю. Успокойся, Сережа. Постарайся заснуть.

— Вот такие-то, брат, дела. ТЫЦ. Ты не боишься?

— Чего мне бояться? Я здоров как бык, ко мне ничего не пристанет.

— Не говори. Я тоже был здоров, и сила была... Тебе бы надо поискать себе другое жилье. Нужно было бы тебе сразу это сказать. Но ты должен меня понять. Вот так, когда-нибудь ночью... такой вот припадок... и некому помочь.

— Будь спокоен, Сережа, я остаюсь с тобой.

— Нет, все же тебе надо переехать.

— Я остаюсь, дружище.

— Ну, тогда давай. Я ведь осторожный. Будем надеяться, что я тебя не заражу.

— Нет, нет, ты меня не заразишь. Попробуй теперь уснуть.

Но Павлову не до сна. После пережитого кризиса он возбужден.

— Знаешь что, я должен рассказать тебе о своей жизни. Здесь обо мне никто ничего не знает — никому нет дела. Да оно и понятно. У каждого своих забот полно. Но тебе я расскажу.

«Тебе не следует все принимать так близко к сердцу, — говорит где-то совсем глубоко во мне, совсем тихо, голос внутреннего контроля. — Тебе следует сосредоточиться на своей главной задаче».

Разведчик не должен позволять вовлекать себя в ситуации, которые не соответствуют его задаче, он должен оставаться безучастным, так сказано в инструкции какой-то иностранной разведывательной службы, говорил мне как-то комиссар Дратвин. Для нас эта инструкция не обязательна, но тем не менее...

Как могу я оставаться безучастным, когда вижу рядом с собой страдания людей?

Фельдшер Павлов рассказывает мне о своей жизни. Сейчас для него это внутренняя потребность. В этот момент ему нужен кто-то близкий, для кого он не чужой. Кто-то, кто проживет его жизнь вместе с ним, пусть хотя бы в этом кратком и путаном изложении.

Он говорит тихо, борется со своим ознобом. Он закрывает глаза, не смотрит больше на меня, как будто и говорит вовсе не для меня.

Ты в самом деле говоришь не для меня, ты говоришь для самого себя. Ты хочешь снова прожить свою жизнь, ты хочешь еще раз увидеть себя в ней, себя

самого, каким ты был много лет назад, сначала мальчишкой, потом юношей — здоровым парнем, перед которым лежит еще вся его жизнь, как письмо в запечатанном конверте. Тебя трогает встреча с этим парнем, которого ты любишь, эта встреча смягчает твои страдания и прибавляет жизненных сил.

Мы соприкасаемся с чужой жизнью, и она уже не чужая для нас. Да, Павлов, нас побратала эта ночь.

Ты родился в небольшом фабричном местечке неподалеку от Москвы, это местечко называется Павлово-Посад. Там каждый третий носит фамилию Павлов, утверждаешь ты и улыбаешься при этом, хотя твоя чашотка беспощадно мучит тебя в эту ночь и ты слишком хорошо знаешь, чем это все кончится.

Ты был голодный «лишний рот» в одной рабочей семье и начал с тринадцати лет заниматься ремеслом. С плотницкой артелью ты бродил по стране, так ты узнал страну и людей. Да и жизнь ты очень скоро узнал со всех сторон, к восемнадцати годам ты был уже варен во всех ее котлах.

Вот ты опять закашлялся и становишься беспокойным и корчишься на своем жестком топчане, вместо того чтобы нежиться в перинах какой-нибудь крестьянской вдовы и кормиться около нее салом и сливками. Такие предложения тебе делали уже не раз, но ты не пошел на это, деревенская жизнь тебе скучна и вообще не по нутру, говоришь ты мне.

Девятнадцати лет тебя призвали, и ты стал санитаром на войне, которая была не твоей войной. Потом, после ранения, тебя как способного послали в фельдшерскую школу. Когда ты ее окончил, была уже революция, а потом настала другая война, которая — с одной стороны — была твоей войной. Ты пришел к нашим, красным, и прошел через все фронты, до самого расчета с Врангелем. В сивашских болотах ты схватил воспаление легких, потом оно перешло в туберкулез...

Ты очень хорошо понимаешь, что тебе надо лечиться. Но где и как в нашей разоренной стране, когда кругом столько бедности и болезней? А ты одинок, ты предоставлен самому себе, никто о тебе не заботится.

Ты спросил меня, не лучше ли мне переехать, как только освободится место в каком-нибудь вагоне, потому что твой кашель... и вообще...

И я увидел затаенную муку в твоих глазах и подумал о твоём ночном безутешном одиночестве и ответил тебе, что твой кашель для меня ничего не составляет, так же как и твои бактерии, потому что я здоров как бык и живал ещё и не в такой обстановке.

Столько бедности и страдания. Столько людей сорваны с родных мест, разбросаны повсюду и обречены на одиночество. Ты хочешь помочь им, разведчик Шольц? Тогда ты должен стремиться как можно лучше выполнить свою задачу. Каждый на своём посту! Только так можно помочь общему делу.

Но люди вокруг тебя — разве ты можешь оставить их в беде?

XII

Люди вообще — и люди вокруг тебя. В чём разница между ними?

Разница в нас самих.

Один думает обо всех, другой — только о своих близких, третий — лишь о себе самом.

Туман, всюду туман!

ПРОГУЛКА В СОСНОВОМ БОРУ

На сегодняшний вечер у меня назначен разговор с Кушным. Мы встречаемся внизу, у дуба, где рабочая столовал.

Несколько человек ещё сидят за столами, пьют морковный чай из больших жестяных чайников. Я рассматриваю дуб: сколько бы ему могло быть лет? Ствол толщиной в добрых три обхвата, нижние ветви что твои железнодорожные шпалы. Дерево не особенно высоко, может быть десять, от силы двенадцать метров, но развесисто, с густой, здоровой листвой. Сто лет? Двести? Триста? И никакого потомства вокруг. Может быть, люди вытоптали молодые деревца? Вот так и стоит старый великан один-одинешенек на этой маленькой высотке — возле реки, окаймленной ивовым кустарником, и недалеко от соснового бора, но чужой тому и другому, печальный и гордый в своём одиночестве. Ни одного пожелтевшего листка не видно в его кроне, хотя ночи уже довольно прохладны.

— Что увидел ты там в ветвях? — говорит Кунин, которого я вдруг замечаю возле себя. — Змею?

— Почему змею?

— Это дерево называют змеиным дубом. Говорят, что у него внизу, в дупле, было змеиное гнездо. Наши рабочие разводили там костер, чтобы уничтожить все спрятанные яйца. Но ходят разговоры, что змеи все же появляются здесь, они не примирились с потерей своего логова.

Я обхожу дерево кругом и вижу со стороны, обращенной к кухне, большое овальное отверстие в стволе.

— Боишься пресмыкающихся? — смеется Кунин.

— Бояться не боюсь, но они мне как-то неприятны, — отвечаю я и не могу заставить себя улыбнуться. Как-то муторно становится и горько, как будто это предательское дерево обмануло мои лучшие надежды.

Но это проходит, как только мы углубляемся в наш чудесный сосновый бор. Какой здесь воздух!

— Ты не мастер по сбору грибов? — спрашиваю я Кунина.

— К сожалению, не очень в них разбираюсь. Можешь научить меня этому искусству?

— Охотно, — говорю я. — В сосновом бору должны водиться прежде всего маслята. Иногда их совсем не видно под слоем опавших игл, замечен только небольшой бугорок. Вот, например, смотри сюда, видишь? Теперь мы разгребаем иглы, и что предстает нашим взорам? Чудесный масленок, как на картинке, со светло-коричневой, жирно поблескивающей шляпкой. Теперь берем карманный ножик, срезаем ножку как можно ниже, и вот он у нас в руках, наш красавец. А снизу у него этакая белая пленка. Если ты ее сорвешь, то сможешь убедиться, что гриб абсолютно здоров, то есть не червивый, — видишь, какое у него чистое желтенькое ситечко? Но если пленки уже нет, то внешне можно обмануться, а именно: ты берешь гриб, который с виду прямо-таки герой, разламываешь ему шляпку — и что мы видим внутри? — он весь изъеден червями.

— Удивительный воздух, — говорит Кунин. — В таких лесах надо строить санатории для легочных больных.

— У тебя разве больные легкие?

— У меня? Нет. Но я хотел стать врачом. До войны я был студентом-медиком. Как ты находишь профессию врача?

— Вполне подходящая профессия.

— Больше всего несчастий происходит на земле из-за того, что люди болеют. Многие даже не знают, что они больны. Ты наверняка встречал людей, которые всегда возбуждены, раздражаются по всякому пустяку, которые всеми и каждым недовольны, часто и самим собой, а прежде всего тем обстоятельством, что приходится работать. Они бранятся, и жалуются, и портят настроение другим. Знаешь, почему это происходит? Обычно говорят, что у этих людей плохой характер. Но ведь и сам характер чем-то определяется. Плохой характер у тех людей, которые чем-то больны. Очень часто они сами об этом не знают.

— Наверно, как наш Петр Афанасьевич?

— Гуцин? О нет, этот-то знает!

— Что он знает? То, что болен?

— И это, и еще кое-что. Пожалуйста, давай не будем говорить о Гуцине, хорошо?

— Почему же нет? Здесь он не испортит нам настроение, его тут вовсе нет с нами. Или он умеет это делать даже на расстоянии?

— Ты не должен шутить об этом человеке. С ним дело обстоит слишком серьезно.

— Ого, я заинтригован! Что же такое с ним происходит?

— Ах, ничего, давай оставим этот разговор. Для тебя это определенно не представляет никакого интереса.

Кто знает? Но я не хочу настаивать. Хорошо, поговорим о чем-нибудь другом.

Слой сосновых игл под нашими ногами мягок и пружинист, тихо потрескивают сухие ветки, на которые мы наступаем. Где-то вдали кукует кукушка, прочит кому-то долгую жизнь.

— Кукушка, кукушка, скажи, сколько лет мне осталось жить?

— А ты смелый! — смеется Куцин. — Или совсем не суеверный. Я вот не отважился бы на такой вопрос. Представь себе, если кукушка сразу же замолкнет, тогда тебе придется думать, что смерть подстерегает тебя на каждом шагу.

Однако птица-умница продолжает выкрикивать все дальше свое ку-ку, ку-ку, делает маленькую паузу,— может быть, кто-то ее спугнул, и снова продолжает: ку-ку, ку-ку...

— А потом, следовательно, вместо того чтобы лечить людей, тебе пришлось в них стрелять?

— Как так? Ах, ты имеешь в виду войну. Я тебе что-то скажу, только ты надо мной не смейся, ладно?

— Ни в коем случае.

— Я за всю войну не убил ни одного человека. Во всяком случае, ни одного, чтобы я знал. Ты не веришь? Но это действительно так. Когда мне приходилось стрелять, я нарочно целился в белый свет! Ты спросишь, почему я вообще пошел на войну, ведь, как студент-медик, я мог этого избежать. Так вот, слушай, я сделал это из чувства противоречия, можешь мне поверить? Мне было слишком уж отвратительно видеть, как люди прибегали ко всяким унижительным уловкам, спасаясь от фронта, причем как раз те, которые шире всех драли горло. Чем больше болтал какой-нибудь про веру, царя и отечество, тем меньше в нем было готовности рисковать за них своей шкурой. Я не желал иметь с ними ничего общего и поэтому...

— И поэтому ты рискнул вместо них своей собственной шкурой, не так ли? Но за что? Все за те же веру, царя и отечество.

— Дело тут не в формуле. Царя я, между прочим, никогда не принимал всерьез. Что касается веры, знание я всегда ставил на первое место. Ну, а отечество — что ж, конечно, человек чувствует себя привязанным к своему отечеству, которое дало ему жизнь. За это отечество он действительно, если надо, жизнь свою и отдает.

— И все же ты не стрелял во вражеских солдат?

— Странно, но я никогда не мог отделаться от чувства, что в этой войне дело идет о чем-то другом, а не о защите моего отечества.

— Какую войну ты имеешь в виду?

— Собственно, обе. Во второй я участвовал в общем-то лишь только потому, что не хотел разлучаться со своим командиром полка, у которого я был адъютантом. Это был добрый человек.

— Где он теперь?

— Мертв. Самоубийство.

— А ты знаешь, что я воевал за красных?

— Да, знаю.

— Значит, мы были противниками друг другу.

— Теперь я знаю лучше, почему я никогда не стрелял в противника.

— Как ты относишься к большевикам?

— Мне кажется, они честные.

Некоторое время мы идем молча. Я обдумываю, как бы мне побольше узнать о Гущине. Вдруг он говорит:

— Я хочу тебе что-то рассказать. Описать одну ситуацию. А ты скажешь мне свое мнение, хорошо?

— Давай рассказывай.

После короткого молчания он начинает:

— В Харькове жил один профессор, известный мостостроитель. Когда город был занят Деникиным, командование потребовало от него, чтобы он как специалист подготовил взрыв нескольких железнодорожных мостов, чтобы задержать наступление красных. Он отказался принимать участие в уничтожении мостов. Ни давлением, ни угрозами не удавалось принудить его к этому.

Тогда был сфабрикован донос, согласно которому он якобы был заодно с большевиками. Ночью его взяла контрразведка. Дома остались жена и дочь, семнадцатилетняя девушка. У них почти не было средств к существованию, немногие ценности давно уже были проданы, еще в первые месяцы смутного времени. Чтобы как-то продержаться, жене профессора пришлось часть квартиры сдавать внаймы офицерам. Поведение офицеров оставляло желать много лучшего, но они давали немного продовольствия. Воистину немного! Обе женщины буквально голодали, и у старшей ненадолго хватило сил, холодной осенью она простудилась, ее здоровье все больше ухудшалось, и наконец она слегла с воспалением легких, в смертельной опасности.

Вот в это время в квартире арестованного профессора появился офицер, который как будто бы имел какие-то связи с контрразведкой.

— Ты его знаешь?

— Нет, я его не знал. И вообще я узнал все это совсем недавно. А кроме того, ты не должен понимать эту историю в практическом смысле. Чего я хочу, так

это знать твое принципиальное отношение, ты меня понимаешь?

— Я понимаю. Извини.

Некоторое время Кунин идет молча, поддевает палочкой сосновые иглы, разбрасывает их. Затем продолжает:

— Этот офицер дал понять девушке, что может добиться освобождения ее отца, если эта девушка свою благодарность выразит заранее... так сказать, авансом... Сам понимаешь, как... Он даже не дал себе труда притвориться безумно влюбленным. А девушка к тому времени уже приобрела у господ офицеров прозвище мадмуазель недотроги. И потому этот негодяй тем развязнее похвалялся своей победой.

Он, конечно, не освободил узника. Из тюрьмы его освободили красные. Жена профессора не дожидая до этого дня, она умерла вскоре после того, как узнала о несчастье дочери...

— Проклятье! На деникинцев это похоже!

— Подожди, это еще не все.— Кунин помолчал, собираясь с новыми силами.— Через два-три года с этой девушкой знакомится один молодой человек. Обстановка уже совсем другая, война позади. Но над существованием обоих, отца и дочери, все еще висит черная тень. Старый специалист, правда, находит некоторое утешение в своей работе, но она... Она уверена, что никогда больше не сможет без отвращения смотреть ни на одного мужчину.

Но вот, как я сказал, появляется один молодой человек, и со временем выясняется, что по отношению к нему она не испытывает никакого чувства неприязни. А когда он начинает искать ее близкой дружбы, она доверяет ему эту историю.

Кунин делает паузу, ему явно нелегко дался этот разговор.

— Теперь уже близко к концу. Девушка во всем обвиняет себя, она считает, что теперь она не вправе соединиться с честным человеком... Ну вот и все. Как ты об этом думаешь? Как вообще ты находишь эту историю? Что бы ты посоветовал этому человеку? Должен ли он во что бы то ни стало стараться убедить ее, что она неправа, или... Знаешь, счастье, навязанное через силу, — это не настоящее счастье.

Мы останавливаемся, он смотрит в сторону, дышит тяжело.

Но и мне ответ дается не легко. Не потому, что ситуация как таковая мне неясна. Нет, именно потому, что я не могу себя заставить рассматривать ситуацию чисто теоретически, потому что она, в этом я должен себе внутренне признаться, слишком глубоко меня взволновала. Вот поэтому я не сразу нахожу слова, которые здесь были бы единственно уместными.

— Тебе не хочется высказывать свое мнение? Ты все понял?

— Да, я понял все. Мое мнение?

Мой голос звучит несколько хрипло и не так твердо, как мне хотелось бы.

— Я бы все поставил в зависимость от того, насколько дорога эта девушка этому молодому человеку. И насколько он дорог ей. Если он хочет совершить акт христианского милосердия или разыграть принца, который осчастливит бедную золушку, чтобы потом всю жизнь гордиться этим, тогда я посоветовал бы ему поискать другого применения для своих благородных порывов. Но если он ее действительно любит...— Что-то опять происходит с моим голосом. Никогда не думал, что он может меня таким образом подвести. Возьмите себя в руки, разведчик Шольц!— Если он ее любит и она любит его, тогда я не вижу никаких препятствий. Тени всегда отступают перед светом, который излучает настоящая жизнь. Настоящая, а не придуманная.

— Спасибо тебе!— говорит Кунин и хватает мою руку.— Мне очень радостно, что я в тебе не ошибся. О таком друге я давно мечтал.

По дороге домой мы мало разговариваем. Постепенно в лесу смеркается. Ни ветерка, ни пенья птиц, уже и кукушка давно молчит, только иглы едва слышно шуршат у нас под ногами и тихо, как отдаленные выстрелы, трещат сухие ветки.

XIII

Я просто тряпка. Я не гожусь в разведчики, напрасно я выбрал эту профессию.

Как было раньше, в войну? Обо мне говорили, что я смел. Мне ничего не стоило поставить свою жизнь на

карту. Но, наверно, эта готовность не имеет ничего общего с настоящим служением делу. Опасность для тебя самого — это одно, опасность для дела — это совсем другое. Как можно со спокойной душой поставить на карту и то, и другое?

Туман, туман. Нет ему ни конца, ни края, он окутал всю землю и скрыл все предметы.

Что затуманило мой взор?

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР

Каждый вечер я выхожу прогуляться по окрестностям. Один раз мой путь лежит вдоль берега реки, другой раз я углубляюсь в сосновый бор и возвращаюсь с кульком маслят, которые потом дарю рабочим, третий раз я перехожу по теперь уже почти готовому мосту на ту сторону реки и направляюсь в одну из близлежащих деревень. Все в поезде уже знают, что я большой любитель природы, и никто, думаю, не удивляется, когда я после конца работы куда-нибудь исчезаю. Никто? Человек никогда не может знать точно, что о нем думают другие. Но разве могут мои походы в русскую деревню привлечь к себе чье-нибудь внимание? К тому же они не так уж и часты. Да если даже кто-то и обратит внимание на них, всегда найдется оправдание, лежащее как на ладони: ведь я, как известно, холостяк, «простого народа» не чурюсь, почему бы мне и не взять пример с некоторых молодых рабочих, которые завели в деревнях знакомства с особами женского пола? Вполне могу себе представить, что для многих считается достоверным наличие у меня, молодого прораба, милашки в деревне Субботино. Мне не раз уже даже и намекали на это в шутливых словесных стычках в моей бригаде. Подобные подозрения подкрепляются еще и тем фактом, что если в моих прогулках по другим маршрутам мне часто составляет компанию Борис Кунин, то в Субботино он со мной никогда не ходит.

Мне все это на руку. И тем не менее как-то огорчительно, что обо мне в поезде так говорят. Почему? Если бы я стал об этом задумываться, то пришел бы к точному ответу. Но я гоню от себя прочь размышления на эту тему.

Теперь я уже не новичок в этом своеобразном поселении, этом своеобразном коллективе, где все друг друга знают и почти все остаются чужими друг другу, потому что отношения между людьми определяются здесь почти исключительно местом человека на производстве, они не имеют длительного прошлого и продолжительного будущего. Правда, несмотря на все это, несмотря на печать временности, лежащую на всем, здесь возникают порой и другие, более прочные отношения. Всем уже известно, например, что дочь начальника поезда Лилия и прораб по каменным работам Борис Кунин обручены и что этой осенью должна состояться их свадьба.

Но я стараюсь не думать также и об этом.

...После обеда погода внезапно переменилась. Сильный северо-западный ветер пригнал иссиня-серые тучи, полил хлесткий косой дождь. Работу пришлось закончить раньше времени, потому что заклепки шипели под дождевыми струями и остывали за несколько секунд.

Невзирая на дождь, который лишь немного утих, в обычный для меня вечерний час я собираюсь на прогулку. Надеваю сапоги и брезентовую куртку. Фельдшер Павлов, который по случаю дождя не ожидает больше визитов, закрывает амбулаторию и вытягивается на своем топчане, с удивлением следя за моими приготовлениями.

— Ну, знаешь ли, я много слышался анекдотов о немецкой пунктуальности, но теперь мне самому будет, что рассказать. Или у тебя намечено что-нибудь важное, а? Скажи уж правду, она тебе что-нибудь пообещала на сегодняшней вечер?

— Ты видишь меня насквозь, Сергей, — отвечаю я.

— И ее тоже, а? — хохочет он с торжеством.

— Но это остается между нами, лады?

— Можешь быть спокоен: врачебная тайна! Только гляди не приходи через такое количество дней ко мне в клинику.

Заурядная солоноватая шутка, из тех, что обычны в нашем солдатском быту. Да и не удивительно, что у Павлова возникают подобные мысли, потому что у него полно работы не только с рабочими ремонтного поезда, но и с жителями окрестных деревень. И он знает,

что быстротечные любовные связи опасны в эти первые послевоенные годы...

У меня такое впечатление, словно я один на целом свете, потому что во всей округе, в спеленной серой пелене дождя, не видно не то что человека, но и вообще ни одного живого существа. Я мелким шагом семеню по мосту, черные, пропитанные дегтем шпалы мелькают у меня под ногами, а внизу вскипает бесчисленными маленькими пузырьками бичуемая дождем река. Теперь мне направо, сбегая вниз по насыпи, иду по узкой, набухшей от влаги, чавкающей под моими сапогами тропинке, напрямик, через луг, к русской деревне.

Широкая главная улица так же пуста, как и вся окрестность. Черные прямоугольники незанавешенных окон глядят мрачно и сердито и придают избам необитаемый вид. И тем не менее возникает неприятное чувство, как будто кто-то наблюдает за тобой через эти слепые окна, из глубины темных комнат. Что ты здесь делаешь, совсем один в этой сырости, когда холодный, с северо-запада пришедший дождь разогнал и заставил спрятаться все живое, что тебе надо тут, в нашей захолустной, неприглядной деревне, ответь-ка, мнимый прораб Андрей Шольц?

Озираясь вокруг, я сворачиваю в переулок. Выхожу на параллельную улицу. Быстро прохожу по ней один квартал в противоположном направлении, потом вхожу в другой переулок, снова пересекаю главную улицу...

— А я уж думал, что ты не придешь, — говорит человек с большой черной бородой, который встречает меня в маленьких темных сенях и помогает выбраться из мокрой брезентовой куртки. — Поглядываю в окно и думаю: нет, при такой собачьей погоде он определенно не придет.

— Ну, отчего же, Васильевич! — смеюсь я. — Небось не сахарный.

Васильевич в курсе моего дела, он здесь единственный, кто посвящен в мое инкогнито. Его рекомендовали мне у нас в городе как единственного известного нам крестьянина в двух соседних деревнях, который вернулся с войны большевиком. Вот уже несколько недель он помогает мне, на основе полного доверия, проверить его все равно было бы почти невозможно. Перед этим

человеком я мог бы расслабиться, стать полностью самим собой, ничего больше не разыгрывать. И все же я не могу сделать этого до конца. Вести себя соответственно обстоятельствам, а не в соответствии с твоим внутренним состоянием — это становится второй натурой разведчика. Или, может быть, даже первой? А разве не относится это к качествам каждого воспитанного человека — вести себя соответственно обстановке, не давать волю своим чувствам и настроениям? Нет, нет, я могу припомнить мгновения, когда я был совершенно свободен от всего, что налагает на человека какие-то оковы, когда я мог себе сказать: вот сейчас ты сделался сам собой, и чем раскрепощеннее ты станешь, тем отраднее будет у тебя на душе. Такие мгновения редки. Для меня они освещены большими темными глазами с несколько задумчивым, мечтательным взглядом... Стоп, не думать дальше, этот образ для тебя «табу».

Да, с этим человеком я мог бы расслабиться еще больше, ну да ладно, и так уж хорошо.

— Как дела, Васильевич? Побывал в городе? Наверно, у тебя есть что-то для меня, а?

— А как же иначе. Но ты давай заходи в избу.

В его поведении тоже есть что-то от лицедейства. Да и не может не быть. Такая наша работа. Работа нелегкая. Но он надежен. Я это чувствую. Может ли разведчик полагаться на ощущения? А что станешь делать, если достоверного знания не хватает? Приходится.

— В доме кто-нибудь есть?

— Какие у тебя мысли, Андрей Карлович! Все как договаривались. Жена ушла к сестре на другой конец деревни и дочку взяла с собой.

Большая русская печь с длинной, узкой лежанкой давно уже утратила свою былую белизну, изуродована пятнами и трещинами, заделанными желтой глиной.

— Чего это ты так косо поглядываешь на мою печь? — ворчит хозяин с наигранным недовольством. — Может быть, думаешь, что я стану выменивать известь у спекулянтов за мою последнюю краюху хлеба?

— Да пусть себе, Васильевич, меня твоя зебра-печка вовсе не смущает. Главное, чтобы было тепло.

— Скоро и этому конец. За последнюю изгородь взялись. Ну, да что там, ты ведь тоже ничем помочь не можешь. Проходи, садись. Выпьешь чего-нибудь?

— Сейчас нет, потом.

— Как домой идти? Ну и хитер ты, парень! Ладно, как хочешь, а то самогонка есть.

— Побереги ее для более почетных гостей, Васильевич.

— Каких гостей? — Тень обиды пробегает по его бородавчатому лицу. — У меня не бывает никаких гостей. Если ты мне не доверишься...

— Да что ты, Васильевич! Я вовсе не в том смысле. Это просто так, к слову пришлось.

— Так-так. А я-то думал, что у таких, как ты, просто к слову ничего не бывает.

— Всякое бывает, Васильевич. Бывает, что и корова летает. А кроме того, я ведь у тебя как дома, разве не так? Могу я тут немного поозорничать или нет? Вот видишь! Ну ладно, давай, что у тебя есть, и расскажи, что творится в городе.

— В городе ничего нового. Деньгам никто не верит. На базаре только обмен. Суконные брюки малоношенные за буханку хлеба, или фунт сала, или за банку американского молока. Говорят про какого-то нового батьку, вроде бы он тесть самого Махно, семьсот сабель у него под началом, и в трех уездах под Полтавой, говорят, вроде бы он порубал всех большевиков.

— Можно этому верить?

— Откудова знать? В газетах об этом ничего нету. Не беспокойся, к нам он не придет: все банды таятся на юг, там кулаки богаче и свиньи жирнее.

Рассказывая, старик медленно и обстоятельно стаскивает сапог с правой ноги. Каблуки совсем почти сношены, а сами сапоги, наверное, уже месяцы не водили знакомства с ваксой. Он запускает руку в глубь широкого, гармошкой сжатого голенища, осторожно вынимает бугристую стельку, кладет ее осмотрительно рядом с собой на скамью, снова запускает руку, шарит внутри с лукаво-испуганным взглядом серых, глубоко сидящих глаз, которые неотрывно глядят на меня, и наконец протягивает мне маленький, несколько раз сложенный клочок бумаги.

Я едва могу дождаться сообщения от моего начальника. Я здесь нахожусь в полном тупике, мне срочно нужна какая-то подсказка, какой-то новый толчок. Но я никак не показываю Ивану Васильевичу своего нетерпения. Напротив, я сохраняю хладнокровие, по крайней мере внешне.

— Что, у тебя совсем уж дегтя не стало, Васильевич? Какой же уважающий себя крестьянин в таких сапогах в обществе покажется?

— Эх, чекист, называется! Ну что ты понимаешь в жизни? — смеется добродушно хозяин. — Если уж у кого малость дегтя и имеется, то он прибережет его для колесных осей. А сапоги — это уж ты оставь, чем меньше они к себе чужой глаз привлекают, тем лучше.

Я разворачиваю тонкий листок, расправляю его на деревянном столе. Шифр довольно прост, я знаю его на память, расшифровка не представляет для меня никаких трудностей. Я начинаю читать и едва могу удержаться от невольного восклицания. Кровь ударяет мне в голову при чтении этих строк: «Неизвестный с печатными буквами сообщает, что во главе вредительской группы стоит некий подпоручик Кунин, работающий прорабом каменных работ. В качестве запланированного действия указывается замурование взрывчатого материала в опоры моста. Приказываю: взять Кунина под строгое наблюдение. Проверить и держать под постоянным контролем все возможные места складирования и скрытного содержания взрывчатых материалов. Предотвратить всякие отлучки Кунина. Брать под строгое наблюдение всех новопривывающих. Немедленно доложить об обстановке. Д р а т в и н».

Кунин?! Это же невозможно!

Проклятый буквопечатник! Если бы мне удалось его обнаружить, тогда все стало бы гораздо проще. Но я никак не могу напасть на его след. Почему он прячется? Может быть, он науган воображаемым засилием бывших белогвардейцев? У меня есть один оригинал его сообщения, но даже сравнение с почерком каждого работника поезда едва ли что-то прояснило бы, потому что это нарочито рисованные печатные буквы.

Я знаю в поезде всех и каждого, за исключением разве что некоторых жен рабочих и их детей. Почти с каждым я обменялся парой слов, почти о каждом рас-

спрашивал при случае его товарищей. Нигде я не нашел ни малейших признаков заговора и никаких следов его разоблачителя.

Значит, я ни на что не годен? Еще никогда не бывало со мной такого. Да, на войне все было гораздо проще!

Но и Дратвин тоже хорош. Знает ведь отлично, что я здесь совершенно один. Конечно, он рассчитывает на то, что у меня уже есть помощники. Но не для таких задач, которые он передо мной ставит. Как я могу проверить все склады? Как могу предотвратить отлучки Кунина?

Ну, ничего. Поначалу каждый приказ кажется невыполнимым. А в итоге он все же должен быть выполнен.

— Плохие новости, чекист?

— Нет, Васильевич, будет все в порядке. Я сейчас же дам тебе ответ.

Я зашифровываю: «Предполагаемая роль Кунина под большим сомнением. Нет никаких признаков вредительской деятельности. Приказ будет выполнен. Ш о л ь ц».

Когда закончены служебные дела, вступает в свои права потребность потолковать с моим связным «просто так». Наверно, для нашего брата это тоже один из видов доступной «разрядки». Или, может быть, я ищу в этих беседах какое-то подтверждение правильности моего образа действий? Или пытаюсь через них как-то избавиться от этого мучительного чувства неуверенности, которое то и дело оживает во мне, когда я не владею обстановкой?

— Васильевич,— спрашиваю,— почему ты, собственно, за советскую власть? Откуда ты знаешь, что она тебе, как крестьянину, принесет что-то хорошее?

— Эге, чекист, уж не хочешь ли ты настроить меня против?

— Вот это уж наверняка нет.

— Ну ладно, я тебе скажу. Перво-наперво, я за советскую власть потому, что она против старой власти, которая не принесла нам ничего хорошего. А во-вторых, я за советскую власть потому, что за нее Ленин.

— А ты когда-нибудь видел Ленина? Слышал, как он говорит?

— Что нет, то нет. Но это не важно. Я знаю, как его ненавидят мои враги. Офицеры, благородные господа. И я знаю тоже, что думает о нем народ. Ленин хочет, чтоб в жизни была справедливость, понял? Кто работает, тот будет и с достатком. Хорошим людям будет хорошая жизнь, а плохим — плохая.

— А как ты разделишь людей на хороших и плохих?

— Да это же совсем просто! Если он вор, или спекулянт, или паразит какой, вот, значит, он и плохой, с ним разговор короткий. При несправедливой власти, которая раньше была, — там да, там было трудно разобратся. А при справедливой власти кто у нее на службе? Справедливые люди, разве не так? Ну вот, видишь, а ты спрашиваешь, как разделить людей. Они сами разделятся: кто за и кто против.

Несколько упрощенной выглядит его концепция, но мне не хочется ему возражать. Может быть, он посвоему охватил самое существенное. Что советская власть для хороших людей, с этим я никак не могу спорить.

Мы разговариваем еще о ценах и о видах на будущий урожай, об аэропланах и радио и других чудесах техники, которые при советской власти определенно получают большое развитие, и об интригах англичан с их пресловутым лордом Керзоном. Прежде чем распрощаться, мы выпиваем. Самогон обжигает, как огонь, но все же я тщательно прополаскиваю рот отвратительной жидкостью.

...Надо думать, что от меня достаточно сильно разит самогоном, рассуждаю я, приближаясь поздним вечером к дому. Взираясь в свой вагон, я напеваю про себя веселую песенку и делаю блаженное лицо.

— Ну, у тебя, сразу видно, удача! Можешь не рассказывать, — говорит мой друг Павлов, который уже лежит в постели и при свете подвешенной на стене керосиновой лампы перелистывает старый журнал «Нива».

— Спать, старик, спать, — бормочу я и раздеваюсь несколько несообразными движениями. Может быть, перед Сергеем этот театр был бы и не нужен, но я делаю это по привычке и по инерции. А также для тренировки.

Стоя у окна, я пытаюсь остудить лоб о влажное стекло.

И еще я пытаюсь восстановить в памяти последовательность событий, проследить весь тот путь, который привел к катастрофе. Порой мне на память приходят ничего не значащие подробности, ситуации ничем не примечательные, кроме предчувствия, что что-то должно произойти.

Да, да, напряжение было велико. Было ожидание, была надежда, а иногда и отчаяние, все вперемежку.

Хуже всего было отсутствие какой бы то ни было версии. Первоначальная, с которой я прибыл сюда, очень скоро оказалась непригодной, ее ни к чему нельзя было приложить, она не годилась для практических целей.

Я потерял руководящую нить.

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ХУТОРЕ

Есть у меня такая привычка: ложась в постель, подводить итог прошедшего дня и обдумывать свои шаги на день грядущий. Достигнув необходимой ясности по обоим пунктам, я приказываю себе не думать больше, а только глубоко дышать, и так вгоняю себя в сон.

Но сегодня этот проверенный метод не помогает.

Сообщение комиссара Дратвина слишком сильно взволновало меня. Руководство мной недовольно. Это прямо не сказано, однако читается между строк. Но могу ли я действительно упрекнуть себя в каком-то упущении? Вообще-то да.

Уже несколько недель я сижу здесь и до сих пор не смог составить себе никакой картины, не смог даже получить точных исходных данных. Где мне найти недостающие звенья, которые замкнут разорванный круг? Где искать взаимосвязи?

Надо пройти по всем следам, которые ведут в неизвестность. Но от этого круг только расширится и установить взаимосвязи станет еще труднее. И все же мне не остается ничего другого. Вооружившись этим реше-

нием, я задаю моему соседу по комнате, как только он начинает ворочаться на своем топчане, неожиданный для него вопрос:

— Сергей, ты знаешь врачуху Анну Николаевну из Бережновской волостной больницы?

— С чего это ты вдруг о ней вспомнил, голубчик? Потерял веру в мою чудо-медицину?

— Не треплись, Сережа, здесь дело идет не обо мне.

— А о ком же?

— Просто так. Я подумал, что, может быть, у тебя с ней есть связь, она ведь ближайшее к нам медицинское светило, и, кажется, не такое уж слабое.

— Ты думаешь? Ну, тогда желаю успеха.

— Ты разве что-нибудь имеешь против нее?

— Что ты, что ты, где уж нам, горемышным, что-то иметь против такого светила.

Нет, из Сергея ничего не вытянешь. Почему-то это имя действует на него как красный платок на быка. Ладно, попробуем в таком случае нанести визит прекрасной даме.

...В первой половине дня вдруг начинаются неполадки с новой партией кокса. Прокопыч выходит из себя от ярости — днезная выработка будет намного ниже обычной. Но вскоре найдена удовлетворительная смесь: увеличили добавку антрацита, усилили дутье, и нагрев опять пошел нормально. Однако мне и в послеобеденные часы нельзя отлучиться. Только после конца работы я отправляюсь в путь.

Добраться пешком до волостной деревни засветло теперь уже не удастся. Поэтому я иду на хутор, расположенный неподалеку от русской деревни, чтобы нанять там лошадь. С шундикиевским тестем мне по этому делу связываться не хочется.

Через полчаса ходьбы от моста я вижу за тополиной рощей большую красную черепичную крышу. Тяжелые деревянные ворота в ограде из известкового камня наглухо закрыты, но если встать на цоколь высокой, в человеческий рост, ограды, то можно заглянуть во двор. По одну сторону мощенного камнем двора массивно и внушительно возвышается большой каменный дом с высоким полуподвальным этажом, а по другую находятся помещения для скота и амбары. Перед

раскрытыми воротами одного из коровников стоит человек и топором на деревянном чурбаке рубит стебли подсолнечника и кукурузы, лежащие перед ним двумя большими кучами, бросает порубленные куски в большое корыто.

Картина настолько характерная, что я невольно окликаю работника по-немецки:

— Гей, земляк! Поди-ка сюда. У меня к тебе есть дело.

Человек выпрямляется, легким ударом загоняет топор в чурбак, голый до локтя рукой отстраняет рыжеватый чуб с покрытого потом лба. Он высок ростом и худ, большие голубые глаза глубоко сидят под широкими рыжими бровями. Усталым шагом он подходит ко мне, останавливается перед забором, оперев руки в бедра.

— Очень рад встретить земляка. Здесь поблизости у нас нет немецких соседей. Вы откуда прибыли?

Он говорит на правильном немецком языке, что немало меня удивляет. Вся его повадка характеризует его как человека с образованием. Он еще молод, наверняка лишь немного за двадцать, и не похоже, чтобы он был здесь хозяином. Тем не менее я излагаю ему свою просьбу.

— Да знаете ли,— отвечает он,— лошади есть, две из них стоят в конюшне, но без хозяина я не могу ими распорядиться. А господин Шубарт с другими работниками как раз в поле, они еще убирают подсолнечник. Может быть, вы немного подождете?

— Придется уж. Вы меня впустите во двор?

Молодой человек опускает глаза, его щеки наливаются краской.

— Об этом я должен сначала спросить хозяйку,— отвечает он с замешательством и поворачивается, чтобы идти.

— Ах, так? Тогда лучше не надо. Я вижу, что здесь следят за порядком.

— Да еще как!

— Вы давно здесь?

— С этой весны. Приехал из Либенталя, это большое немецкое село неподалеку от Кременчуга. Мой отец был учителем, это наследственная профессия в

нашей семье. Я тоже должен был стать учителем, окончил в Одессе немецкую гимназию. Но прошлым летом пришли махновцы и всех учителей — их было шестеро в нашем селе — поставили к стенке. Мы оказались без средств к существованию. Мать с младшими детьми осталась в деревне, как-то перебивается случайными заработками, а я вот приехал к нашему дальнему родственнику, он единственный крестьянин в нашей родне.

— Кажется, он не слишком-то много значения придает вашим родственным отношениям, — замечаю я, кивая на его сильно потрепанную одежду.

— О да! Он вообще не хотел признавать нашего родства, когда я ему представился. Но потом как-то заметил к случаю, под хорошее настроение, что у него как будто действительно был кузен четвертого или пятого колена, который носил фамилию Бауман и работал учителем. Однако это так и не побудило его относиться ко мне иначе, чем к другим батракам.

— А сколько их у него?

— Вы же видите, что это за хозяйство. Сто двадцать десятин земли! Его собственные сыновья ушли от него, возможно, они просто не вынесли этой каторги. Один из них потом погиб на войне, но старик на это почти не обратил внимания. Только жена горюет и плачет украдкой. Вот так. А батраков сейчас у него, считая меня, только три. Можете себе представить, сколько работы приходится на каждого.

— Зато вы всегда сыты. — единственное, что я нахожу возразить в утешение загрустившему парню.

— Ну уж, не скажите. Здесь умеют экономить.

— Значит, получаете приличную плату.

— Да где там. Господин Шубарт считает, что я как родственник не должен требовать чего-нибудь такого... За полгода я смог только один раз послать матери и сестрам несколько фунтов сала, которые украдкой дала мне хозяйка.

— Так чего же тогда вы находитесь у этого кровопийцы? Извините за сильное выражение, ведь он как-никак ваш дядя.

Парень представляется мне настолько интеллигентным, что я не сразу решаюсь перейти с ним на «ты».

— Потому, что таково было желание матери. В это

тяжелое время надо держаться за родню, говорила она. Правда, с господином Шубартом она лично не была знакома. Да и вообще — куда бы я пошел?

— Вы по-русски хорошо понимаете?

— Думаю, что достаточно хорошо.

Парень мне нравится. И мускулы у него есть.

— Так поедem к нам в ремонтный поезд.

Он широко раскрыл глаза, смотрит на меня с недоверием.

— Правда, я самым серьезным образом! Пойдешь прямиком в мою бригаду, нам пара сильных рук очень бы пригодилась.

Молодой человек мнетя в нерешительности, потом говорит:

— У нас на хуторе много судачат о ремонтном поезде. Рассказывают, что рабочие там всегда голодны, что их содержат, как скотину, в товарных вагонах и что они все время находятся под охраной, а кто отойдет хоть на несколько шагов от своего рабочего места, по тому стреляют без предупреждения. Я всему этому не очень-то верю, но более достоверных сведений у меня нет.

— Кто же это распространяет у вас такую нелепую ложь?

— Не знаю. Никто. Говорят так. Это неправда?.. Я так и думал.

Моим колебаниям пришел конец.

— Знаешь что, — говорю я, — вот чтобы мне не сойти с этого места, более злостной клеветы я и в жизни не слыхал. Пошли ты к черту своего дерьмового дядьку, и пойдем сразу со мной. С завтрашнего дня ты начнешь новую жизнь, как рабочий, а быть рабочим — это сегодня что-нибудь да значит, понял?

Как объяснить ему в двух словах всю глубину различия между его нынешним положением и положением рабочего в рабоче-крестьянском государстве? Но он и так заражается моим воодушевлением.

— Да, я понимаю! Может быть, это и есть тот случай, которого я давно уже дожидался. Но уйти сразу — нет, этого я не могу сделать. Господин Шубарт как-никак мой родственник. И с матерью я должен посоветоваться.

— Ты что, малое дитя?

— А потом, когда мост будет готов, что тогда?

— Тогда придет очередь какого-то другого моста. У нашего поезда есть колеса.

— И придется уехать далеко отсюда?

— Ты и так уже достаточно далеко оторвался от своего Кременчуга. Может быть, мы даже приблизимся к нему.

За разговором мы не заметили, как по мягкому песку почти бесшумно к нам приблизился воз. Это большая повозка с высокими решетчатыми надставными бортами, на высоких колесах, в которую впряжены две ломовые лошади с бахромистыми ногами, густыми гривами и хвостами. Лишь когда воз остановился перед закрытыми воротами и с него молча, неторопливо слез толстый, коренастый мужчина лет за пятьдесят в широкополой соломенной шляпе, только тогда мы заметили его появление. Я увидел выражение испуга на лице моего собеседника, который словно окаменел на месте.

— Бог на помощь, дядюшка Шубарт,— говорю я.

Мужчина останавливается и недовольно рассматривает меня. На его круглом красном лице написано гневное изумление, белые кустистые брови, похожие на две зубных щетки, ползут вверх.

— Серый волк тебе дядюшка,— отвечает он наконец на немыслимом диалекте.

Батрак-племянник между тем преодолел свое оцепенение и с крайней поспешностью открывает ворота.

— Господин Шубарт,— говорит он, выходя из открытых ворот, чтобы взять под уздцы лошадей,— этот господин из ремонтного поезда.

— Какой тебе поезд? Никакой такой ремонтпоезд я не слышал!

— Из ремонтного поезда, который там на мосту, вы же знаете.

— Так ты, значит, лучше меня знаешь, что я знаю и что не знаю? — набрасывается хозяин на несчастного парня, и тот, оробев, отступает.— А в чем, собственно, состоит дело? — поворачивается он ко мне с явным неудовольствием.

— Мне срочно нужна лошадь, господин Шубарт,

чтобы съездить в Бережное. Не могли бы вы ее мне одолжить? Я заплачу, разумеется.

— Здесь нет никакие лошади. Пауль, ты мог это сам объяснить господину, а не стоять тут и болтать как старая баба.

— Я думал, господин Шубарт, может быть, мы могли бы заодно отвезти на мельницу пару мешков зерна и по пути подвезли бы господина.

— Смотри, какой мыслитель! Он думал себе о всевозможных вещах, а работа стояль! С каких это пор здесь занимаются больтовней, а не делом? Никакой у вас нет здравый смысл, вам бы только болтаться и ни за что жрать хлеб вашего хозяина.

Ну уж, это слишком!

— Знаете что, гражданин Шубарт,— говорю я, доставая свои карманные часы.— рабочее время уже кончилось. По закону советской власти давно пора отдыхать.

— Че-го? Ты явился неизвестно откуда и хочешь моим рабочим голову морочить? Вот ты какой, с моста! Ну-ка ты, сукин сын, убирался отсюда поживей! Или, может быть, я спущу на тебя моих собак?

— А ну-ка, попробуй, буржуй толстопузый, только попробуй, и тогда посмотрим, что останется от тебя и твоих собак!

Наверное, в моем голосе слишком много угрозы, потому что Шубарт вдруг начинает смотреть на меня так, словно бы он меня до сих пор вовсе не видел, и не произносит больше ни звука.

— В общем решайся, Пауль! — кричу я нарочито громко батраку, который между тем уже ушел в глубину двора, чтобы не присутствовать при нашей перебранке.— Приходи к нам, и у тебя начнется новая жизнь! И не затягивай дело, а то нас здесь уже не будет. До скорого свидания!

Я возвращаюсь к поезду не солоно хлебавши, но тем не менее с сознанием, что чему-то научился и что-то осуществил. А к врачу пойдю завтра. Схожу к профессору и попрошу его дать мне один день отгула.

Уже подходя к нашей теплушке, я замечаю вдруг в полутьме какую-то фигуру, которая осторожно сходит по лесенке, воровато оглядывается и затем быстро идет прочь вдоль поезда, держась поближе к вагонам.

Знакомая фигура: узкие плечи, широкие бедра, все туловище несколько наклонено вперед — так ведь это же Гуцин! Странно. В моем присутствии он никогда не появлялся у нас в теплушке.

Я влезаю в вагон. У фельдшера Павлова есть еще какие-то дела в амбулатории. Когда он выходит оттуда и видит меня, у него немного растерянный вид.

— Добрый вечер, Сережа. Кто это от тебя только что вышел? Не Гуцин ли?

— Гуцин?.. Ах, да, Гуцин... Заскочил тут на минутку...

— Не знал, что ты водишь с ним близкое знакомство. Или он посещает тебя по особым причинам?

— Он?.. Ну да... По части гитары.

— Хочет купить у тебя твою гитару?

— Да нет, где там. Это для него не инструмент. Просто так... показывает мне, как сыграть то и другое.

После этого люди не пробираются, словно тени, вдоль стен, думаю я. Ну, да ладно, Сергей. Раз ты не хочешь говорить... Я не имею права тебя за это упрекать. Храни свою медицинскую тайну. Если мне не удалось расположить тебя к откровенности, то в этом я виноват сам. И не за что тебя упрекать.

Гуцин, Гуцин... Вот от вас-то я мог бы всего ожидать. Но доказать ничего не могу. Даже для подозрения нет достаточных оснований.

XV

Моя интуиция подводила меня. У меня все время было такое чувство, как будто вот-вот что-то должно произойти, но не происходило ничего, кроме повседневных мелочей.

Так вот и ждать дальше? Это тоже больше не годилось. Руководство было мной недоволено. Может быть, оно было право, может быть, я не сумел распознать грозящую опасность, потому что был слишком поглощен другими заботами, своей побочной задачей.

Я должен был ускорить развитие, что-то надо было предпринять для этого.

Но что?

Меня начинала мучить моя беспомощность.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Утром, решив срочные вопросы на своем участке, я предстаю перед профессором. Я прошу его в связи с важными личными делами отпустить меня с работы на один день. Я рассчитываю на то, что если скажу «личные дела», никаких расспросов не последует.

— Я не спрашиваю о том, какие именно у вас дела, но полагаю, что они действительно достаточно важны для того, чтобы ради них пожертвовать днем работы, — говорит старый дипломат.

— Совершенно верно.

— Тогда желаю успеха. Отметьтесь у табельщицы, чтобы не возникало никаких ненужных разговоров.

Это я исполню с великим удовольствием, хотя каждая встреча с нашей табельщицей имеет для меня также и горький привкус.

Мне бы следовало, и я был бы готов на это, с железной последовательностью избегать места, где эта тихая черноглазая девушка день-деньской сидит над своим ундервудом и каждым своим словом, каждой улыбкой, каждым жестом, одним своим присутствием распространяет вокруг себя удивительную атмосферу покоя, человеческого достоинства, доброты, веры в честные намерения всех людей, которые ее окружают. Теперь, когда я все о ней знаю, я думаю с изумлением, насколько же глубоко должна корениться в этом создании вера в благородную природу человека, если она не пошатнулась после стольких разочарований и горького опыта.

Да, мне следовало бы избегать этого места, потому что меня слишком сильно влечет к этой девушке, а я ведь теперь точно знаю, что она выбрала другого. Опасность поддаться ее очарованию намного сильнее, чем мне хотелось бы, чем я мог бы допустить. Эта опасность с самого начала была достаточно велика, слишком велика сама по себе, теперь же она усугубляется тем, что любая попытка пойти ей навстречу была бы похожа на предательство по отношению к другу.

Итак, мне следовало бы избегать служебного вагона. Но там узнаются новости, всегда целая куча ма-

леньких новостей,— а вдруг когда-нибудь я услышу что-нибудь важное? Я должен знать все, поэтому и прихожу сюда.

Обычно когда я прихожу, то придаю себе вид веселого малого, любителя пошутить и побалагурить, который проявляет поверхностный интерес к тому и к сему. Как правило, я сажусь на шаткий стул у маленького стола, на котором висится старая пишущая машинка ундервуд, и разыгрываю перед девушкой «театр», а между тем мне так хотелось бы открыть перед ней свое настоящее «я», раскрыться настежь до последнего закоулка души.

Но вместо этого я на глазах у всех предпринимаю попытки ухаживания, не грубые, но достаточно банальные, нужные лишь затем, чтобы оправдать мое присутствие здесь. К сожалению, при этом лишь расширяется пропасть, которая нас разделяет.

Иногда мной завладевает опасное чувство — жальность к самому себе.

У меня бывали уже встречи с девушками, о которых я вспоминал с грустью и сожалением. Вдруг что-то восстанет из глубины памяти; лицо, имя... Почему тогда ты прошел мимо этого лица, мимо этого имени? Откуда знать, может быть, это и была та единственная, которая могла бы перевернуть твою жизнь до самого дна, окрасить ее в новые прекрасные цвета, дать твоей жизни не новое содержание, нет, выбор давно уже сделан, но окраску, она ведь может быть светлой и радостной, а может быть, темной и грустной.

Так почему же? На это были свои причины. Колебания. Неуверенность. А прежде всего долг службы. Но на удалении времени эти причины видятся все менее значительными, а потеря все более крупной и невосполнимой.

Такое воспоминание может стоить бессонных ночей, оно может надолго лишить покоя, нарушить самообладание, испортить настроение. Но потом оно снова уходит, и ты снова становишься самим собой, ты снова полон уверенности и ожиданий.

Вот и теперь мне придется пройти и мимо этого лица, которое стало для меня таким дорогим. Пройти... А позже горько сожалеть об упущенной возможности.

Со всем этим я давно уже смирился. Что поделаешь, я солдат. И останусь им до тех пор, пока революции нужны солдаты...

Итак, я захожу к табельщице Лиле Ковровской, одновременно исполняющей обязанности и секретаря, которая одна во всем поезде умеет печатать на машинке и которая сидит в большой служебной комнате, где кроме нее помещаются также бухгалтерия, чертежники и агент по снабжению. Все они тем больше рады посетителям, чем больше развлечения обещает им тот или иной из них. Меня, как правило, всегда восторженно приветствуют изо всех углов.

Однако Лиля сегодня не расположена к шуткам. Она натянуто улыбается моим остротам и не развивает темы шутливого разговора, которыми я щедро разбрасываюсь. Безучастным кивком принимает она к сведению мое сообщение о том, что я получил освобождение на один день ввиду личных дел. Мои личные дела ее не интересуют. Раньше она была не прочь участвовать в подобных словесных играх. Ну что ж, примем это как должное, на нет и суда нет.

...Шагая вдоль мягкой, песчаной проселочной дороги на Бережное, я все время думаю о Лиле. В моих раздумьях так много соблазна. Ах, эта сладость запретного плода! Представилась редкая возможность, когда я могу позволить себе такую роскошь: есть время, и я один посреди молчаливых полей и лугов, которым осеннее мягкое солнце придает оттенок усталости и покоя.

Я иду коротким путем. Тропинка, оторвавшись от берега реки, пересекает убранные поля и вскоре за русской деревней выводит меня на проезжую дорогу. Пока тропинка держалась близко к берегу, мне приходилось время от времени преодолевать маленькие болотистые низинки, где почва мягкая и пружинистая, как натянутый брезент. Потом тропа, все больше отдаляясь от реки, потянулась через черную, покрытую стерней землю, через маленькие сухие впадинки с песчаным дном и округлыми, поросшими редкой травой склонами — такие остатки высохших ручьев здесь называют балками. Небольшие рощицы на высотках. Проезжую дорогу то с одной, то с другой стороны окаймляют выгоревшие, бурые пучки полыни, редкий

невозвратный кустарник с увядшими, частично уже облетевшими листьями, с длинными колючками на ветвях. Перелетные птицы уже улетели, только вороны и галки еще находят себе дела на сжатой стерне, ищут потерянные зерна, перелетают стаями с одного поля на другое, и их громкий галдеж то и дело нарушает тишину. Но ласковое солнце придает даже этой безотрадной картине красочность и веселье, оно посылает свой прощальный привет земле, готовящейся к зимней спячке, и обещает скоро разбудить ее снова.

Я шагаю не спеша по песчаной дороге и предаюсь размышлениям. Мне хочется быть строгим, совершенно объективным и трезвым по отношению к самому себе, хочется оценить свои действия, свое поведение, но — виновато ли в этом осеннее солнце или что-то другое — мне не удастся привести в порядок свои мысли, они разбегаются в разные стороны, а назад возвращаются в форме сладких мечтаний.

«Что было бы, если бы...» — таков лейтмотив моих размышлений, навязчивых и бесплодных.

Тогда, в первый день своего пребывания здесь, когда я был приглашен к профессору на чай... Я ведь сразу разгадал в ней незаурядную личность. Все в ней подлинно, нет ни следа притворства, стремления выгладеть чем-то иным, чем она есть в действительности. Да, надо было сразу по-настоящему оценить эту встречу, а не размениваться на банальности.

Вот, например, тот день, когда я подарил ей лилии... Вместо того чтобы переливать из пустого в порожнее, разве не лучше было бы сказать ей: послушайте, пусть мы едва знакомы, но ведь бывает, что судьба сводит людей, которые самой природой предназначены друг для друга. Я не стану утверждать, что в нашем случае это именно так и есть, но вдруг?

Конечно, не с каждой можно так говорить. Благовоспитанные барышни от таких речей в испуге побежали бы, пожалуй, прочь, а то и посмеялись бы над простаком. Но она... Она поняла бы меня.

Да, надо было!.. Ведь тогда, быть может, между нею и Куниным еще ничего не было такого...

Вечерами мы бы вместе ходили гулять по берегу реки. Странно, почему она никогда не выходит гулять с Куниным? Быть может, те узы, которые их связывают,

для нее недостаточно надежны, недостаточно прочны, чтобы противостоять без ущерба обывательским разговорам?

У нас все было бы иначе, потому что, мне кажется, мы оба с ней свободны от предрассудков мещанства. Я рассказал бы ей все, решительно все о своей жизни. Про то, как я, сын рабочего и служанки, добившись места в реальном училище, должен был сносить там придирки и унижения. Как я напряжением всех своих сил и всей воли достиг-таки своей цели, стал студентом-технологом. Как я встретился с самыми честными и самыми стойкими людьми, называющими себя большевиками, и как потом дело их партии, моей партии, стало самым важным делом моей жизни. Как я по призыву партии добровольцем ушел на фронт, чтобы там способствовать превращению стихийного недовольства солдат в революционный порыв. Как мне, офицеру и георгиевскому кавалеру, уже после революции пришлось замешаться в среду преданных царизму офицеров, чтобы выведывать военные тайны белых в интересах Красной Армии. И как потом я пришел к решению поставить себя на службу революции на одном из самых сложных и опасных участков борьбы.

Как неизмеримо дорого иметь рядом с собой человека, перед которым ты можешь раскрыться до конца! Я рассказал бы ей даже о женщинах, с которыми встречался. Пусть она знала бы обо мне все, а не только хорошее. Ведь всякое умолчание равносильно обману. А друзей не обманывают.

Может быть, тогда еще не было поздно...

А может быть, и сейчас еще не слишком поздно?

Нет, теперь уже все. Объявлено о помолвке.

Подходят ли они друг другу? Вообще-то да. Но еще лучше подходили бы друг другу мы. Однако счастье не спрашивает о правах.

Если бы я тогда повел себя иначе... Сразу после того, как протянул ей лилии. «Вот. Для вас. Лилии...» Теперь бы мы были уже женихом и невестой.

О глупые грезы! Как может распускать себя до таких пределов человек, для которого реалистическое мышление составляет неотъемлемую часть профессии? Наверно, все же у каждого немца сидит в крови что-то от юного Вертера!

Может быть, мне тоже следовало бы писать письма по его примеру? Но кому? Комиссару Дратвину? И к тому же печатными буквами.

Внезапный поворот мысли вырывает меня из омута моих терзаний. Да и пора бы, потому что уже показалась впереди высокая белая колокольня волостной деревни. Значит, надо сосредоточиться на том, что мне предстоит.

Но теперь другая мысль преследует меня. Буквопечатник называет Кунина руководителем белогвардейского заговора. Я же сразу отверг это сообщение как невероятное. А почему? Разве я не обязан прежде всего всесторонне проверить его?

XVI

Я стою у окна. Как долго? Час? Два? Несколько минут?

Что-то движется за этим влажным, запотевшим оконным стеклом, которое остужает мой лоб. Какие-то серые тени проскальзывают под окном. До меня доносятся приглушенные голоса. Их приглушает туман.

Тени движутся тесно, сплоченной группой.

Шаги глухо стучат по земле, глухо и тяжело. Тени движутся совсем медленно и как-то неуклюже вдоль вагона.

Кажется, они что-то несут!

Да, они несут. Они несут!..

«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ СВОЙ ХЛЕБ»

Железная ограда со столбами затейливой формы и цоколем из добротного красного кирпича окружает обширную усадьбу на краю села. Еще издалека видны массивные одноэтажные здания с высокими окнами, позади них хозяйственные постройки, а в самом дальнем углу приземистый мрачный домик с маленькими окнами под самой крышей,— несомненно, морг. Нет необходимости спрашивать, где находится больница.

Два длинных, изображающих букву «Г» здания

ограничивают просторный двор, который с геометрической аккуратностью засажен кустами акации. В переднем углу огражденного пространства, ближе всего к деревне, стоит изящный жилой дом с мансардой, широким каменным крыльцом и большой верандой.

От флюгера на черепичной крыше жилого дома до мудреных завитков зеленой ограды — все здесь говорит о высокой дееспособности бывшего земства. Однако краска на ограде потускнела и местами облупилась, предательские пятна ржавчины обезображивают прихотливую решетку. Дождевые трубы по углам зданий потеряли свои нижние колена. Лебеда, лопух и крапива заполонили тенистые углы.

Дверь сторожки возле железных ворот приоткрыта. Я вхожу в узкий проход и заглядываю в окошко дежурного. В маленьком помещении никого не видно. Под окошком стоит стол, перед ним стул. В углу высится круглая, облицованная жестью печь. Комнатушка кажется пустой, однако, входя, я совершенно явственно слышал шум отодвигаемого стула.

Я осторожно приоткрываю узкую дверь, которая ведет в каморку, и вижу под столом скорченную, дрожащую фигурку мальчонки лет пяти. Голубые глазенки на худеньком, обильно покрытом веснушками личике смотрят испуганно и в то же время с любопытством. Темные, коротко остриженные волосы торчатся густой щеткой над высоким и широким лбом, который придает лицу серьезное, почти взрослое выражение.

— Ты что здесь делаешь?

— Я зарабатываю свой хлеб,— отвечает малыш после некоторого колебания.

— Ах, так? Это похвально. А курить ты тоже успел научиться?

Я указываю на окурки самокруток из газетной бумаги, которые валяются на жестяной обивке пола возле печи.

— Это не я, это дяди Гришины окурки.

— А он скоро придет?

— Скоро. Он сказал, что пойдет подстрелить махорки у больных, а я должен пока его замещать, потому что каждый должен зарабатывать свой хлеб.

— Ну, тогда вылезай. Что ты потерял там, под столом? Или ты меня испугался?

— Н-нет...

— Зачем же ты тогда залез под стол?

— Потому что вы чужой.

— Ну, теперь уж я, наверно, не совсем чужой, так ведь? Мы знакомы с тобой уже целую минуту, правда? Как тебя зовут?

— Костя.

— Ну вот. Очень красивое имя. А меня — Андрей.

— Угу.

— А дядя Гриша твой настоящий дядя?

— Нет, он инвалид. У него только одна нога.

Мальчонка вылез из-под стола и теперь стоит передо мной, а я сижу на стуле и держу его теплые шершавые ладошки, которые легонько вздрагивают. По его одежде и по выговору заметно, что он не из деревенских ребят: ладно скроенная рубашка из голубого ситца в белую полоску, короткие штанишки, длинные коричневые чулки, хотя и с заштопанными коленками, сандалии на ногах.

— А у твоего дяди обе ноги целы?

— Нет у меня никакого дяди!

— А отец у тебя есть?

— Мой папа погиб на войне.

— А мама?

— Моя мама в городе. Я тут живу у тети Ани.

— А тетя Аня твоя настоящая тетя?

— Я не знаю.

— Ну ладно, не в этом дело. Главное, чтобы ты был сыт, правда? Ты ведь сыт здесь?

— Да.

— А у тебя есть товарищи, с кем ты играешь?

— Почти нет. Мне не разрешают ходить в деревню.

— Ну, а деревенские мальчишки разве не приходят сюда?

— Мне не разрешают играть с деревенскими мальчишками.

— Плохо дело.

— Да, совсем плохо! А если я убегу, то меня накажут.

— Неужели отдерут?

— Нет, я должен стоять в углу целый час, а потом

мне не дают американского молока из банки целую неделю.

— Ты любишь американское молоко?

— Да, оно вкусное. Разве нет?

— Это ты прав. Оно очень вкусное.

— Вы к нам пришли? К тете Ане?

— Да.

— Вы у нас долго пробудете?

— А ты бы хотел, чтобы я был подольше?

— Да-а! У нас так скучно.

— Разве к вам никто не приходит?

— Приходит кто-то к тете Ане, но они только разговаривают между собой, а со мной никто не играет.

— Жаль. Но я ведь тоже пришел только поговорить с тетей Аней.

— Я так и думал.

Сил нет видеть это разочарованное личико, я отворачиваюсь к окну и смотрю во двор. Шольц, говорю я себе, вы становитесь слишком чувствительным, каждый несчастный ребенок заставляет сжиматься ваше сердце. Уж не оттого ли, что у вас собственного нет?

Но вот и дядя Гриша возвращается на свой сторожевой пост. Я вижу, как он поспешно и обеспокоенно ковыляет через двор на неуклюжей деревянной ноге. Ходуля глубоко проваливается в гравий, и при этом громоздкое туловище дяди Гриши резко переваливается на бок. Он с жадностью тянет огромную самокрутку «козья ножка» и пыхтит, как паровоз, клубами махорочного дыма.

— Тебе чего здесь надоть? — с ходу набрасывается он на меня. — А ну, давай чеши отсюда.

Костя виновато жметесь к печке, он понял, наверно, что недостаточно старался, зарабатывая свой хлеб.

— Вот так приветствие, товарищ, — отвечаю я. — Если ты всех будешь так встречать, то больные с испуга повыздоравливают и врачи останутся без работы.

— Больные здесь не ходят. Если ты больной, вон иди, за углом, там вход в амбулаторию.

— Я, слава богу, здоров и пришел к Анне Николаевне с поручением.

— А-а, вот так бы сразу и говорил, парень. Табак у тебя есть?

— Немного есть.

Я достаю кисет и отсыпаю ему порцию в сложенные лодочкой ладони, а лодочка эта величиной с миску.

— А что, у вас тут табака нет?

— На базаре его хватает, у каждого крестьянина растет во дворе, да только на него деньги надо.

— Вот-вот, с деньгами где хочешь не пропадешь! А вообще-то какие тут деньги в ходу?

Дядя Гриша склоняет голову набок, прищуривает один глаз и рассматривает меня некоторое время с хитрым выражением лица. Он явно решил, что видит меня насквозь.

— Насчет мены хлопочешь? Тут много таких приезжают из города в базарный день, которые менять желают. Но теперь с этим делом уже к концу идет. Царские деньги никто не берет, а керенки давно употребили на подтирку. Берут только новые советские гроши.

— А червонцы? Какое к ним отношение?

Дядя Гриша дергает себя за кончики дожелта прокуренных усов, морщит низкий лоб.

— Костя,— говорит он,— тебя тетя Аня искала, ступай-ка домой.

После ухода мальчонки дядя Гриша усаживается на стул, вытягивает деревянную ногу и свертывает новую самокрутку.

— Можно б тебе поспособствовать,— говорит он наконец.— Беда только в том, что у меня враз денег с собой нету.

— Да-а, это большая помеха.

— А сколько у тебя вообще-то червонцев?

— С меня хватит.

— Чего заливаешь, нигде не горит. Покажь хотя бы один.

— Пожалуйста.

— Ого! А как ты докажешь, что он не поддельный?

— Пожалуйста, погляди на свет. Видишь водяные знаки?

Мой авторитет в глазах дяди Гриши поднялся на неизмеримую высоту. Он выпрямляется на стуле, хочет даже встать, но ограничивается тем, что лишь расправляет старую, застиранную военную гимнастерку под широким солдатским ремнем. Я сажусь напротив него на край стола.

— А что, Анна Николаевна, она тоже насчет меня не прочь?

— Ты что? Такая антиллигентная дама!

— Оно-то так, но ведь и к ней немало народу приезжает из города.

— Хе, о чем ты говоришь! Да ведь кто к ней приезжает? Это же сплошь благороднейшие господа. Бывшие, конечно.

— А как ты их определяешь?

— Э, брат, сову видать по полету. Мне с господами офицерами довольно пришлось дела иметь.

— Думаешь, что они такими делами не интересуются?

— На базаре ни одного из них не видал.

— Гм, да ты мужик смысленный. Знаешь что, я дам тебе для пробы один червонец. Поменяешь его на сотню рублей, десятка останется тебе, а остальные мне отдашь, когда я снова приду.

— А если столько никто не даст?

— Старайся выторговать что ни на есть больше. Десятка все равно твоя. Согласен?

— Отчего же нет.

— Ну вот и договорились. На, держи червонец. Но только то, что благородные господа не занимаются тут никакими делишками, это я все же тебе не верю. Подумай сам, теперь, когда у них и доходов-то никаких нет от поместий или, скажем, заводов, надо же им чем-то кормиться?

— Это ты, конечно, прав. Но делишки здесь не делаются. Разве что вот... Да нет, какие это дела для высоких господ. Я в смысле американского молока. На вкус оно приятное, но стоит теперь на рынке разве что вдвое от обыкновенного молока. Вот прошлый год, когда голод был, тогда б да.

— Так они что, за американским молоком, что ли, сюда приходят?

— Ну, как сказать, так, вроде бы на память, каждый принимает баночку-другую, как бы на прощанье в подарок.

— Неужели у нее такой большой запас этих банок, у Анны Николаевны?

— Вона в морге их видимо-невидимо.

— Как это в морге? А покойников там разве нету?

— Да теперь мало кто помирает. А ежели какой по-мрет, его сразу родня забирает. Вот в голодный год, это верно, тогда много было. А теперь нет. Теперь там вроде как бы склад.

— Наверное, там кроме банок с молоком и еще что-нибудь хранят?

— Это я не знаю. Вообще-то едва ли, потому что у завхоза и ключа-то от морга нет, он есть только у Анны Николаевны.

— А как вообще к ней сюда попало это молоко?

— Ну как же, она же была как бы представительница американской помощи голодающим, это значит, когда голод был. Тогда ей и привезли этого молока целую пропасть. Ну, а в нашей местности голод был не такой уж чтобы сильный, а потом пошло дело на улучшение, и молока того осталось уйма сколько. Вот она и дарит по баночке тому-другому. Даже мне пару раз досталось.

— Гляди-ка! А оно не портится, что ли, это молоко, если она держит запас не в погребе, а в домике?

— Да ну, ты скажешь, портится! Оно же все в железных банках, запаяно накрепко.

— А ключ только у нее?

— Ну а как же, ведь это молоко исключительно под ее ответственностью.

— И то верно.

— Порядок есть порядок.

— Да, порядок правит миром.

— Вот то-то и есть.

— И все же мне не верится, что тут никакие делишки не обделываются. Ты мог бы мне описать людей, которые приходят к Анне Николаевне и уносят молоко? Я, между прочим, из деляг много кого знаю. Может быть, они продают эти банки в другом месте, где за них десятичную цену взять можно?

— Ну, ты, видать, собаку съел по торговой части. Тебе палец в рот не клади.

— Торговля есть торговля. Вот такой маленький, толстый, в шляпе котелком сюда не приходит?

— Нет, такого ни разу не видел. Пару раз был один такой высокий, худощавый, с курчавыми волосами, выправку имеет, как у военного.

— А лет сколько с виду?

— Лет сорок, пожалуй.
— А не моложе?
— Едва ли.
— С усами?
— Нет, бритый.
— Точно не моложе сорока?
— Ну чего ты пристал? Я у него на крестинах не был. Глядит так на сорок, ну, может быть, на тридцать пять.

— Блондин?
— Нет, черноволосый.
— А мне ты сколько лет дал бы?
— Тебе? Ну, пожалуй, тридцать. Или даже поменьше.
— А тот был старше?
— Намного старше.
— Ну, черт с ним, не знаю. А еще ты кого видел?
— А еще был такой маленький, шустрый, с лысиной. Знаешь такого?..

После четверых подробно описанных «благородных господ» дядя Гриша начинает путаться. Да, впрочем, и время кончать беседу с ним, там, в доме врача, наверняка уже знают о моем появлении. В заключение я говорю:

— Знаешь, в нашем деле всегда надо держать ухо востро, а иначе пропадешь от конкуренции. Вот я и интересуюсь всякими людьми. А с тобой, я вижу, у нас дело пошло бы. Будешь за меня держаться, неплохо заработаем. Следующий раз принесу еще червонцев. Только ты ни с кем на этот счет не распространяйся и о нашем разговоре никому ни слова, понял? Это я так, между прочим, этим занимаюсь, а вообще-то я на мосту работаю. Если тебя спросят, о чем мы разговаривали, говори — о войне вспоминали, кто где в боях был и нет ли у нас общих знакомых.

— Учи попа грамоте! — отвечает дядя Гриша, доверительно подмигивая.

XVII

Куда они его несут?

В самом деле, куда?

Хоть бы уж не в клубный вагон. Этого нельзя де-

лать. Там все было приготовлено для совсем другого обряда.

*Лихо вспрыгнул граф влюбленный
На коня, тряхнул головой
И помчался к нареченной,
Прямо в замок родовой.*

*Опять этот стих! Никак не могу от него избавиться.
Надо уходить отсюда.*

*Надо их догнать и сказать, чтобы они не несли его
туда.*

Туда нельзя!

*Я должен обязательно преодолеть силу притяжения
этого оконного стекла.*

ПРИНЦЫ И СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

— Весьма приятно, — отвечает она после некоторого колебания. Действительно ли ей приятно, остается под вопросом. — Садитесь, пожалуйста.

Однако сама она не садится, чем дает понять, что не рассчитывает на длительную беседу. Поэтому я тоже не сажусь и пытаюсь не выдать интереса, который вызвала у меня внешность бережновской врачихи. Интерес этот скрыть нелегко, потому что внешность действительно незаурядна.

На Анне Николаевне черное шелковое платье, простое, даже строгое, без всяких вырезов, которое, однако, плотно облегает фигуру, делая ее обозримой во всех подробностях. У нее скорее узкие бедра и относительно широкие плечи, тонкая талия и хорошо развитая, может быть чуть излишне крупная грудь. Фигура ее выражает силу и гибкость. Большие карие глаза, окаймленные длинными ресницами, горят несколько лихорадочным блеском, но вместе с тем они выражают твердость и силу воли, смотрят смело и с вызовом. Пожалуй, эти глаза — единственное, что можно назвать красивым на ее лице. Лоб невысок и пронизан продольными морщинами, рот широкий и подвижной, губы поминутно меняют свое выражение, выдавая малейшую перемену в ее настроении, нос тупой и короткий, с низкой переносицей и широкими ноздрями, такими же нервными и подвижными, как губы. Темные волосы, не

избалованные уходом, небрежно зачесаны назад и скреплены на затылке полукруглым гребнем. Все лицо в целом, широкое и плоское, несет в себе что-то дегенеративное, оно напоминает широко известную из учебников истории физиономию российского императора Павла I, признанную типичной для вырождающейся аристократии.

— Меня заставляет обратиться к вам болезнь моего товарища, фельдшера Павлова. Он единственный медицинский работник поезда, и он делает все, что может, помогая другим. Но и ему самому нужна помощь. У него, видите ли...

— У него туберкулез легких, и он сам хорошо знает, каким образом и в какой мере ему можно помочь. Свежего воздуха у него достаточно, о питании он сам может позаботиться. В горный же санаторий послать его я не могу.

Ее глубокий, грудной голос звучит несколько сипловато, и в то же время в нем чувствуются металлические нотки.

— Я думал, может быть, вам стали известны какие-нибудь новые лекарства, и вы могли бы их нам хотя бы порекомендовать, если не дать. Наука постоянно прилагает усилия...

— От науки до села Бережное расстояние слишком велико. Мне ничего нового не известно.

Тон этой фразы целиком соответствует ее содержанию, беседу можно было бы считать оконченной. Однако я предпринимаю еще одну попытку.

— Можно подумать, что в вашем лице имеешь дело скорее с прокурором, нежели с врачом. Неужели вас совершенно не трогает судьба больного человека?

Женщина смотрит на меня озадаченно и с любопытством.

— Судьба человека меня, конечно, волнует, как и судьбы людей вообще. И не только больных. Но у меня есть свои принципы. Истина превыше всего. Люди достаточно долго предавались химерам.

— Истина может повредить больше, чем последующее разочарование.

— Вы полагаете? В отдельных случаях это, может быть, и справедливо. Но жизнь никогда не наладится,

если люди будут руководствоваться выгодами момента, а не принципами. действительными всегда.

— Но ведь жизнь и состоит из отдельных случаев.— возражаю я, но тут наш спор непредвиденным образом прерывается.

За одной из боковых дверей слышится осторожный топот детских ног, сопровождаемый посапыванием. Затем дверь с нерешительным скрипом отворяется, и появляется Костя с белым листом бумаги в руке.

— Тетя Аня, посмотрите, пожалуйста, что я нарисовал,— говорит мальчик и идет к Анне Николаевне, а сам косит глазенками на меня.

— Костя, ты же видишь, что я занята.

— Ради бога, у меня есть время, доставьте ребенку удовольствие,— вмещиваюсь я.

Слегка пожав плечами, Анна Николаевна берет у мальчика листок и усаживается в кресло.

— Так вы, пожалуйста, садитесь, товарищ... Простите, я уже забыла... Ах, да, Андрей Карлович.

Я сажусь на кожаный диван и использую удобный момент, чтобы подробно осмотреться.

Комната большая, продолговатая, с тремя окнами на одной стороне. Спереди, возле входной двери, стоит большой письменный стол, а в глубине громоздкий черный буфет, посредине же длинный обеденный стол. На окнах нет ни гардин, ни даже простых занавесок, только тростниковые подъемные шторы со шнурами, заматанными за крючки, которые, может быть, и неплохо выполняют свое назначение, но никак не украшают это спартанского вида помещение. И вообще здесь, по-видимому, не придают большого значения уюту.

— Очень мило,— говорит Анна Николаевна безучастно.— Теперь иди играй.

Мальчик поворачивается и уходит, продолжая на ходу коситься в мою сторону.

— Можно и мне посмотреть, что ты нарисовал? — угадываю я желание мальчика.— Тетя Аня, наверное, разрешит нам...

На листе картона цветными карандашами, красным и синим, изображен человек в прямоугольном туловищем и полукруглой головой, растущей непосредственно из туловища и отделенной от него чертой. Руки, похожие на две толстых колбасы разной длины, приросли

к туловищу. Разную длину имеют также и ноги, но на них с особым старанием нарисованы красные сапоги с непомерно высокими каблуками. На лице человечка длинной красной горизонтальной чертой обозначен рот, а синей вертикальной чертой — нос. Глаза изображены синим карандашом как два густо закрашенных пятна.

— Очень хорошо,—говорю я.— Особенно сапоги.

— А на кого он похож? — спрашивает мальчуган тихо и несколько смущенно.

— Мне кажется, что он со мной имеет некоторое сходство, верно я угадал?

Мальчик сияет:

— Да, это вы!

— И правда! Слушай, если тебе не жалко, может быть, ты подаришь мне на память эту картинку?

— Правда? — радуется малыш.— Тогда нате.

Он на одной ножке скачет прочь, останавливается вдруг перед отрывным календарем, висящим на стене, и вслух читает:

— «Ок-тябрь»... Тетя Аня, я прочел, я прочел!

— Вот видишь, как много событий за один день. Твое первое прочитанное слово...

— Мое первое слово, мое первое слово! — радуется мальчик и вприпрыжку выбегает из комнаты.

Возникает маленькая пауза.

— Наверное, вы очень хороший человек.— произносит вдруг Анна Николаевна.— Говорят, что дети обладают способностью узнавать хороших людей.

— Да ведь все или почти все люди хорошие, каждый в своем роде. Во всяком случае, я еще не встречал людей, которые бы сами признавали себя плохими.

— Да, да, это за нас делают другие. Вот вы, например, определенно относите меня к плохим.

— Что вы, как я могу! Даже когда человек не все одобряет или понимает в убеждениях и действиях другого человека, это еще не причина, чтобы его осудить. А между прочим малыш к вам привязан, несмотря на вашу строгость. Уже одно то, что вы воспитываете его в своем доме...

— Этим я исполняю свой моральный долг.

— Я не совсем понимаю... в каком смысле?

— Он вовсе мне не родня. Его мать была моей ближайшей подругой в гимназии. Ее муж ушел добровольцем на фронт, что было для него единственной возможностью восстановить разрушенное им моральное равновесие в семье.

Анна Николаевна сидит в кресле прямая, как свеча, и совсем не смотрит на собеседника, глядит прямо перед собой и бросает слова, как мячи, и как будто не испытывает ни малейшего интереса к тому, попадают они в цель или нет. Похоже, что ей стоит определенной внутренней борьбы взять и рассказать совершенно чужому человеку эту историю, которая, кажется, живя где-то в самой глубине ее души, постоянно просится наружу. Наверное, она очень одинока, думается мне, несмотря на частых гостей.

— Моя подруга осталась с двумя малыми детьми, второй родился, когда муж уже ушел на фронт, и ей пришлось преодолеть жесточайшую нужду. Однажды она получила от него неожиданно крупный денежный перевод. Но она решила не трогать ни одной копейки из этих денег, пока не узнает их происхождения. На ее запрос муж ответил, что деньги эти он выиграл в карты. В своем письме он заверял, что выигрыш был совершенно случайным, что все его партнеры принадлежали к зажиточным семьям и что их проигрыш ничего для них не значит. Моя подруга не знала, как ей быть, и спросила у меня совета. Она получила его и отослала деньги обратно.

Я внимательно слушаю эту историю и замечаю, что глаза Анны Николаевны стали блестеть еще лихорадочнее.

— А что бы вы посоветовали в этой ситуации? В этом отдельном случае? — спрашивает она с вызовом.

— Я нахожу, что решение вашей подруги было высшим проявлением верности принципам.

— Совершенно верно, так это и было. Но ее муж увидел тут еще одно доказательство своей моральной неполноценности. Он счел себя обязанным искупить свою вину. Вскоре он должен был провести со своим взводом разведку боем. И сам пошел впереди своих солдат...

Ее голос становится теперь совсем глубоким и тихим, в нем появляется надорванная драматическая нота. Но

невозможно понять, что ее печалит и что приводит в восторг, кем она восхищается и кого осуждает.

— Пуля попала ему в голову. Солдаты, любившие его, как родного брата, взяли тело на руки и во весь рост, не пригибаясь, пошли с поля боя. И австрийцы — это было на карпатском фронте — прекратили огонь.

Она выдерживает паузу, словно хочет дать мне время, чтобы я представил себе эту картину во всем ее моральном величии, и потом заключает:

— Она получила его останки в оцинкованном гробу. На следующий год старший сын умер от скарлатины в нетопленной больнице. Оставшегося же в живых она по моему требованию отправила ко мне, потому что сама была уже не в состоянии спасти его от голодной смерти.

Рассказ окончен. Мне бы следовало выразить свое отношение к нему, но как? По-видимому, она уже поняла, что не найдет во мне единомышленника, готового восхищаться романтической красотой истории. Возможно, она уже жалеет, что стала мне ее рассказывать.

— Теперь, глядя на ребенка, никак не скажешь, что он был близок к голодной смерти, — говорю я.

— У вас завидная наблюдательность.

— Благодарю вас. Я действительно прилагаю усилия, чтобы правильно понять все, что происходит вокруг меня.

— Вам надо было бы сделаться разведчиком.

— Вы меня переоцениваете. А вам знаком этот тип людей?

— Только чуть-чуть, из встреч на войне. В наш лазарет поступали иногда офицеры из разведывательной службы. И они всегда производили такое впечатление, что знают намного больше, чем говорят.

— О, для меня это комплимент. К сожалению, в наше время мы не вольны выбирать себе занятие. Буря событий швыряет нас то туда, то сюда, пока какой-нибудь случай не закинет в подходящую дыру. Извините за бестактность, но к вам это, по-видимому, тоже следует отнести. Такая интеллигентная молодая женщина — и что же, похоронена в каком-то медвежьем углу в качестве сельского врача.

— Можете себе представить, я как раз сама выбрала себе это назначение. Я всю жизнь готовилась к этому. В нашем кругу служение народному благу ставилось выше всех понятий... Ах, да, высокий идеализм русской интеллигенции! Но что от него осталось? Достаточно было пары окриков, и все исчезло, всякая верность принципам, всякое единение с народом. Все сделались трусами, трусами и лжецами!

— Неужели так уж все плохо?

Прежде чем она успевает ответить, из кухни появляется девушка лет шестнадцати, делает несколько неуверенных шагов.

— Извините, Анна Николаевна, уже можно накрывать на стол?

Врачиха колеблется одно мгновение, вопросительно глядя на меня.

— Надеюсь, вы останетесь отобедать с нами? — говорит она без особой настойчивости.

Я не отказываюсь.

— Накрывай на пять персон, Катя, — заключает она.

Едва раздается звон посуды, как открывается другая дверь и появляются две фигуры. Это дамы неопределенного возраста, высокие и тощие, с длинными лицами, очень похожие друг на друга. Сходство усиливается еще и тем, что на обеих надеты одинаковые платья из коричневой хлопчатобумажной ткани, напоминающие монашеские рясы. Следом за ними входит Костя, тихий и робкий, как ему, вероятно, и уготовано быть в этом доме, и молча показывает врачихе свои руки, которые чисто вымыты.

— Мои двоюродные сестры, — говорит Анна Николаевна, когда я поднимаюсь для приветствия. На этом и заканчивается церемония знакомства.

Во время всего обеда у меня в голове вертится абсурдная мысль: а не скрываются ли в облики кузин переодетые белогвардейцы? Нелепость этого подозрения совершенно очевидна, тем не менее я украдкой поглядываю на их подбородки и щеки, стремясь различить признаки нечистого бритья. Внимательный Костя перехватил мои взгляды и теперь тоже приглядывается через стол к своим теткам с таким выражением на умном личике, что мне стоит героических усилий, что-

бы не расхохотаться. По-видимому, он бессознательно копирует меня.

За этим скучным обедом было сказано всего несколько незначительных фраз. Когда он, слава богу, закончился, обе монастырские кухни откланялись и с постными лицами удалились. К сожалению, они увели с собой и Костю, который, уходя, все время оглядывался на меня. Девушка-кухарка убрала посуду.

— Мои кухни много страдали,— говорит Анна Николаевна.— Монастырь, где они находились, был захвачен махновцами.

Я опять едва могу удержаться от неуместного смеха и скорее перевожу разговор на другое:

— Боюсь, что я злоупотребляю вашим гостеприимством, но разговор с вами меня заинтересовал. Вы говорили о том, что русская интеллигенция изолгалась, вернее, что она растеряла весь свой идеализм... Но разрешите мне противопоставить этому ваш собственный пример.

— Да что примеры! Вы же знаете, что в такое время, как наше, легче всего живется в деревне.

— Так-то оно так, но все же. Вы сами сказали, что давно уже выбрали себе это назначение. И в вашем намерении служить народу тоже ведь ничего не изменилось?

— Я презираю тех, кто меняет свои принципы, как перчатки. Человек способен многое сделать только для того, чтобы не быть похожим на людей, которых он презирает.

— Но бывают люди, которые хотя и остаются верны своим собственным взглядам, однако на практике не прочь руководствоваться чужими.

— Бывают люди, у которых нет вообще никаких взглядов.

— И еще такие, которые предпочитают подождать...

— Если вы имеете в виду меня, то вы ошибаетесь. Я не поэтому выбрала деревню. В деревне будет решаться судьба новой власти. Россия — крестьянская страна. Как там ни верти, в конечном итоге все придет на круги своя. Крестьянин будет вершить делами, если даже он вовсе не будет представлен в правительстве. Никто не сможет пренебрегать волей народа, если власть взята его именем.

— Но ведь сначала говорят о власти рабочих и только потом уже крестьян.

— От перестановки слагаемых сумма не меняется. Существенно лишь то, какое из слагаемых больше. А кроме того, в России и рабочие не кто иные, как вчерашние крестьяне.

Откровенно говоря, мне нелегко спорить с этой женщиной. Compliments, которые я ей расточаю, лишь отчасти тактического свойства, в них заключена и немалая доля подлинного признания достоинств ее изоцированного ума. Я понимаю или скорее чувствую, что в ее рассуждениях что-то не так. Но что? И как это опровергнуть? Время от времени во мне поднимается ярость против этой достойной противницы, сопровождаемая тайным желанием скорее взять над ней верх. Мне бы хотелось разрезать ее, как куклу, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Но я гоню от себя прочь подобные мысли, ибо понимаю, что они бесплодны и опасны.

— Чрезвычайно интересно беседовать с вами, — говорю я. — Можно только позавидовать вашей образованности. Вероятно, вы учились в каком-нибудь знаменитом университете, пожалуй, даже за границей?

— Нет, я училась в Харькове. Но мой муж... он действительно был много лет в эмиграции.

— Ах, вон оно что. Где он теперь, простите за любопытство?

— Теперь он опять далеко. К сожалению, он не смог найти общий язык с новой властью.

— Жаль. А вы, вы не пожелали уехать?

— Это противоречило бы моим принципам. По моему мнению, кто бросает отечество в трудный для него час, тот предает свой народ.

— Суровый, но справедливый приговор, — соглашаюсь я. — Простите, однако мне уже пора уходить. Не хочу больше обременять вас своим присутствием, да к тому же мне предстоит еще долгий обратный путь.

— Но вы теперь должны меня навещать. По воскресеньям у меня часто собираются городские гости, мои друзья меня не забывают, и это все народ не скучный.

— Благодарю вас, я непременно приду.

— Мне жаль, что ваш дальний путь оказался напрасным.

— Что вы, как раз наоборот.

— Да уж чего там. Но с туберкулезом дело обстоит именно так. Мы, врачи, перед ним почти бессильны. Вот если улучшатся общие условия, тогда... Но все же я дам вам с собой кое-что, для вас и вашего больного. Правда, не лекарство, скорее лакомство. Катя! — кричит она в кухонную дверь. — Возьми три банки молока из холодильника. Видите ли, у меня остались запасы консервированного молока общества «АРА». Как помощь голодающим они никому теперь больше не нужны... Третья банка для Бориса Кунина, — говорит она.

— Вы разве знаете и Кунина? Он вам не родственник случайно?

— Нет, нет. Я знаю его только потому, что он интересуется медициной. Он хотел стать врачом. Пожалуйста, передайте ему привет.

— Охотно передам, это не тяжелая ноша, могу взять в неограниченном количестве. Может быть, вы еще кого-нибудь знаете из нашего поезда?

— Еще кого-нибудь? — Она словно бы заколебалась на мгновение. — Нет, больше никого.

— А может быть, кого-нибудь из наших соседних деревень?

Снова минутное раздумье.

— Нет, там тоже никого не знаю.

Со свертком, в котором тихонько и мелодично булькает американское сгущенное молоко в трех больших бело-красных жестяных банках с фирменной маркой американско-российского общества помощи голодающим «АРА», я спешу по знакомой дороге домой. На душе у меня муторно и беспокойно. Все вышло не так, как я предполагал. Чего я достиг? Все новое, что я узнал, лишь требует дальнейшего выяснения, а для практического решения моей задачи пока ничего не дает. Все та же картина: никаких надежных исходных данных. Она не признает Диденко своим знакомым, хотя тот повторяет ее слова, — может быть, в этом что-то кроется, а может быть, и нет. Она знает Кунина и как будто ни с кем больше в поезде не знакома. Может быть, и в этом что-то заключено, но что? Ладно, посмотрим, что скажет об этом Дратвин. Завтра надо послать к нему дядю Васю.

Дома меня подстерегает сюрприз. В нашей комнате

сидит на табурете мой знакомый с хутора. У его ног лежит маленькая котомка из грубой материи, перевязанная веревкой.

— О, Пауль! Ты давно ждешь?

— Да нет, пару часов...

— Значит, все-таки решился?

— Да, я пришел к вам,— говорит он с извиняющейся улыбкой.— Дело в том, что он меня ударил... в лицо.

Я искренне радуюсь, что Пауль с нами. Еще одного доброго бойца переманили мы из вражеского лагеря. Эта радость отгесняет на время даже то чувство неудовлетворенности, которое я все время испытываю из-за моих непрерывных неудач в проведении операции «Туман».

Но лишь на короткое время. Как только я ложусь в постель и стараюсь, как обычно, подвести итог минувшего дня, ответить себе на вопрос, что достигнуто, я должен себе признаться: ничего значительного.

Меня не оставляет чувство, что я действую неправильно, делаю не то, что надо. Но что надо?

Иногда мне кажется, что мне здесь вообще нечего делать. Я уже просил Дратвина отозвать меня. Но он ответил отказом. Что же мне делать? Я толком не знаю, чем заниматься, для этого отсутствуют исходные данные. А раз их нет, нет и версии. Но должен же я что-то делать!

XVIII

Где-то, когда-то сместился центр тяжести. Никто не смог мне доказать, что я пренебрег своей главной задачей. Но разве в действительности это было не так?

Сначала запас времени казался мне неисчерпаемым. Только позже, намного позже, пожалуй, слишком поздно, я понял, что все идет не так, как надо, что у меня нет направляющей нити, нет версии.

Зато наши успехи на стройке доставляли мне все больше удовлетворения. Может быть, я напрасно позволил себе слишком сильно увлечься своими обязанностями как строителя моста? Может быть...

ЛОЖНЫЙ СЛЕД

Мишка Парфенов стоит передо мной словно мокрая курица и жалуется на свое невезение.

От Мишки я всегда узнаю последние новости из большого пульмановского вагона, где живут молодые рабочие. От него мне известно, что картежная игра после некоторого перерыва возобновилась с новой силой и что рыжий Юзек, недавно выиграв кучу денег, два дня не появлялся на работе, а пропадал где-то в городе и теперь регулярно посещает фельдшера Павлова. Становится мне известно и то, что Юзек, который работает в артели каменщиков, хотел оставить пустоты в кладке опор, чтобы таким образом увеличить свою выработку, и когда товарищи его разоблачили, то Кунии чуть не прибил Юзека на месте преступления.

Теперь Мишка докладывает о новых происшествиях. К его длинному, со многими подробностями, рассказу я отношусь осторожно, не принимаю его полностью за чистую монету, ибо Мишка, как большинство человеческих созданий, не склонен представлять лично себя и свои действия в неблагоприятном свете. Следя за его рассказом, я стараюсь вообразить себе истинную картину.

Вчера в пульмановском вагоне была большая выпивка, и Мишка участвовал в ней. Сегодня утром на работе у него не ладилось, и напарник пожаловался на него Прокопычу. Однако Прокопыч был в хорошем настроении, и когда Мишка, прикрывая рот рукой, что-то промямлил в свое оправдание про головную боль и попросил разрешения пойти в амбулаторию, Прокопыч благодушно махнул рукой.

Фельдшер Павлов, зная Мишку как сознательного парня, поступил с ним на этот раз либерально — дал ему записку об освобождении на один день от работы ввиду мигрени.

С этой запиской, в соответствии с заведенным порядком, Мишка пошел к табельщице Ковровской, чтобы отметить как больной.

В зеленом пассажирском вагоне, где табельщица Лиля, сидя за пишущей машинкой, быстро ударяла по

клавишам, словно играя на рояле, Мишке пришло в голову проявить «галантность».

— Не расшибите свои пальчики, Лиля Федоровна,— сказал он.

Лиля взглянула на него и ответила не то чтобы недружелюбно, но сдержанно:

— У вас, наверное, есть какое-нибудь дело здесь, в конторе, товарищ Парфенов?

Не успел Мишка собраться с мыслями, чтобы ответить что-нибудь остроумное, как дверь отворилась и на пороге вырос собственной персоной Федор Денисович Ковровский.

Если этого человека что-нибудь на свете и могло вывести из равновесия, то только приставание к его дочери. Исполненный возмущения, он шагнул к Мишке Парфенову.

— Чем вы тут занимаетесь, молодой человек? — спросил старик с едва сдерживаемой яростью.

Мишка протянул спасительную бумажку, данную ему фельдшером Павловым, и раскрыл рот для соответствующих объяснений, но забыл прикрыть его рукой, и таким образом самогонный дух хлынул со всей силой в лицо начальника поезда. Теперь уже старик и вовсе не мог справиться со своей яростью.

— Да вы пьяны, разгильдяй! — набросился он на растерявшегося Мишку. — Что вы мне суете эту грязную фальшивку! Убирайтесь вон! Увольняю вас!

Оказавшись за дверью, Мишка Парфенов преодолел свой испуг и исполнился возмущением. Что же это такое, что мы, при старом режиме живем? Выходит, начальнику можно обращаться с простым рабочим как ему вздумается?.. Ну, нет!..

— Этого я ему никогда не забуду,— говорит сейчас Мишка мне и смотрит вдаль.— Он у меня еще покается.

Я знаю, что озлобление его скоро пройдет. Но меня волнует другое. С тех пор, как к нам пришел Пауль, мы можем обойтись и без Мишки на нашем участке. А вот устроить надежного человека в бригаду каменщиков, где происходят такие вещи, как оставление полых про странств в опорах, это было бы важно! Да, надо воспользоваться представляющейся возможностью.

— Не падай духом, Миша, не так страшен черт, как

его малюют,—говорю я.—Насчет увольнения мы еще разберемся. Никакой несправедливости не допустим. Я сам поговорю с начальником. Так что подожди до завтра.

Стоит начало октября. Но еще тепло, боги продлевают для нас бабье лето, словно хотят по-своему, по-божественному, отметить окончание жестокого военного времени с его лишениями и опасностями и приход нового времени, времени подъема и расцвета.

По утрам, выходя к реке, я встречаю там всегда и Кунина. У него есть свое особое место купания—это скрытая от глаз густым ивняком уютная песчаная отмель, находящаяся выше по реке,—Кунину не нравится общий пляж, где ступни утопают в мягком желтом песке.

В первый раз я открыл это место с реки. Заметил там человеческую фигуру и подплыл поближе, движимый своим привычным неизменным любопытством.

— Эге-ей! — крикнул я, узнав Кунина.—Значит, у тебя здесь отдельная квартира? Ну и хитрец! А тут и вправду неплохо одному, да, пожалуй, и вдвоем.

— Можешь подселаться ко мне,—ответил Кунин без воодушевления и не прерывая своих гимнастических упражнений.

— А по какой системе ты упражняешься? На Мюллера это что-то не похоже.

— Нет, Мюллера я не одобряю. Это английская система с элементами искусства йогов.

— Развивает гибкость и быстроту реакции?

— Пожалуй, да. Тебе что, такая система знакома?

— Только понаслышке. А ты откуда ее взял?

— Я? Это было совсем случайно. Я подглядел ее у одного английского моряка в Одессе. А ты по какой системе занимаешься?

— У меня нет никакой определенной системы. Так, отдельные фрагменты, насобирал во время военной службы.

Выйдя на берег, я стоял рядом с Куниным и невольно проводил сравнение между нами. Борис на несколько сантиметров выше ростом, пожалуй, и плечи его чуть пошире моих, но зато мое телосложение коренастей и

крепче, мои мускулы рук заметно массивней, да и ноги выглядят сильнее. Я не мог противостоять искушению померяться с ним силой и ловкостью. Приняв боксерскую стойку, я выкинул левый кулак в направлении его красиво очерченного, гладко выбритого подбородка. Но не успел я, как говорят, и глазом моргнуть, как Борис железной хваткой взял меня обеими руками за предплечье, повернулся ко мне и перебросил меня через спину. В считанные мгновения я уже лежал на влажном песке, а он стоял надо мной, подняв правую ногу, как бы с намерением поставить ее на мою грудь в знак своей победы.

— А это ты тоже подсмотрел у того моряка в Одессе или у кого-нибудь другого? — спросил я, смеясь и не вставая с песка. Продолжать борьбу после такого чистого поражения было бы не по-джентльменски.

— Ах, чему только не научишься в жизни, — ответил Борис в таком же шутовском тоне.

— Давай поплывем наперегонки, — предложил я.

— Давай.

Смеясь, мы зашли по колено в воду, я сосчитал: «Раз-два-три», но вместо того, чтобы сразу же броситься в волны, задержался на мгновение — пусть он плывет впереди, люблю догонять и перегонять. В своем превосходстве по плаванию я был совершенно уверен. Но каково же было мое изумление, когда я увидел, что Кунин удаляется от меня с такой скоростью, какой я и представить себе не мог. Еще больше удивил меня его способ плавания: это был безупречный кроль, тот спортивный стиль, который был у нас в России знаком лишь единицам и который можно было перенять вот уж воистину только от какого-нибудь английского или австралийского пловца. Я бросился в воду, стал напрягать все силы, но именно в плавании это приносит наименьший успех, ибо чем резче ты давишь на воду, тем легче прорезаешь ее руками, и я, как ни старался, не смог угнаться за Куниным.

Когда я подплыл к противоположному, заросшему осокой берегу, Борис уже находился там. Он месил ногами мягкое илистое дно, с озорным упоением вздымал тучи черного ила и направлял их в мою сторону.

— Ну, ты и герой! — выбравшись на берег, воскликнул я. — Настоящий спортсмен!

— Какое там! Я еще так, начинающий. Лишь кое-чему научился... А есть люди, которые действительно...

— Ты имеешь в виду профессиональных спортсменов?

— Ну, почему... Ах, оставим это. Уже поздно, и надо торопиться...

С тех пор мы каждое утро встречаемся здесь, у реки. Я раздеваюсь на общем пляже, Кунин же хранит верность своему укромному местечку. Потом он подплывает ко мне и обучает меня кролю.

Сегодня, едва подплыв ко мне, он говорит:

— Благодарю за подарок! На тебе, боже, что нам негоже, не так ли?

Такого рода полусхотливый тон разговора стал между нами обычным.

— Ты уж не Мишку ли Парфенова имеешь в виду? А что? Парень неплохой.

— Так он же не каменщик.

— Ничего, замесить раствор сумеет. Тебе ведь люди нужны?

— А почему ты сам не предложил его мне?

— Откуда мне было знать, что начальство так решит. Федор Денисович был вообще настроен на увольнение, и мне пришлось уговаривать его, а не тебя. А что ты действительно имеешь против Парфенова? Надеюсь, ты его не приревновал, по примеру папы?

— Не болтай вздор.

— А чем же еще нехорош тебе Мишка? Если он тебе в самом деле не нужен, то я возьму его обратно к себе, пусть только сначала улягутся страсти.

— Я тебе потом скажу, почему мне не нравятся люди, которых мне навязывают. Может быть, встретимся сегодня вечером, а?

Вечером мы гуляем по берегу. После семи часов уже сумеречно и прохладно. Густая пелена тумана поднимается с реки и повисает над нею. Тропа под ногами едва различима, но поверх этой белой пелены воздух прозрачен.

— ...Дружба должна чем-то питаться,— рассуждает Кунин, который вообще склонен к философским обобщениям.— Я тебе уже много рассказывал о своей жизни, а вот ты о себе молчишь.

— У меня все слишком просто, Борис. Одни серые будни. Даже не знаю, чем бы я мог тебя заинтересовать.

— Ну ладно, допустим, что ты ужасно скромнен. Но я тем не менее расскажу тебе еще кое-что из моей жизни? Хочешь?

— Конечно, если ты считаешь меня достойным.

— О боже, опять воплощенная скромность! Ну ладно, всяк по-своему с ума сходит. Было бы иначе, жизнь была бы скучнее.

Кунин останавливается и поворачивается ко мне лицом. Мы стоим совсем близко друг к другу.

— Знаешь,— говорит он,— у меня такое впечатление, что за мной следят.

— За тобой? Почему тебе пришло такое в голову?

Кунин молчит с минуту, затем снова не спеша идет вперед и говорит:

— Видишь ли, я, конечно, могу себе представить, что новая власть не особенно доверяет таким людям, как я. Белая гвардия и так далее. Конечно, не каждому заглянешь в душу. Я не могу каждому встречному разъяснять, кто я такой. Ну, а тебе говорить об этом и вовсе нет необходимости. Но состояние, когда тебя подозревают, довольно-таки трудно выносить.

Теперь останавливаюсь я.

— Да откуда ты все это взял? — спрашиваю я, силясь не выдать замешательства, которое вызвали у меня его слова.— Можешь ты привести хоть какие-нибудь доказательства того, что за тобой, как ты говоришь, следят?

— Доказательства? Нет. Эти люди достаточно умны и осторожны. Просто у меня такое впечатление.

— Но откуда происходит это впечатление?

— Откуда оно происходит? Я не могу тебе этого точно объяснить. Просто так: оборванная фраза, умолкающий разговор, когда тыходишь. Ты думаешь, что это одно воображение?

— Этого я не говорил. Но должны же быть у тебя хоть какие-нибудь отправные пункты. Эта, как ты говоришь, «слезка», она что, связана у тебя с определенными лицами? Кто ею занимается или кто ее направляет, об этом у тебя есть хоть какие-нибудь догадки?

— Да,— говорит он.

Мы медленно возвращаемся в направлении моста, он уже близко. Скоро нам придется снова повернуть обратно, чтобы нас не окликнул часовой, который там, наверху, дежурит в караульной будке. Дело к вечеру, красный огонек папиросы часового уже отчетливо выделяется в полумраке.

Некоторое время мы идем молча — наш разговор может быть слышен на мосту.

— И кто же это? — спрашиваю я.

Кунин снова останавливается.

— Гуцин, — говорит он.

От неожиданности я не нахожу слов, чтобы выразить свое удивление, а Кунин между тем продолжает:

— Ты, может быть, подумаешь, что мне все это чудится. Ты можешь сказать, что я настроен против этого человека. Да, я настроен против него, верно, но у меня на это есть свои причины. Ты как-то уже спрашивал меня, что я имею против Гуцина. Хорошо, сейчас я тебе скажу об этом. Гуцин был единственным человеком, который знал о Лилином... несчастье. Потому что он принадлежал к той же офицерской компании. И этим знанием, — от возбуждения и ненависти голос Кунина становится совсем хриплым, — этим знанием он злоупотребил для шантажа. Он потребовал от нее, чтобы она стала его женой. Потребовал уже после того, как она отвергла его официальное предложение. Но всю мерзость этого шантажа ты не поймешь до конца, если я не сообщу тебе еще одну подробность: Гуцин болен ужасной болезнью, которая лишает его права на брак. И ведь этот негодяй давно знает о своей болезни, знает совершенно точно! Как мне это стало известно? Когда Павлов узнал о намерениях Гуцина, он раскрыл передо мной врачебную тайну.

— Боже, как все это отвратительно!.. Почему же ты мне раньше ничего не говорил об этом?

— Почему, почему! Не очень-то приятно говорить о таких вещах. Ты спросишь, какое это имеет отношение к моим подозрениям. Так вот, имей в виду, что Гуцин в белой армии был связан с контрразведкой. Не удивительно, если он и теперь, при новых господах, не прочь оказывать такие же услуги.

— Но есть ли у тебя конкретные факты?

— Он меня ненавидит.

— Милый мой, ведь это же все призраки, а их нельзя поймать. Надо иметь факты.

— Для меня это в достаточной степени факт. Он ни перед чем не остановится, чтобы убрать меня с пути.

Мы расстаемся поздно вечером.

Мне не удалось узнать от него ничего конкретного. Наверняка впереди еще одна бессонная ночь.

Плохо, когда нет никакой версии. Еще хуже попасть на ложный след.

Ложный след, ложный след... Какой же след ложный?

ХІХ

«Андрей Карлович, вас ищут».

«Да. Что?»

«Вас разыскивают, говорю».

Это Мишка Парфенов. Но у него изменившийся голос. Однако не настолько, чтобы нельзя было узнать.

Да, да, узнать его можно, это факт. А может быть, голос вовсе не изменился, может быть, изменился сам Мишка. Да, да, это прежний голос изменившегося человека.

«Кто меня разыскивает?»

«Ваш знакомый. Тот, что из города».

Значит, комиссар Дратвин. Надо идти.

Прощай, мое оконное стекло. Ты оказало мне большую, добрую услугу.

Хотя нет, я постою еще немного. К чему спешить. Поспешишь — людей насмешишь.

Влюбленный граф...

Вот он спешил. А мы не будем.

Теперь уже не будем.

И ДЕНЬ НАСТАЛ

Наконец-то настал этот день.

Позавчера на совещании профессор торжественно объявил, что создана комиссия для государственных испытаний восстановленного моста, которая должна прибыть к нам в ближайшие дни. И вот сегодня утром нам сообщили по телефону, что комиссия уже выехала.

Встречать ее на зеленой дрезине должен вот-вот отправиться сам Ковровский.

У нас имеются две дрезины: зеленая и так называемая рабочая дрезина, самая обычная в своем роде, из тех, что повсюду используются на путевых работах,— простая деревянная платформа из толстых брусьев и массивный зубчатый привод с двумя длинными рукоятками, вращать которые могут только сильные люди. Эта рабочая дрезина — наше главное средство сообщения, она непрерывно в деле, на ней подвозятся различные мелкие грузы, и садиться на нее можно только в рабочей одежде, не боящейся соприкосновения с мазутом и металлической пылью.

Совсем другое дело зеленая дрезина. Легкая и элегантная, она предназначена только для двух пассажиров. Ее решетчатые платформа и сиденье сделаны из узких реек, окрашены в зеленую краску и соблюдаются в образцовой чистоте. Она снабжена легким цепным приводом с рычагом-качалкой, который без большого усилия может приводить в движение один человек, в то время как второй с удобством восседает рядом. Этой дрезиной пользуются лишь в особых случаях и только руководящие лица, и поэтому каждый ее выезд становится предметом широкого обсуждения.

Сегодня же отъезд зеленой дрезины — событие особой важности.

Мост готов. Осталось только в некоторых местах его покрасить. Большинство рабочих занято теперь на уборке прилегающей местности; разбирают верстаки, упаковывают инструмент, сжигают отбросы. А для многих вообще уже нет никакого занятия. В конторе рассчитывают тех, кто не собирается ехать к новому месту назначения, где ждет своего восстановления еще один мост. У кого есть во что получше одеться, ходят по праздничному нарядные, так что многих вообще невозможно узнать.

Прокопыч основательно постирал с мылом свой засаленный пиджак, который теперь был светлее, а поэтому все мазутные пятна на нем стали намного заметнее, кроме того, пиджак существенно укоротился, отчего коренастая фигура Прокопыча с широкими плечами и массивными бедрами стала выглядеть еще комичнее.

Мишка Парфенов, ярый противник буржуазных привычек, из-за принципа ничего не изменил в своей одежде, однако полил какой-то жидкостью свои непослушные вихры и причесался на пробор, а к груди прикрепил красный бант. Фельдшер Павлов достал из фанерного чемодана диагональный френч и начистил сапоги до зеркального блеска с помощью сажи и скипидара. Рыжеволосый Юзек явился в клетчатом пиджаке с закругленными лапами и с оранжевым шарфом на шее.

...Дюжина могучих рук подняла находящуюся в тупике зеленую дрезину, как игрушку, и перенесла на проезжую колею. Федор Денисович в новой фуражке, в черной форменной паре с начищенными пуговицами и молоточками в петлицах торжественно взошел на платформу. Сильченко, начальник первого участка, занял место рядом с ним, чтобы взять на себя почетную обязанность машиниста. Кое-кто в толпе собравшихся несмело закричал «ура», остальные замахали фуражками, платками, руками.

Наконец Сильченко полегоньку начинает раскачивать рычаг, и дрезина медленно трогается с места. Мы провожаем ее взглядами, пока она не скрывается за поворотом у песчаного бугра.

На ближайшем разъезде дрезина остановится и будет ждать встречного поезда. Там профессор и намерен приветствовать высоких гостей.

Едва улеглось наше возбуждение после отъезда дрезины, едва мы разошлись и стали заниматься каждый своим делом, как снова были взбудоражены теперь уже необычным, долгим, протяжным свистком — сигналом паровоза. Все мы тут же бросились опять к насыпи и увидели вынырнувший из-за песчаного бугра поезд. Описывая на крутом повороте живописную дугу, он медленно приближался к нам.

Поезда и раньше раз в две или три недели приходили сюда из города. Они привозили муку, перловку, пшено, мыло, керосин, а также шпалы, болты, заклепки, кокс, деготь... Эти поезда состояли обычно из двух, самое большее — из трех вагонов и толкал их прицепленный сзади маневровый паровозик серии ОВ, ласкательно прозванный «овечкой».

Поезд, который мы увидели сейчас, тоже подталки-

вал прицепленный сзади паровоз, потому что здесь, у моста, нет маневровых путей, и обычно уже на ближайшем разъезде паровоз перецепляли применительно к обратному пути. И на этот раз роль толкача тоже выполняла «овечка». Но прежде, чем увидеть ее, надо было насчитать не два и не три вагона, а целых десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать вагонов! Вернее, это были не вагоны, а платформы, нагруженные не чем иным, как щебенкой и камнем. Не все сразу догадались о назначении этого груза. Мишка Парфенов был первым, кто огласил разгадку.

— Испытательный поезд! — закричал он во все горло. — Испытательный поезд пришел!

Да, это был тяжелый испытательный поезд для проверки грузоподъемности моста!

Исполненный неукротимого торжества, Мишка подбежал к столбу, на котором тарелкой книзу подвешен буфер, служащий для подачи сигнала к началу и окончанию работы, а также в случае надобности и сигнала тревоги, не долго думая схватил железный стержень, лежащий на тарелке буфера, и начал звонить. Теперь уже буквально все живое сбежалось сюда, к нашим вагонам, толпа запрудила насыпь и полностью преградила путь приближающемуся поезду. Кондуктор на тормозной площадке кричал что есть сил, яростно размахивал сигнальным фонарем, пускал пронзительные трели свистком, но ничто не могло остановить возбужденных людей. А машинист находится далеко, на другом конце змейки платформ, ему, разумеется, не видно, что происходит здесь, на насыпи. Вот-вот кто-нибудь может попасть под колеса, но ничего подобного, люди разбегаются перед медленно движущимся поездом так удачно и ловко, словно вода перед носом корабля.

Я не смешиваюсь с толпой, стою на небольшом бугре около насыпи, откуда мне открывается хороший обзор всего происходящего. Передо мной как на ладони и наш жилой поезд, и проезжая колея, и пестрая толпа встречающих, и испытательный поезд с балластом, который все больше и больше замедляет ход. А справа от меня мост. Новый, исправный мост, который поднят из руин, восстановлен нашими руками.

Наконец с коротким взвизгом тормозных колодок испытательный поезд останавливается. Первая плат-

форма со щербом доехала до самого моста. А передо мной оказывается единственный пассажирский вагон, самый обыкновенный темно-зеленый вагон пригородного сообщения. Несомненно, это и есть специальный вагон комиссии. Мне как раз необходим этот вагон, но стоя здесь, я не смогу увидеть членов комиссии, так как выходить они будут по другую сторону. Теперь мне надо сойти с моего наблюдательного поста и проникнуть в пространство между двумя поездами. Но прежде, чем я успеваю осуществить это намерение, я замечаю своего друга Кунина, который продирается сквозь толпу и бежит на мой бугор. Я впервые вижу Бориса в гражданской одежде, костюм его из окрашенной в черный цвет армейской диагонали и, судя по элегантности, изготовлен у деревенского портного.

— Андрей, я ищу тебя повсюду. Я должен тебе первому сообщить эту новость.

— Что за новость? Что-нибудь случилось?

— Еще нет, но случится. Итак, свадьба назначена на воскресенье двадцать третьего октября. Тебя приглашаю самым сердечным образом, как моего шафера и, так сказать, свидетеля с моей стороны.

Ну вот, и здесь все идет к логическому завершению. Собственно, этого и следовало ожидать. Да, вслед за общими торжествами отдельные лица празднуют и свои особые праздники. Ну что ж, празднуй, кому есть что праздновать...

Стоп, Шольц, спокойно. Оставь при себе свои переживания. Кунин не должен видеть, что эта новость тебя огорчила. Да и разве она для тебя неожиданна, ведь дело давно уже шло к этому.

— Сердечно поздравляю, Борис.

Не прозвучало ли это несколько тускло?

— Подожди, поздравлять будешь после. Не испугай богиню удачи.

В это время внизу, между двумя поездами, я замечаю движение, люди устремляются к одной из подножек зеленого вагона. Значит, члены комиссии уже выходят.

— Извини, Борис, но мне надо идти к прибывшей комиссии,— бормочу я и предоставляю его самому себе.

Как это глупо, проносится у меня в голове. Подумает еще, что я не рад его сообщению.

Я пробираюсь под буферами и замешиваюсь в толпу зевак. Один из членов комиссии уже скрывается внутри нашего служебного вагона, я успеваю увидеть только его спину в форменном кителе. Другой поднимается по ступенькам, его седая эспаньолка и золотое пенсне не оставляют никаких сомнений относительно его принадлежности к категории старых специалистов. У третьего, напротив, большие, рабочие руки, одет он в пиджак из грубого сукна, на голове поношенная кепка. Стоп, но кто же этот четвертый? Последний из членов комиссии, позади которого сквозь толпу пробирается уже наш милейший Федор Денисович, одет в кожаную тужурку и в профиль имеет поразительное сходство с комиссаром Дратвиным. Неужели он? Не может такого быть. Но когда этот человек ставит ногу на подножку вагона и, прежде чем подняться по ступенькам дальше наверх, коротким поворотом головы быстро озирается вокруг и я мельком вижу его лицо, всякие сомнения отпадают: да, к нам прибыл собственной персоной Дратвин.

Меня он, конечно, не заметил в толпе.

Но что вообще означает его прибытие?

А что другое оно могло бы означать, кроме моего полнейшего провала?

Я не выполнил задачу!

Почему он не дал мне знать, что прибудет?

Неужели мне совсем уже перестали доверять?

В большом смятении я тащусь к своей теплушке. Так скверно я уже давно себя не чувствовал.

— Товарищ Шольц! — слышу я как сквозь сон за своей спиной. — Товарищ Шольц!

Я останавливаюсь. Меня догоняет незнакомый молодой рабочий.

— Товарищ Шольц, меня послал за вами один из членов комиссии. Он сказал, что вы можете прямо сейчас к нему прийти, а если хотите, то позднее. Это ваш старый фронтовой товарищ, вы с ним в одном полку служили, так он велел вам передать, Дратвин его фамилия. Это все в точности как он мне сказал.

— Спасибо, дружище!

Дратвин, Дратвин, находчивый начальник Дратвин! Никогда и нигде мы вместе не служили, кроме как в

Чека. Старый фронтовой товарищ... Молодец! Умница! Значит, под этим прикрытием мы можем открыто встречаться и сколько угодно разговаривать с глазу на глаз, не выдавая моего инкогнито.

Пока я соображаю, идти ли мне сразу в служебный вагон или же взять себе некоторую отсрочку, приходит новое сообщение: начальник собирает весь технический персонал, чтобы представить его комиссии и обсудить порядок проведения испытаний.

Все разыгрывается как по нотам. Сразу чувствуется уверенная хватка Дратвина.

Когда вечером мы идем с Дратвиным гулять по берегу реки, я узнаю от него, что ему лишь в последний момент удалось добиться своего включения в состав комиссии в качестве ее члена.

— Но какая в этом была необходимость? — вырывается у меня.

Я не могу не задать этого вопроса. Хотя в нем явно звучит, что я уязвлен и обеспокоен.

— Так-так,— говорит комиссар Дратвин с хорошо знакомым мне прищуром черных, сверкающих жизнелюбимым глаз.— Значит, ты вовсе не рад встрече со старым фронтовым другом? Но можешь не беспокоиться, Андрей. Причины тебе позже объясню. А теперь, пожалуйста, дай мне краткую справку о конструктивных качествах и техническом состоянии моста.

Мы медленно ходим туда и обратно по той же тропинке вдоль берега, по которой часто бродили вечерами мы с Куниным, и я растолковываю Дратвину, что мост состоит из трех арочных пролетов и что каждый из них по сорок метров длиной. Обе береговые опоры оказались в целости, и это очень облегчило восстановительные работы. Но русловые опоры были очень сильно повреждены, их верхние части пришлось разобрать и сложить заново. Эти опоры сейчас еще не могут нести груз поездов, сначала они должны дать осадку. Поэтому мост пока что будет лежать на четырех временных опорах, которые сложены из пропитанных дегтем железнодорожных шпал по обе стороны капитальных опор. Лишь через полгода каменные опоры осядут настолько, что вместе с временными смогут принять на себя часть

нагрузки, а еще через полгода лишние опоры можно будет убрать. В течение этого года мост должен содержаться под особым надзором, и поезда могут проходить по нему лишь с малой скоростью. Только при таких условиях мост может быть сдан в эксплуатацию.

— Ну, и повышенная пожарная опасность, конечно? — дополняет Дратвин.

— Разумеется. Поэтому насосы с опущенными в реку шлангами установлены по обе стороны моста, а также и посередине. Трое часовых. Один стоит на противоположном, южном конце моста, другой ходит по мосту, третий же, одновременно охраняющий и наш склад, находится на северном конце моста.

— Ты знаешь всех часовых?

— Да, более или менее. Их всего одиннадцать, командир отделения двенадцатый. Его я знаю хорошо, он из рабочих, служил в буденновской армии.

— А подчинится ли он тебе в случае необходимости?

— Да, несомненно, если я ему представлюсь.

— Так-так.

Дратвин поднимает воротник кожаной тужурки, зябко пожимает узкими плечами, потому что становится прохладно и белая пелена тумана поднимается с реки. Затем он снова засовывает руки в боковые карманы тужурки, где находятся его неразлучные два нагана.

— А как ты вообще оцениваешь обстановку?

— Так же, как я сообщал ранее. Мне не удалось обнаружить никаких признаков саботажа или готовящейся диверсии.

— Есть у тебя надежные люди, которые, если будет надо, смогут помочь?

— Есть. Об этом я тоже докладывал.

— Ты в курсе всех дел, которые тут творятся?

— Думаю, что да.

— Вот тут-то ты как раз и ошибаешься! Знаешь, кто теперь возглавляет белогвардейский заговор? Что смотришь так на меня? Так вот, знай — его возглавляешь ты! Да, да!

Остановившись как вкопанный, я глазею на комиссара в полном недоумении. Вероятно, вид у меня до-

вольно-таки комичный, потому что Дратвин не может удержаться от заливистого смеха.

— Надеюсь, ты не затем приехал сюда, чтобы пошутить надо мной,— говорю я с обидой.

— Нет, нет, определенно не за этим. На-ка, прочти.

Он протягивает мне листок бумаги, и я сразу узнаю старого знакомого с его печатными буквами.

— Я должен это прочесть?

— Если угодно, можешь даже спеть, если подберешь подходящий мотив.

Я пробегаю строчки: «Ставлю вас в известность, что в последнее время главенствующую роль в подготовке актов саботажа взял на себя некий Шольц, подпоручик денкинской армии и немецкий агент. С целью осуществления своих предательских планов он завербовал еще одного немца из среды здешних колонистов, некоего Пауля Баумана, и зачислил его в качестве рабочего на своем участке...»

Я смотрю Дратвину в глаза:

— Ты этому хоть на минуту поверил?

— Не болтай чепуху. Как я мог поверить? Но теперь мы должны наконец вывести этого проклятого писаку на чистую воду. Неужели у тебя до сих пор нет никакого представления, кто это мог бы быть?

— Конечно, это какой-то ненавистник. Кто же еще? Ненавистник, классовый враг, который ненавидит нас всех. Сначала Кунина, потому что тот честен и работает на совесть для рабоче-крестьянской власти. Потом меня, потому что я тоже честно работаю да к тому же дружу с Куниным...

Мне кажется, я начинаю догадываться... Сколько же времени водит он нас за нос! Насочинял столько клеветы!

— Не спеши с выводами и не кипятись попусту. Что там клевета и что не клевета, это нужно еще проверить. А как, между прочим, дела с этим Куниным?

— Кунин женится.

— Весьма благоразумно со стороны молодого человека. Но меня меньше занимают его личные дела.

— Я думаю, что человек, который вынашивает планы, связанные с риском для жизни, не стал бы жениться.

— И тем не менее?

— Кунин честен! От него не может исходить никакая опасность.

— Эге, да ты даешь волю чувствам! А известно ли тебе, что эмоции обычно приходят, когда не хватает доказательств?

— На Кунина нет никаких отягощающих доказательств.

— Допустим, что так, допустим... И все же мне не совсем нравится твоя предвзятость. Ты что, подружился с ним?

— А почему честный человек не может быть моим другом? В конце концов, чекист тоже не бездушная машина.

— Андрей, тебе не следует раздражаться. Мы ведь тоже с тобой друзья, не так ли? Но у людей бывают еще и другие плоскости соприкосновения, помимо личных симпатий, так или нет?

— Не спорю.

Мне надо овладеть собой. Нехорошо, что я распускаюсь, когда рядом находится товарищ, тем более начальник, несущий большую ответственность, чем я. И, кроме того, он, конечно, прав. Я должен взять себя в руки, иначе дело дойдет до того, что Дратвин начнет называть меня на «вы» и «товарищ Шольц».

— Итак, относительно Кунина тоже должна быть получена полная ясность,— подводит Дратвин итоговую черту.— Кстати, ты не замечал, не имеет ли он какого-нибудь отношения к молочным консервам «АРА»?

— К молочным консервам «АРА»?

— Ну да, американское сгущенное молоко в таких красивых красно-желтых жестяных баночках. Нам доставили несколько образцов, в которых вместо чудесного, вкусенького сгущенного молочка находился — что бы ты думал? — динамит.

— Что? Динамит в банках сгущенного молока?

— Ну да, почему тебя это так удивляет?

XX

Сколько мертвецов ты видел, Шольц?

Много. Но то была война.

Теперь войны нет.

*Нет войны? Но нет еще и настоящего мира.
Дратвин, Дратвин, я должен был тебе повиноваться!
Повинующийся передает ответственность тому, кто
приказывает...*

Туман за окном.

*Оконное стекло прохладно. Но уже не так прохладно,
как раньше. Или, может быть, остывает моя голова?*

ИСПЫТАНИЕ

— Эх, жалко, нет духового оркестра! — вздыхает Мишка Парфенов и выражает при этом всеобщее мнение, которое сегодня высказывалось уже не раз.

С самого утра вся местность вокруг моста запружена празднично одетыми и празднично настроенными людьми. Но мы, рабочие и служащие ремонтного поезда, не составляем здесь и половины. Весть о предстоящих испытаниях распространилась по окрестным селам, и любопытство привлекло сюда не только легких на подъем детвору и юношество, но также множество отцов и матерей семейства. Сельские жители группируются на противоположном, южном берегу, наши же облюбовали маленькую полосу насыпи между хвостом жилого поезда и северным концом моста. Слышны громкие разговоры, шутки, смех, здесь и там стихийно возникают песни. Фельдшер Павлов вдруг спохватывается, спешит в теплушку и выносит гитару. Повесив ее на красной шелковой ленте через плечо, он запекает песню, которая сегодня всем по душе: «Смело, товарищи, в ногу!» И вот песня уже несется над долиной, вскоре ее подхватывают и на противоположном берегу, где столпились сельские жители. Но что ни говори, а духовой оркестр — вот это было бы то, что нужно в такой день!

— Ты прав, Миша, духовой оркестр определенно не помешал бы. Но сейчас тебе нужно меньше думать о развлечениях, — говорю я, подходя к Парфенову.

— Да, да, я знаю. Все будет в порядке. На моем участке ничего не случится, даю голову на отсечение.

Он запускает правую руку в карман брюк, и его широкое лицо расплывается в улыбке. Сегодня утром я выдал ему маленький бельгийский браунинг — на

Мишу возложена ответственность за безопасность у северной опоры моста. Пауль с такой же задачей направился на южный берег. Каждый участок моста находится под надзором надежных людей. У меня в руках все шити управления.

Ровно в одиннадцать часов члены комиссии занимают свои пункты наблюдения по обе стороны моста, а также и внизу, под мостом. Вытаскиваются из футляров, в последний раз проверяются измерительные приборы. Наконец Ковровский выходит на мост и останавливается на его середине. В руке у него зеленый флажок, красный он заткнул за пояс и выглядит теперь как заправский железнодорожный кондуктор. Федор Денисович ободряюще улыбается стоящим вокруг людям, однако не может скрыть и своего внутреннего волнения. Стоя посередине моста, он поднимает зеленый флажок над головой, в тот же миг паровоз исторгает продолжительный свисток, и поезд с балластом начинает двигаться.

Поезд движется очень медленно, колеса передней платформы постепенно приближаются к критической точке, где рельсы опираются уже не на твердый грунт насыпи, а на балки моста.

Вот и последний прогон рельсов на насыпи. Остается всего несколько метров. Один метр! А вот и стык!

Не слышно ни звука в толпе из нескольких сотен людей, только скрипят невидимые песчинки, которые давят накатовающаяся сталь.

Первая платформа всеми колесами уже на мосту. Вторая следует за ней с успокаивающим новизгиванием трущихся друг о друга буферов. Вот и третья платформа. А мост стоит, как будто три нагруженных щебнем платформы вовсе ничего не значат для него.

Люди облегченно вздыхают — первый порыв радости за содеянное.

Испытательный поезд движется дальше, и вот первая платформа достигла уже середины моста. А там, на боковом настиле из досок, стоит начальник ремонтного поезда профессор Ковровский, человек, которому здесь отвечать за все, за всех держать экзамен. Вот он стоит, этот человек, внушающий почтение к себе, да что там почтение, теперь в глазах у всех он чуть ли не бог, ибо

в этот момент все понимают: без него было бы невозможно это чудо!

Передняя платформа миновала середину моста. Она уже приближается к южному концу. Поезд еще замедляет свое и без того медленное продвижение. На несущую поверхность моста наезжает последняя платформа. Теперь очередь за паровозом.

Он совсем медленно, едва заметно вкатывается первой парой колес на мост. Вот и вторая пара... Третья... Готово!

Поезд останавливается.

— Ура! Ур-ра! — гремит со всех сторон.

Строители моста обнимаются, летят в воздух шапки.

Фельдшер Павлов, играя туш, едва не обрывает от усердия струны гитары.

Все бросаются на мост, хотя запрет вступать на него во время испытания доведен до всеобщего сведения. Часовым и несколькими добровольцам с трудом удается отеснить рвущихся людей. Федор Денисович в окружении членов комиссии покидает мост. Он ничего не подозревает, хотя его прошлый опыт должен был бы ему подсказать, что его ожидает сейчас. Как только он ступает на насыпь, дюжина крепких рук под ликующий рев всех участников торжества подхватывает его и подбрасывает в воздух.

— Еще-о р-раз! Еще-о р-раз! — кричат сотни голосов, и профессор снова и снова взлетает в воздух.

Когда же его осторожно ставят на ноги, старик ногтем большого пальца вытирает что-то в уголках глаз и растерянно бормочет:

— Спасибо, ребята... Спасибо, дорогие...

XXI

«Шольц, что вы здесь делаете?»

Это Дратвин, мой начальник. Реальный начальник, а не мнимый.

«Возьмите себя в руки, Шольц. Вы что, никогда не видели трупов?»

Ах, видел, видел. Много видел. Но те люди умирали не по моей вине или же это были трупы наших врагов.

«Неужели он для тебя так много значил, Андрюша?..»

Ну ладно, оставим это. Теперь нужно кое-что выяснить по существу. Ты можешь пойти со мной?»

Да, могу. Комиссар Дратвин — это мой начальник. Реальный.

Мы выходим из вагона. Мне не видно земли, я опускаю ногу, а мне кажется, будто подо мной морское дно, потому что туман, который нас окружает, так густ и чужероден.

Я бреду за комиссаром Дратвиным, бреду сквозь этот чужеродный элемент. Я едва различаю кожаную тулупку Дратвина на расстоянии двух шагов. Я слеую за ним, но мысли мои текут своим особым путем. Я должен все проверить от начала до конца, шаг за шагом...

РАЗНОГЛАСИЯ

Испытательный поезд с балластом стоит на мосту. Воздух чист, тепел и влажен. Вокруг сигнальных фонарей часовых в бархатной черноте ночи образуются мохнатые световые шары.

— Андрей Карлович, почему вы не спите?

— Ах, Нестеренко, ночь так хороша. Как там дела, на мосту?

— Все в лучшем виде. Мои ребята мышцы не дадут проскользнуть.

Мои тоже, мог бы я добавить. Командир отделения рассказывает мне что-то из своих военных приключений, но я не могу уследить за нитью его рассказа. Вдруг резко, как выстрел, начинает шипеть клапан локомотива, — наверное, машинист проснулся и решил спустить немного пара. И снова тишина.

...Поезд после двадцати четырех часов пробы моста под нагрузкой съезжает с него, потом снова въезжает на мост, проходит по нему несколько раз, понемногу прибавляя скорость.

Комиссия собирается у начальника строительства, чтобы подписать акт о сдаче моста в эксплуатацию. После недолгого совместного обеда она уедет с испытательным поездом, который выполнил свою задачу и покидает наши пределы. Члены комиссии торопятся, чтобы провести воскресенье в кругу семьи. Только Дратвин остается.

Многие из взявших расчет просят у комиссии разрешения уехать с этим же поездом. Им не отказывают. Деревянные чемоданы, постельные узлы взлетают на тормозные площадки платформ — никто не претендует на удобства зеленого пассажирского вагона. Ко мне подбегает красный от возбуждения Прокопыч — буденовка на затылке, поредевшие черные волосы растрепаны и мокры от пота.

— Прощай, Андрей Карлович, и не поминай лихом. Я тебя вовек не забуду!

Потом меня находит Семен Шундик, он тоже прощается. Работал до конца, но ехать с нами на восстановление нового моста — нет, из этого ничего не выйдет. Пойдут дети, тут уж лучше сидеть в деревне. Но в душе он останется рабочим. Понял, что рабочий — главный человек в стране. Он благодарит меня за науку и в знак благодарности — сам никогда бы не догадался, это Ганна сообразила — протягивает оципанного гуся, завернутого в расшитое украинское полотенце...

Вот и убыл испытательный поезд, и наша территория выглядит совсем осиротелой. Только теперь становится заметно, как немного нас осталось.

Идут последние приготовления к нашему отъезду. В вагоны погружаются ящики. Сами вагоны приводятся в подвижное состояние, смазываются буксы, проверяются тормозные устройства. На понедельник заказан паровоз, который повезет ремонтный поезд № 47 к его новому месту назначения.

Но до этого дня надо еще пережить воскресенье. А в это воскресенье будет сыграна свадьба начальника участка, бывшего офицера Бориса Кушна с дочерью начальника поезда, табельщицей Лилей Ковровской.

Предстоит и еще одно важное событие. По мосту должен пройти первый товарный поезд, который повезет промышленные изделия из Харькова в С.

...Фельдшер Павлов не спеша направляется в клубный вагон. Он и Мишка Парфенов хотят подготовить помещение к завтрашним свадебным торжествам. Мы с Дратвиным вдвоем сидим в нашей теплушке. Запах карболки из «клиники» сегодня особенно резок, — может быть, тут дело во влажности осеннего воздуха?

— Ну что ж, испытания прошли без сучка, без за-

доринки, это так,— говорит комиссар Дратвин. Он сидит на моем топчане и болтает короткими ногами в хромовых сапогах, его непропорционально большое туловище раскачивается туда и сюда, а топчан отвечает на эти телодвижения немилосердным скрипом.— Но это еще ничего не доказывает. Если что-то готовилось, то вовсе не обязательно это должно было быть назначено на день испытаний.

— Но где доказательства, доказательства, Григорий? Ведь нет никаких убедительных доказательств!

— Вот когда мост взлетит на воздух, тут ты и получишь свои доказательства.

— Вздор все это! Я сижу здесь два месяца и знаю условия, знаю людей..

— Да, мне известно, ты рассматриваешь свое пребывание здесь как потерянное время.

— Так оно и есть. Что мы имеем в смысле осязаемых улик, кроме...

— Не кажи «гоп», пока не перескочешь.

— Кому-то мнутся призраки!

— У призраков есть руки и ноги.

— Чего ты конкретно хочешь?

— Кунина надо взять. Из соображений безопасности.

— Как? Взять человека просто так, на всякий случай?

— Ах, да, ведь мы такие нежные барышни, мы не желаем прикасаться к определенным вещам, а желаем, чтобы наши ручки были чистенькими. У меня такое впечатление, что если бы речь шла не о Куnine, а о ком-то другом, твое возмущение не было бы таким яростным.

— Ну и что? Я знаю Кунина как безупречно порядочного человека.

— Порядочный — непорядочный... Ты рассуждаешь как обыватель, совершенно лишенный классового сознания.

Арестовать Кунина? Ни за что!

— Ты знаешь достаточно хорошо, как обстоит дело с моим классовым сознанием. Но никакой классовый подход не оправдывает аморальных действий.

— Мораль тоже бывает классовой.

— Может быть, но какие-то общепризнанные нормы должны существовать. Во всяком случае, для нас, если мы хотим и в этом отношении отличаться от наших врагов.

— Философствовать легко. А нам нужно действовать.

— Мы действуем. Мост под охраной.

Мой топчан продолжает жалобно скрипеть. Мне его жаль, я привык к нему, как к живому существу.

— Ну, знаешь ли, Андрей... Ты хочешь, чтобы за тобой осталось последнее слово. Это объяснимо в виду твоей молодости.— Дратвину тридцать четыре года.— Ты хочешь быть честным и ничем не запятнанным, хорошо. Но, может быть, ты еще не в полной мере ощущаешь всю тяжесть ответственности, которая лежит на нас. Мы первые, кто решился взять на себя задачу огромных преобразований, и мы должны доказать, что эти преобразования возможны, чего бы это нам ни стоило. Если мы потерпим поражение, то все будет потеряно и для других. Мы должны выдержать и победить любой ценой.

— Надо ли нам самим с самого начала стремиться к тому, чтобы эта цена была как можно выше?

— Слишком многое поставлено на карту, чтобы заниматься крохоборством. Или, может быть, ты считаешь, что лучше красиво проиграть, чем некрасиво выиграть? Конечно, и мне хотелось бы, чтобы все шло гладко. Но что делать, если отсутствует ясность? Жизнь — это не детские игрушки и не чертеж на ватманской бумаге.

Снаружи поскрипывает песок под чьими-то шагами. Перед нашим вагоном Павлов и Мишка Парфенов жelaют друг другу спокойной ночи. Дратвин поднимается и смотрит на часы.

— Ну ладно, предположим, что у нас еще есть время. Сегодня поезда не будет, как ты считаешь?

— Еще не кончили погрузку, а потом пока составят... Раньше, чем завтра к обеду, едва ли он появится, если верить сообщению.

— Ну ладно, надо ведь немного и поспать.

— Ты можешь спать у меня, топчан в твоём распоряжении, а я лягу на полу.

— Вовсе незачем, я и в конторе прекрасно устроен.

Так что приятных сновидений, Шольц. Утро вечера мудренее. Отдыхай.

Но отдохнуть мне не удастся, у Павлова снова приступ кашля, а потом меня опять начинают донимать все те же сомнения, не раз уже терзавшие мою душу: по плечу ли мне вообще та роль, которую я взял на себя?..

Едва только в окошке забрезжил рассвет, я встаю с постели и потихоньку, чтобы не разбудить Павлова, выхожу из вагона.

Меня поражает какая-то необыкновенная тишина. То ли это оттого, что птицы улетели, то ли повинен в этом сгущенный влажный воздух?

Вдруг я вижу фигуру человека, поспешно идущего вдоль поезда в моем направлении.

— Доброе утро, Андрей! — окликает меня Кунин. — Как хорошо, что я тебя встретил. Не сможешь ли ты мне поставить на рельсы зеленую дрезину?

— Дрезину? Зачем?

— Мне надо срочно съездить в город. Начальство разрешило.

— А я нет.

— Ха-ха, ты шутишь, Андрей, а я по-серьезному.

Мы разговариваем вполголоса, невольно приспособившись к окружающей тишине, да и не хотим тревожить спящих товарищей. Влажная прохлада заставляет нас обоих зябко поеживаться.

— А что тебе нужно в городе?

— Могу тебе сказать: я должен добыть цветы.

— Цветы?

— Ну да, цветы! Для свадьбы. Для невесты, если быть точным. Ты разве забыл, что сегодня моя свадьба?

— Нет, этого я не забыл. Но зачем же в город? Разве здесь нельзя найти цветов? Мог бы лилий нарвать в реке, даже подходит к ее имени.

Мне приходится пожалеть о сказанных словах, потому что Кунин меняется в лице и произносит одеревеневшими губами:

— Нет, нет, с лилиями уже другие пробовали. Кроме того, к свадьбе полагаются не лилии, а красные розы.

Он опять старается говорить спокойно и дружелюб-

но, мгновенную вспышку ревности ему как будто удается сразу подавить.

— А в городе где ты сейчас достанешь розы?

— Я знаком с одним садовником, у него есть все, что хочешь, и в любое время года.

— Так-так. Я бы все же тебе не советовал.

— Никак невозможно, Андрей. Обо всем уже договорились. Мне надо немедленно выехать, два часа туда, два обратно, час в городе, сейчас у нас шесть, к одиннадцати я должен вернуться. В двенадцать начало. Так ты мне поможешь поставить дрезину на рельсы?

Душу мою разрывают сомнения. Кунин для меня вне всяких подозрений. Но я не могу забыть о разногласиях с Дратвиным. Я всегда полагался на Дратвина, его мнение было для меня всегда, можно сказать, законом, и я ни разу не пожалел об этом. Но теперь я не могу принять его точку зрения. Он ошибается, в этом я твердо убежден. С другой стороны, я не могу, не смею пренебречь его мнением. Впрочем, только мнением. Приказа я не получал.

На какое-то мгновение приходит мысль: да что тебе этот Кунин, сделай так, как хочет Дратвин! Но я тут же гоню прочь искушение: нет, Кунину надо предоставить свободу действий. Что-то подсказывает мне такое решение, что-то подсознательное, что я не могу определить. Или не хочу.

— Но ты точно вернешься к одиннадцати часам, Борис?

— А что же ты думаешь, я тебе поручу вместо меня выступать женихом на свадьбе?

Кунин показывает часовому, стоящему на тормозной площадке цистерны, подписанное Ковровским разрешение на пользование зеленой дрезиной, и мы подходим к ней. Тяжелая, однако, эта штука, мы вынуждены дважды передохнуть, прежде чем нам удастся перенести ее на десяток метров от тупика до проезжей колеи.

Лихо, в приподнятом настроении, Кунин взбирается на сиденье дрезины. На нем по-прежнему старая офицерская форма, которая в туманных предрассветных сумерках кажется черной. Его фигура выглядит длинной, тонкой и гибкой, как у саламандры, как у незем-

ного, сказочного существа. Он нажимает на рычаг, зеленая дрезина трогается с места.

На расстоянии двадцати метров я еще вижу, правда уже несколько смутно, как он останавливается перед часовым, охраняющим въезд на мост, показывает ему пропуск. Потом он исчезает в утреннем тумане. Слышен только стук колес по стыкам рельсов на мосту, он раздается громко и резко, словно удары по пустой железной бочке.

И тут мне на ум приходит почему-то этот дурацкий стишок:

Лихо вспрыгнул граф влюбленный
На коня, тряхнул glavой
И помчался к нареченной,
Прямо в замок родовой.

XXII

Ну что еще хочет он мне доказать?

Его кожаная куртка маячит впереди и указывает мне путь.

Я боюсь предстоящего разговора.

Собственно, почему? Кто и в чем может меня обвинить?

Пожалуй, надо бы даже радоваться, что меня никто и ни в чем обвинить не может. Да никому вообще и в голову не придет возлагать на меня ответственность за происшедшее.

Ах, какая разница, ведь я-то все равно не перестану считать себя ответственным!

Да, надо было послушаться Дратвина!

ТУМАН

Туман окутал землю. Мягкий и непроницаемый, он, словно вата, спрятал от взора холмы и долины. В его царстве все выглядит по-иному, мертвые предметы и живые существа.

Перед служебным вагоном я встречаю Мишку Парфенова. Я понимаю, что это Мишка, но едва могу его узнать. Лицо его землисто-бледного цвета, с резкими

складками вокруг глазниц, черными, как у горняка, поднявшегося только что из угольной шахты. Я никогда не замечал у Мишки Парфенова морщин возле глаз.

— Пошли, Андрей Карлович, я покажу тебе, как мы убрали клуб.

— Миша, но ведь ты против буржуазных предрассудков и обычаев.

— Когда женится такой человек, как Боря Куниц, Мишка Парфенов готов на уступки. Даже попа принимаю.

— А что, и поп уже здесь?

— Ага, сидит в вагоне-общезитии и хлещет самогонку с Юзеком Пионтковским.

По подножкам служебного вагона сходит профессор, за ним следует комиссар Дратвин. Все вместе мы идем осматривать клуб.

— Поезд пройдет здесь в одиннадцать тридцать,— сообщает мне Дратвин.

— В таком тумане поезд определенно опоздает,— поясняет профессор.

Мишка с Ковровским взбираются в клубный вагон, мы же с Дратвиным отстаем.

— В такой туман чего только не может случиться,— говорит Дратвин.— А снизу мост охраняется?

— Там Пауль бродит с удочкой от опоры к опоре.

— Можешь на него положиться?

— Как на себя самого.

Лицо Дратвина в этом тумане тоже выглядит совсем по-другому, оно стало темным и невыразительным, как маска.

Мы поднимаемся в клубный вагон. Керосиновые лампы на стенах легонько потрескивают, это от влажности воздуха— в стеклянном кожухе лампы взрываются микроскопические капельки тумана, попавшие туда.

— Как в церкви!— говорит тетя Паша с восторгом.

Перед сценой с поднятым занавесом стоит стол, покрытый красным полотнищем. Стены украшены красными флажками и веточками сосны, излучающими хвойный аромат.

— Почему, собственно, хвоя?— говорит профессор.— Разве это подходит к свадьбе?

Ему никто не отвечает.

— Здесь сядет секретарь сельсовета,— указывает Мишка на место за столом.— А после гражданского обряда пусть приходит поп.

— Вы последите хорошенько за этим попом,— говорит профессор.— Это таковский, он уже пьянствует в общем вагоне.

Не пойму, что со мной происходит. Все говорят будто чужими голосами. Может быть, у меня жар?

Снаружи кто-то стучит твердым предметом по стенке вагона.

— Эй, люди, есть там кто-нибудь?

Мишка открывает дверь, выглядывает. Нагибается и протягивает руку, втаскивает в вагон мужчину небольшого роста и худого, словно бы высохшего, с деревянной ногой и с костылем в руке. Под мышкой другой руки мужчина держит большой журнал в картонной обложке.

— Привет честной компании и каждому в отдельности,— провозглашает мужчина.— Вы вызывали секретаря сельсовета? Вот это я и есть, Цуркин Григорий Артемович.

Он подает каждому из нас сухую, горячую ладонь, которая затвердела от постоянного общения с костылем, и всякий раз представляется своим полным именем. Его клюка глухо стучит по устланному хвоей деревянному полу вагона.

— Вот, значит, так,— говорит секретарь сельсовета громко, высоким, по-птичьи щебечущим голосом.— Вот это хорошо, это правильно. Хорошо, замечательно тут убрали, ах, прекрасный дух! А на улице, ох, там совсем паршиво. Туман, туман на улице, да такой страшный, что я чуть было не заплутался! Ну вот, тут моя регистрационная книга, кто желает, может сразу записаться, пожалуйста, прошу! Тут разговор будет о вступлениях в брак, так я понимаю?

— Речь идет об одном вступлении в брак,— говорит профессор.

— Ну что ж, не обязательно, чтобы сразу все. Это мы сделаем! — Секретарь сельсовета подмигивает одним глазом и всей своей щуплой фигурой выражает величайшую готовность пойти нам навстречу.— Давайте сюда жениха с невестой! — требует он, озираясь

вокруг вопросительно, и задерживает свой взгляд, хотя и несколько нерешительно, на профессоре и тете Паше.

— Дорогой мой,— говорит Федор Денисович,— вам придется уж немного повременить. Дело в том, что жених с невестой еще не совсем готовы.

— Это не беда, пожалуйста. Погодите так погодить.— Цуркин садится за стол.— Подождем, что ж тут такого? Может, с кем в шашки сыграем?

Мишка уводит разговорчивого секретаря сельсовета в общий вагон, профессор, взглянув на часы, возвращается к себе. Интересно, а чем сейчас занята невеста?

Мы с Дратвиным остаемся возле клубного вагона, только отходим от него на несколько шагов, чтобы наш разговор не был слышен внутри.

— Где Кунин? — спрашивает он.

— Кунин поехал в город.

— Как в город?! — едва сдерживает он свой гнев.—

С какой целью?

— Поехал за цветами.

— Ка-ак? Это я сошел с ума, или...

— В одиннадцать часов он будет здесь.

— Ах, так, ты уверен? Но если он действительно вернется, то будет немедленно арестован.

— Только не при моем участии.

— Вы будете действовать согласно приказу, товарищ Шольц.

— Слушаюсь, товарищ комиссар.

Дратвин нервно поглядывает на часы:

— Уже скоро одиннадцать. Ты что, не смог помешать?

— Чему?

— «Чему»! Его бегству!

— Это не бегство.

— Если он не вернется, ты будешь отвечать перед трибуналом.

— Он вернется.

— Предположим. Но тогда не с пустыми руками. Ты говоришь, он поехал за цветами? А не за красивенькими баночками из-под молока от «АРЫ»?

В этот момент Дратвин мне почти ненавистен. Если бы он только знал, как мучительно мне все это!

Неожиданно рельсы проезжей колеи, между которыми мы стоим, начинают петь, слышится пыхтение паровоза, и вдруг где-то совсем близко раздается длинный, предупредительный свисток. Едва мы отскакиваем в сторону, как перед нами вырастает из тумана черный, пышущий жаром железный великан.

Это едет первый товарный состав!

Словно мановением волшебной палочки он заставляет нас обоих забыть о нашем споре, мы громко смеемся от радости, размахиваем фуражками, выкрикиваем какие-то приветствия железнодорожникам, хотя никого из них не видим, затем начинаем считать вагоны: два... пять... двенадцать... шестнадцать... двадцать... двадцать три! Ого! На открытых платформах неясно различаются контуры плугов и сеялок, мы их скорее угадываем, чем узнаем. Вот это оно и есть, за что мы боролись! Ур-р-а-а!

А поезд между тем уже въезжает на мост, грохот его колес становится еще громче. Скорость кажется мне, пожалуй, чересчур высокой, да еще в таком густом тумане, но поезд уже миновал мост, его почти уже и совсем не слышно, на каком-то расстоянии туман глушит все звуки.

И тут раздается выстрел.

Мы не сразу понимаем, откуда он прозвучал.

Но в эту минуту нас ничто не может беспокоить больше, чем мост.

Мы бежим к мосту с револьверами в руках.

Нестеренко присоединяется к нам, его красноармейцы с винтовками наперевес тяжело топают следом.

Постовой на северном конце моста рукой указывает на другую сторону.

Когда мы уже находимся на другом конце моста, впереди раздаются один за другим еще два выстрела. Мы мчимся что есть духу вдоль рельсов...

Часовой стоит перед нами с опущенной головой, свою винтовку он держит за ремень одной рукой, повисшей бессильно, как обломанная ветка. В другой руке он держит фуражку.

Возле него стоят незнакомые люди в железнодорожной форме.

На некотором расстоянии мы различаем красный хвостовой фонарь остановившегося поезда.

У ног часового лежит что-то такое, в чем только при напряженном внимании можно узнать человеческие останки. Исковерканные, противоестественно перемешанные друг с другом части тела, обрывки платья, кажушиеся черными. А под откосом, различимая в тумане лишь как бесформенная груда, лежит вверх колесами маленькая дрезина.

— Слышу, поезд приближается, а я как раз был на этом конце моста. Я остановился и пропустил поезд. Как вдруг, когда уже поезд был последним вагоном на выезде с моста, слышу вроде какой-то крик, не так чтобы громкий, но какой-то отчаянный, будто бы кто-то очень уж на что-то жалуется, или как бы сильно переживает в досаде. Тут мне и вспомнись, что Борис Семенович на зеленой дрезине в город поехал, тогда я сразу стрельнул, а сам побежал за поездом. Подбегаю, а поезд в аккурат останавливается, потому что услышали мой выстрел... И вот видим... Тут я еще два раза выстрелил, чтобы наши скорее пришли...

XXIII

Мы бредем сквозь туман, на удалении двух шагов я едва различаю узкую спину в черной кожаной тужурке. Перед нами мост, комиссар Дратвин идет дальше, он вступает на доски, которые проложены для пешеходов. По одну сторону они совсем еще новые, эти доски, но в тумане не видно, какие они еще желтые, какие чистые, настолько чистые, что на них еще можно различить оттиски подошв, но не теперь, туман обволакивает все слоем непроницаемой ваты, и только когда уйдет туман, можно будет увидеть здесь черные следы подошв, а может быть, еще и пятна крови.

Туман... Ничего не видно, надо просто переставлять по доскам ноги одну за другой, следуя за черной кожаной спиной комиссара Дратвина. Реки внизу, под досками, тоже не видно, не видно и досок, просто слышится терпкий запах сосны, да подошвы прилипают порой на каплях смолы, о которых просто известно, что это капли смолы, потому что они так вот липнут и потому что чувствуется смоляной запах, все это известно из прежнего опыта, а вот видеть ничего не дано. Туман...

ПРОЯСНЕНИЕ

И вот мы на месте. Комиссар Дратвин решил измерить расстояние до моста от большого темного пятна на желтом песке, которое можно разглядеть только нагнувшись, измерить это расстояние шагами. После того, как он сосчитал до трех, мне больше не видна его черная кожаная тужурка. Комиссар Дратвин исчезает в тумане.

Я остаюсь один на один с этим большим кровавым пятном на песке, которое невидимо благодаря туману, но тем не менее стоит у меня перед глазами.

Неужели все это правда, а не дурной сон?

Я пытаюсь осмотреться в этой белой пелене, где ничего не видно. Нет, что-то все же проглядывает сквозь белизну, что-то краснеет, похожее на большую каплю крови.

Неужели все это действительность?

Я делаю шаг, другой и третий и наконец могу разглядеть: на краю насыпи, где кончается песчаная подушка и начинается поросший бурьяном скат, на невысоком высохшем кустике сорной травы лежит большой букет красных роз.

Это красивые, пышные розы с крепкими, здоровыми лепестками, их красный цвет не одинаков, каждый цветок имеет собственный оттенок, от почти черного до бледно-розового. Букет плотно увязан красным шелковым шнурком. Стебли тверды и колючи, листья на них сочны, зелены и жестки. Не только по цвету отличаются друг от друга отдельные цветки, но и по запаху.

Я вдруг ловлю себя на тайном желании когда-нибудь тоже добыть такой вот букет, чтобы подарить его той, кто для меня всех милей и дороже.

Как же случилось, что этого букета никто не заметил, когда мы все были здесь? Может, его скрывал туман? А теперь? Разве он поредел?

Я держу букет в руке и представляю себе, как радовался ему Борис.

Я вижу его улыбающееся лицо, его глаза с веселым и в то же время задумчивым блеском, слышу его голос: «Я давно мечтал о таком букете!»

Ах, нет, он же говорил совсем другое: «Я давно мечтал о таком друге, как ты». Да, да, это его собственные

слова. Где и когда он мне их сказал? Как давно все это было!

Да, мы были друзьями. Настоящими, а не для вида. Кем я был для тебя, Борис Кунин? Человеком, перед которым ты мог раскрыть свою душу? Партнером по спортивным утехам, перед которым ты мог доказать свое превосходство? Соперником, чье присутствие подогривало твою готовность к решительным действиям? А ты вступился бы за меня, если бы представился такой случай, если бы надо было чем-то рисковать ради нашей дружбы? О да, благородства тебе было не занимать!

А кем был ты для меня? Чем диктовались мои поступки по отношению к тебе?

Ты был человеком моего склада, замещенным из того же теста. Ты был из тех, кто всегда ищет то, что правильно, а не то, что выгодно, и кто не способен довольствоваться в жизни бессмысленным прозябанием. Ты выбрал свой путь добровольно и сознательно и был всегда готов, как Луи Пастер, на опыты с самим собой, чтобы пробиться к познанию истины. Так вот почему ты всегда был мне так симпатичен: потому что я искал и находил в тебе частицу себя самого.

Но я живу, а ты мертв.

Ах, почему я не посадил тебя под стражу! Тогда ты был бы жив, а ошибка рано или поздно разъяснилась бы...

Но ведь ты никогда не простил бы мне этого!

Простил — не простил, разве это имеет значение перед лицом смерти?

Что не позволило мне так поступить? Не легло ли тут на чашу весов то, что ты любил ту же самую девушку, которая и мне не была безразличной? Была и осталась.

Но не слишком ли далеко я зашел в своем рыцарстве?

Да? Нет?

Ах, бессмысленное копание! Просто иначе я не мог.

Да не мучайся ты так, разведчик Шольц! От случая никто не застрахован, все предвидеть не может никто. Главное — сознание своей правоты.

А что такое правота?

Это то, что исходит от твоего глубокого убеждения.

И тогда все хорошо? Тогда не в чем себя упрекнуть и — никаких терзаний?

Нет, нет, терзания остаются...

Вернулся Дратвин. Мне не следовало бы трогать букет.

— Что это такое? Букет роз? Откуда он взялся?

— Он лежал вот здесь. Мне не надо было бы его брать. Но вот его точное место, так он лежал, как я его сейчас положил.

— Успокойся, Андрей. Конечно же я не подумаю, что ты его наколдовал.

Дратвин молчит. Мы оба смотрим на букет, который лежит точно так, как я его обнаружил,— черенками к пути и цветами к откосу.

— Он возвращается из города на самой большой скорости, которую мог развить,— начинает комиссар Дратвин. Он пытается говорить чисто по-деловому, в служебных тонах, как будто диктует свою версию для протокола. Но в его голосе звучат волнение и печаль.— Потому что он поставил себе целью вернуться до одиннадцати часов.

Дратвин смотрит на часы.

— Он едет в густом тумане, который не только лишает видимости, но и приглушает звуки. Он знает, хотя и не может точно ориентироваться по местности, что скоро должен быть мост. А ты как думаешь?

— Нет, ничего... Да, конечно, все правильно... Он хорошо знал этот участок пути.

— И вот он внезапно слышит сигнал приближающегося поезда. На каком расстоянии, этого он не может определить.

Дратвин достает папиросу, нервно сует ее себе в рот.

— Если бы это был трус,— продолжает комиссар,— он бы прыгнул с дрезины и остальное представил бы произволу судьбы. Но это был не трус.

Дратвин курит быстрыми, глубокими затяжками.

— Значит, ему надо остановить дрезину, а это не легко при большой скорости, на это ему нужно время. Наконец она остановлена, а поезд уже совсем близко, возможно, слышно уже дребезжание рельсов, а может быть, еще нет? Во всяком случае, он не может оставить дрезину на рельсах и таким образом допустить ее

уничтожение, да еще и крушение поезда. Он хочет скинуть дрезину с рельсов, а это трудно, так как весит она добрых двадцать пудов. Но прежде, чем заняться дрезинной, он должен еще найти безопасное место для чего-то, что ему в каком-то смысле не менее дорого, и он кладет букет роз, который везет с собой, на край насыпи. Только после этого он приступает к своей тяжелой работе. У тебя есть возражения?

— Нет.

— Ну вот. Но теперь поезд уже совсем близко. Расстояние до моста — сто сорок шагов. Когда мы с тобой стояли с противоположной стороны на расстоянии двухсот шагов от него, мы вполне явственно слышали шум, производимый поездом при прохождении по мосту.

Дратвин достает новую папиросу, прикуривает ее от первой.

— Таким образом, он точно знал, что поезд уже близко. Тем не менее он не прекращал своих попыток опрокинуть дрезину. И наконец это ему удалось. Но только в самый последний момент. Сам же он отскочить уже не успел. Вот тут-то часовой услышал крик, который звучал как жалоба, в котором было больше досады, чем испуга.

Умолкнув, Дратвин лихорадочно курит.

— Ты говоришь о нем так, будто ты знал этого человека, как самого себя.

— К сожалению, я его не знал, — говорит Дратвин, медленно произнося слова. — Но я знаю тебя. А он был твоим другом.

Мы оба молчим.

— Пошли? — говорю я.

— Погоди, еще не все. — Он протягивает мне клочок бумаги. — Это нашли в нагрудном кармане его гимнастерки. Прочти.

У меня темнеет в глазах. Аккуратные, равномерные печатные буквы прыгают, танцуют и кривляются перед глазами, словно отвратительные маленькие бесенята с длинными ядовитыми змеиными язычками, они строят мерзкие гримасы, мне слышится их хриплое злорадное хихикание.

«...Жалкий шут, ты, наверное, воображаешь себя счастливейшим из влюбленных на свете и готов заклю-

чить священные брачные узы с достойнейшей из юных дев. При этом ты единственный в этом змеином гнезде, кто не знает, что предмет твоих вожделений после того, как охотно оказывал определенные услуги господам офицерам, в настоящее время таким же образом обслуживает твоего лучшего друга...»

Грязная бумажонка падает у меня из рук. Давящая тошнота теснит мою грудь, подступает к горлу, я едва держусь на ногах.

— Пойдем, Андриюша. Возьми-ка вот папиросу. Ну, пошли.

— Какая гадина! Какая гадина!

— Знаешь,— говорит комиссар Дратвин,— у меня иногда создается такое впечатление, что кому-то очень хотелось бы столкнуть нас лбами, чтобы мы сами друг друга уничтожали. Помнишь поговорку: двое дерутся — третьему смешно. И вот тогда придет он, тот смеющийся третий...

Туман заметно поредел, но передо мной все по-прежнему затянуто каким-то матовым покрывалом. Лишь какой-то частью сознания я фиксирую раздробленные, причудливые картины вокруг и не знаю, отвечают ли они действительности или же нет.

Высокий толстый мужчина с красным лицом и густой, развевающейся гривой, в длинной черной рясе бредет вдоль поезда в обнимку с рыжеволосым верзилкой, который кажется мне очень знакомым, они плетутся, спотыкаясь о собственные ноги, и горланят непристойные песни.

Худенький мужчина с клюкой гонится за ними, утихомиривает щебечущим, птичьим голоском:

— Отец Фома, отец Фома, да нешто это годится при твоём сани-то? Негоже это, ох, как негоже!

Профессор — или это Дратвин заговорил профессорским голосом — приказывает, вне себя от гнева:

— Да гоните вы ко всем чертям эту пьяную свинью!

Внизу, где простирается рабочая площадка (почему она стала такой голой и пустынной?), стоит один-единственный брошенный старый верстак. Все решили, что он ни на что больше не годен. А оказалось, что он на что-то еще годен. Черные люди с мрачными лицами окружили старый верстак, бородач в крестьянском зипуне что-то там мастерит, он строгаёт доски и приме-

рвет их друг к другу, потом снимает сапог, который давно уже не соприкасался с ваксой, шарит в его глупине, переворачивает и что-то вытаскивает, — ага, это стружки туда попали. Где же я видел эту окладистую бороду?

— Ни одного столяра не осталось во всем поезде, — жалуется Сильченко. Или это не Сильченко? — Хорошо еще, что этот сельсоветчик знал тут одного.

...В клубе, на покрытом красным полотнищем столе, который был приготовлен для обручальной церемонии, в гробу из свежевыструганных досок лежит покойник. У него желтое, истощенное лицо. Фельдшер Павлов с таким же желтым, как у покойника, лицом шепчет профессору:

— Надо бы поскорей! Ведь тело совершенно искромсано.

— Да, да. Завтра утром мы непременно должны уехать.

Желтый могильный холмик недалеке от большого дуба, там, внизу, где была наша рабочая столовая. Отделение охраны дает три залпа в воздух — прощальный салют.

И вдруг на могильном холмике — букет из красных роз! Откуда он взялся?

Тонкая, закутанная в плащ фигурка быстро удаляется в направлении зеленого служебного вагона.

Разве идет дождь? Да, идет дождь.

Где она была все это время? Неужели здесь, среди нас?

А где я был все это время? Я ни разу ее не видел.

Подходит профессор. Говорит чужим голосом, тихим и хриплым, звучащим как бы издалека:

— Андрей Карлович, вы были его другом. Переходите в наш вагон, давайте ехать вместе. Вы же понимаете, как нужна ей сейчас моральная поддержка.

...В служебном вагоне едет комиссар Дратвин, а я остаюсь с фельдшером Павловым в нашей теплушке. Перед отъездом, когда уже прицепляли паровоз, я наконец собрался с духом и сказал комиссару:

— Мне приходится признать, что я не гожусь для нашей работы. Ты не будешь возражать против моего

ухода? Если нет, то я остаюсь здесь. Строить мосты — это ведь тоже общественно-полезная деятельность.

— Подумай хорошенько, Андрюша,— отвечает комиссар Дратвин.— Ты сам должен знать, где твое место, лучше, чем кто-либо другой. А что касается «гожусь — не гожусь», это ты выбрось из головы. Все мы всего лишь только люди.

Мы едем уже довольно долго. Колеса выстукивают для меня на стыках рельсов: «Ты слаб ду-хом, ты слаб ду-хом!» Я стою в дверях и гляжу на проносившийся мимо ландшафт. Позади меня находится Павлов — он боится сквозняка.

— Что делать, судьбу не переспоришь,— философствует Павлов.— А все-таки странно: хорошие люди, которым бы жить да жить... умирают. А вот всякая дрянь, ну, отпетая дрянь — этой ничего не делается!

Мимо проплывают серо-бурые холмы, долины с то-полями, вязами и орешником, сосновые боры на высот-ках. Иногда нет-нет, да и покажется деревня, окружен-ная возделанными полями. Поля черны, но на них уже проглядывает зелень озимых всходов, как нежные, младенческие волосы земли.

...Поезд замедляет ход.

Скоро город.

Мой начальник Дратвин сойдет в этом городе и будет дальше продолжать свою трудную, ответственную ра-боту. А я останусь здесь, начну строить мосты, я ведь тут хорошо освоился и сжился со всеми, я буду занят полезным, интересным трудом, который мне по душе. Федор Денисович Ковровский прекрасный человек, я ему симпатизирую. Да и он хорошо относится ко мне. И не только он.

Федор Денисович сказал, что она нуждается в моей поддержке. Значит, я нужен ей, не так ли?

А может быть, действительно, такова воля судьбы?

Да и почему именно я должен делать эту трудную, порой неблагодарную работу, где все время надо дер-жать на прицеле врагов, вместо того чтобы спокойно трудиться вместе с друзьями?

Дезертирую? Ах, зачем же так, все мы в конечном счете работаем вместе, для общей цели! Я останусь

здесь, а на мое место придет кто-то другой и, возможно, сумеет лучше меня делать эту тяжелую, ответственную, опасную работу.

Лучше меня, лучше меня...

А что означает делать лучше? А вдруг он не будет ее делать лучше? Вдруг он столкнется с трудностями и, подобно мне, не будет знать, как их преодолеть, и когда ему прикажут действовать, он, подобно мне, не будет знать, как?

...Запах мазута ударяет в ноздри, вагон запрыгал на стрелках. Здание депо, порожние составы, длинный ряд заржавелых, отслуживших свой срок паровозов. Большой железнодорожный узел.

Поезд останавливается.

Внизу, у вагона, появляется Дратвин.

— Ну, Шольц, так как ты решил? Остаешься или идешь со мной?..

The title 'ТАКОЕ ДОЛГОЕ ЛЕТО' is written in a bold, white, sans-serif font, stacked in three lines. The text is centered within a dark, circular area filled with dense, black, diagonal scribbles. Below the main title, the word 'РОМАН' is written in a smaller, bold, black, sans-serif font.

**ТАКОЕ
ДОЛГОЕ
ЛЕТО**

РОМАН



НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ



Прежде чем я решился доверить бумаге эту правдивую историю, мне пришлось преодолеть целый ряд препятствий как внутреннего, так и внешнего свойства.

Говоря о внутренних препятствиях, я имею в виду свои собственные сомнения. Ну хорошо, думал я про себя, вот ты сейчас пишешь книгу, раз уж проклятый фурункул вынуждает тебя сидеть дома (правда, с известными неудобствами), но когда ты снова оседлаешь свой трактор, не перестанут ли твои коллеги принимать тебя всерьез? Это одно, а кроме того, мне известно еще со школы, что литературное произведение должно быть в чем-то поучительным, иными словами — должно куда-то звать или как бы вести. Вот я и задавал себе вопрос: ну ладно, прочтут люди эту твою писанину, чему же они при этом научатся или куда устремятся?

Препятствия внешние начинались с моей жены: «Тебе уже мало день и ночь книжки читать, теперь ты взялся сам романы писать, а кто будет картошку окучивать?»

Но ни трактористы, ни моя жена не доставляли мне столько колебаний, сомнений, как мои будущие читатели. «Откуда мог он это все знать? — скажет какая-нибудь критически мыслящая личность. — Никак не мог он при всем этом присутствовать». Но я этому хитроумному критику отвечаю следующее: кто стремится к познанию, тот узнает еще и не такое, а не то что происшествя в собственном селе до малейших подробностей.

ибо, как говорят, земля слухом полнится и на чужой роток не накинешь платок.

Кто-нибудь выскажется, чего доброго, еще обиднее: «Не мог он сам этого сочинить, наверное, где-нибудь списал». Поди докажи такому злоязычнику, что это не так. Даже о хороших писателях говорят, что они находятся под влиянием того или иного еще лучшего автора из прошлых времен. И я со своей стороны совершенно не собираюсь отпираться: конечно, мне никогда и в голову бы не пришло что-нибудь сочинять, если бы я до того не проглотил несчетное количество книг: такая уж у меня страсть, вроде как у других пиво или рыбалка. Но чтобы перенимать науку у какого-то определенного писателя, нет, это уж вы бросьте.

Предвижу еще один упрек: в том, что я односторонне осветил то или другое событие. Да, это верно. Тут уж ничего не возразишь. Чтобы освещать события всесторонне, надо иметь не такую голову, как у нас, грешных. Что поделаешь, каждый пишет то, что знает, даже когда пытается писать о том, чего не знает.

Свое большое преимущество я вижу в том, что ничего не придумываю. Мне известно от людей высокого образования, что у каждого писателя, когда он берется за перо, главная забота — это как сделать свое сочинение похожим на правду. Правдоподобие необходимо, говорили мне, чтобы вызвать у читателя интерес — единственное средство заставить его читать твои сочинения, пока они еще не вошли в школьные программы. У меня же этой заботы нет и в помине, так как все то, что я пишу, и есть чистейшая правда.

Велико было у меня искушение несколько причесать описываемые события применительно к позднее выявившимся взаимосвязям, как это нередко делается у других авторов. Но нет, сказал я себе, какой прок будет читателю от того, что ты продемонстрируешь перед ним свое приспособительное искусство. По этой части он видал уже кое-что и почище. Так что возьмем за правило, решил я, сообщать только факты, какими бы противоречивыми они ни были.

И все же в одном я чувствую себя не совсем уверенно. «Откуда он может знать, что думали те или иные лица в тот или иной момент?» — спросит критически настроенный читатель с иронической улыбкой.

Что правда, то правда. Я не смог обойтись без попыток воспроизводить по ходу действия мысли людей. Но мне кажется, что я достаточно хорошо знаю своих героев, чтобы позволить себе такую вольность. В конце концов, этим занимаются все писатели, причем даже по отношению к людям, с которыми они никогда в жизни не встречались.

Итак, моя скромная задача состоит в том, чтобы изложить в соответствии с фактами события, происшедшие в нашем селе, правда, уже много лет назад (видите, насколько задержала меня отмеченная выше внутренняя борьба, о которой я не считал возможным умолчать?). Если же в отдельных местах я все же буду вынужден воздерживаться от точного воспроизведения происходившего, то лишь затем, чтобы избежать в прямой речи выражений, которые в печатном виде произвели бы несколько странное впечатление. Нет-нет, дорогой читатель, это не то, о чем вы подумали. Просто наречие в нашем селе такое, что не для каждого уха. Крупные специалисты диалектологи приезжали к нам, чтобы выяснить, откуда произошли и как сложились наши речения, но им пришлось уехать с пустыми руками. Видно, все же имеются на свете задачи, до решения которых наука еще не доросла.

Если кто-то после всех этих признаний все еще не исполнился доверием к моему произведению, тот лучше пусть сразу отложит его в сторону. С остальными же мы рука об руку пойдем вперед, навстречу забавным приключениям, а также глубокомысленным откровениям, которые, чем черт не шутит, может быть, все-таки несут в себе что-то поучительное.

Ого, не наобещал ли я лишнего? «Ну-ка, ну-ка, что же последует теперь, после такого количества болтовни?» — подумает читатель. Не бойся, друг читатель, уж как-нибудь мы с тобой не останемся внакладе. Даже моя жена сказала, когда я ее силком заставил наконец прочесть эти вступительные строки: «Эт-ты чего, небось хочишь рассказать историю про этот продавленный мостик? Ну, эт была комедь почище как у Образцова в евонном кукольном театре».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

в которой читатель знакомится с главной героиней, а также узнает про мост, требующий ремонта

Фрида Карловна Лёвен ввиду болезни не выходила из дома. Обычно ей было не до того, чтобы подумать о себе. Только заболев,— а это случалось редко,— занималась она в мыслях самой собой.

Сейчас был как раз такой случай. Она лежала на диване в своей «хорошей комнате» (чтобы называться гостиной она была именно недостаточно хороша), одетая во фланелевый халат и толстые шерстяные носки, укрытая зеленым, в клетку, шотландским пледом, который прислала дочь к ее предпоследнему дню рождения, то есть всячески утеплившись, хотя вообще то время было еще летнее.

«Это хорошо,— думала она,— что я еще много лет назад настроилась на превращение в старуху. Когда мне не было и сорока, я себе говорила: вот скоро тебе сорок, значит, ты старуха и не воображай себе лишнего, вся твоя жизнь — это работа, работа и еще раз работа, пока хоть с ней еще ладится.

А теперь мне скоро пятьдесят, но я давно себе внушила, что мне уже пятьдесят, то есть что я уже совсем старуха. Имею замужнюю дочь. И чистая случайность или же акт милосердия с ее стороны, что я еще не стала бабушкой.

Дочь уехала в город к своему мужу, а почему бы ей и не уехать? И вот я осталась совсем одна, старая одинокая женщина...»

Она вытерла слезу в уголке глаза, хотя вообще-то ей было несвойственно жалеть самое себя. Это, наверно, под действием повышенной температуры вдруг она как-то сосредоточилась на самой себе и размякла.

Да, жизнь прошла, думалось ей. Как, когда это случилось? Она вспомнила себя совсем юной девчонкой, семнадцатилетней выпускницей школы, как будто все это было только вчера...

«Первая любовь — какая наивность! Парень, который из нашего медвежьего угла вырвался в широкий мир,— способный, красивый парень,— как я его ждала обратно!

Но было бы просто странно, если бы он вернулся ради какой-то сельской библиотечарши, одержимой комсомольской активистки, у которой вместо любви только агротехмиимум да собрания были на уме. Ах, почему я не была с ним нежнее?

Нет, прочь, прочь эти ненужные мысли!

Потом я все же была в какой-то степени счастлива. Йоганн был во всех отношениях достойным человеком. Если бы не тот несчастный случай там, на дальнем севере, в глубоком тылу, я бы и сейчас чувствовала за собой его сильную, бережную руку. Но Йоганна больше нет, а дочь, единственная дочь, уехала в город к своему мужу. И вот уже три года, как я совсем одна в этом старом доме...»

Кто знает, как долго еще Фрида Лёвен предавалась бы этим грустным размышлениям, если бы в дверь вдруг не постучали. Она отбросила шаль и нацупала ногами домашние туфли с меховой оторочкой. В комнату вбежала стройная девушка с папкой под мышкой.

— Тетя Фрида, лежите, не вставайте! Тут несколько бумажек на подпись, только и всего. Ну как, вам лучше?

— Ах, это ты, Валентина!..

Председательница колхоза не очень-то жаловала свою секретаршу, вернее сказать, она ее не переоценивала. Тем не менее она была рада ее приходу — как-никак разнообразие.

— Должно быть лучше! Завтра прииду в контору. Не время сейчас болеть-то.

Тетя Фрида — будем уж и мы по примеру молодежи называть ее так — села к столу и протянула руку за толстой многоцветной шариковой ручкой. Одним глазом она проверяла бумаги, другим же косилась на открытое окно, потому что снаружи доносились приглушенные голоса, хотя никого и не было видно.

— Тут вот счет от райэнерго за электроэнергию... А это ведомость на выплату аванса колхозникам... — давала пояснения Валентина.

Пока что шариковая ручка выполняла свою работу без запинки.

— Это тоже насчет денег. Строители аванс просят.

Тетя Фрида насторожилась, строго взглянула на секретаршу снизу вверх, шариковая ручка запрыгала на месте.

— Это какие такие? Небось те, которые с коровником волынку тянут? Они же ничего еще не сделали, за что деньги-то?

— Я... я не знаю, тетя Фрида.

Валентина начала заикаться. Да оно и не мудрено, потому что в голосе тети Фриды зазвучал металл.

— Она не знает! Зачем же мне такие помощники, которые ничего не знают?

Но произнесла эти слова тетя Фрида просто так. В действительности она была, пожалуй, довольна своим секретарем. Девчонка по крайней мере не теряла бумаг, а разве этого мало? Умные же секретари нужнее всего тому, кто сам не очень-то головой варит. Что же до нашей председательницы, то о ней такого определенно не скажешь.

Миловидная головка Валентины налилась краской и, казалось, даже начала излучать жар, прямо как паровой котел, настолько интенсивно шла там, внутри, умственная работа.

— Ой, знаю! Бухгалтер говорит, что они говорят, что им стройматериал доставать надо.

— Врут они все. Материал им весь даден. Это кто же у них там за главного, уж не иначе как преподобный Шифбауэр?.. Ну вот, так я и знала. Ни копейки медной они у меня не получают, пока работу не кончат! А то пропьют денежки, и взятки гладки. Ох, до чего же я не люблю пьяниц, в порошок бы их стерла! Не подпISHу, давай, что там дальше?

— Дальше? Вот тут бумага из райисполкома относительно ремонта моста...

— Какого еще моста? Дай сюда.

Бумага из райисполкома требовала более пристального внимания. Тетя Фрида погрузилась в чтение, и по выражению ее лица можно было определить, что особого удовольствия она при этом не испытывала. В наступившей тишине разговор за окном стал слышен еще явственнее, изредка доносился приглушенный смех.

— Пусть войдут,— бросила тетя Фрида, не отрываясь от чтения. Она точно знала, что под окном стоят Валентинины подружки — Роза, или Розьхен, дюярка, и Дора, официантка из чайной. Словно листок клевера, они всегда держались втроем и всюду ходили вместе, если это можно было хоть как-то совместить с требованиями

трудовой дисциплины. Стоило одной из них написать письмо, и все трое бежали на почту, а если одна решила сделать себе завивку, все трое шли к парикмахеру. И только в одно учреждение пока что ни одна из них еще не сходила, а именно в загс. Впрочем, это уж был бы для них последний совместный поход...

Итак, вот они перед нами, эти две из трех граций. Розьхен среднего роста, но немного толстушка, из-за чего выглядит как бы меньше ростом, чем она есть в действительности, краснощекая, как яблочко, с задорно вздернутым носиком и пышными соломенного цвета волосами. Дора высокого роста, могучего сложения, темноволосая, со строгим выражением несколько бледного лица. Самое необыкновенное в ней — это, пожалуй, ее голос. Кто слышал его впервые, тот испытывал потребность оглядеть говорящую еще раз критически с ног до головы ввиду подозрения, не скрывается ли под женской одеждой мужчина, — но нет, все вроде было на своем месте.

Не только по внешности три подруги были так не похожи друг на друга, таким же неодинаковым было и направление их мыслей. Что касается хорошенькой Валентины, то ее заветной мечтой было заполучить мужа, который, во-первых, по закону являлся бы ее нераздельной собственностью, а во-вторых, был бы ни в коем случае не из местных. Почему у нее появилось такое желание, этого никто объяснить не мог, и меньше всего она сама. Так вот ей захотелось, и поэтому для нее не существовало ни одного парня в своем селе, каким бы он ни был красавцем и силачом и уважаемым работником. Валентина чувствовала себя рожденной для города и была твердо уверена, что только там могут проснуться и развиваться заложенные в ней таланты. Она мечтала о высокой культуре, поэтому о более низкой она и знать ничего не желала.

Совсем других взглядов придерживалась скромная и приветливая Розьхен. Она-то знала, что рано или поздно быть ей хорошей женой и матерью семейства, но сама ничего не предпринимала для приближения этого времени. Она была довольна всем, что заполняло ее сегодняшнюю жизнь: своими коровами, своими кавалерами, танцевальными вечерами в клубе, своими подругами, а также и самой собой.

Дора же была недовольна многим и самой собой в первую очередь. Но это было не злое, а деятельное недовольство. Ей все время нужно было затевать что-нибудь, в чем содержались какие-то возможности усовершенствования. Если правда то, что прогресс — творение недовольных, то Дора была создана именно для прогресса. Из трех подруг мысли о замужестве занимали ее, по видимому, меньше всего, однако кто может это точно знать? Во всяком случае, она без колебаний разделяла мнение своих подруг, согласно которому каждый жених в округе представлял собой их безраздельное достоинство и любому покушению на него надлежало давать решительный отпор, даже если ни одна из них не имела ни малейшего намерения этим достоинством воспользоваться.

Таков был этот знаменитый клеверный листок, оказавшийся сейчас в полном сборе в гостях у тети Фриды.

Девчата вежливо поздоровались и скромно направились в дальний угол.

— Да уж подойдите сюда, тетя Фрида не серый волк и вас не съест.

Председательница произнесла эти слова с выражением крайней суровости, ибо проявлять сейчас свое истинное отношение к этим юным вертихвосткам она считала в высшей степени неуместным.

Кто в этой обстановке, как, впрочем, и в любой другой, чувствовал себя лучше всех, так это Розьхен — настолько изобильно природа снабдила ее жизнерадостью. Где для других едва находился повод для улыбки, там Розьхен заливалась смехом на полные десять минут. И едва представлялся хоть малейший случай, она тут же пускалась в разговор.

— Тетя Фрида, если бы вы знали, что мы знаем, что мы знаем! К нам в деревню генерал приехал! Правда-правда, вот чтобы мне провалиться на этом самом месте. Гуля-почтальонша собственными глазами видела, как он в очереди стоял за селедкой. Хотите — верьте, хотите — нет, потрясающую селедку в магазине выбросили, атлантическую, пряного посола, жирненькую и с душиком, мечта, а не селедка, вот чтобы мне провалиться...

Дора, как всегда серьезная и деловая, сочла своим долгом прервать это словоизлияние:

— Закрой рот, Розьхен, разве ты не видишь, что тетя Фрида занята делами?

— Да ладно тебе порядки наводить,— возразила председательница.— Пусть погалдит немного, а то скажу я без шума.

— Говорить полезно для здоровья! — торжествовала Розьхен.— Что вы думаете, тетя Фрида, вот Красавка такая хитрущая, если я с ней все время ласково разговариваю, она дает на два, да что там, другой раз и на три литра больше молока, хотите — верьте, хотите — нет!

«Сладчайшие мгновенья нашей жизни, как ни странно, это те, которые мы обозначаем как потерянное время», — подумала Дора, решив непременно записать эту фразу в дневник. Внимательно наблюдая за тетей Фридой, она заметила, с каким удовольствием та слушала бестолковый щебет Розьхен и с какой неохотой обратилась вновь к бумаге на официальном бланке. У Доры был острый глаз, а также склонность к философским рассуждениям и еще немало талантов, в чем читатель сам будет иметь случай убедиться впоследствии.

— Вам не терпится получить обратно вашего третьего мушкетера в юбке, и поэтому старая, несчастная, больная тетя Фрида должна спешить в делах первостепенной важности,— ворчала председательница как бы всерьез.— Вы вот лучше скажите мне: в чем же там дело с этим мостом и почему райисполком шлет мне эту странную бумагу? Ты можешь мне это объяснить, Валентина?

Нет, Валентина не могла. Зато Дора! Вот уж действительно мастерица на все руки!

— Тетя Фрида, разрешите взглянуть на эту бумажку... Ага, так это же косою Давидка из райпотребсоюза писал, знаю я его стиль. Он еще в школе все свои сочинения формулировал как дипломатические ноты недружественной державе.

Для Розьхен этого заключения хватило, чтобы закатиться смехом на четверть часа, Валентина же, напротив, возмущилась. Да и как она могла безропотно стерпеть это вторжение в свою сферу деятельности?

— Ужасно остроумно! При чем тут Давидка из райпотребсоюза, когда бумага из райисполкома?

— А эту сторону вопроса еще надо изучить,— нимало не смутилась Дора.

— И вообще не важно, кто писал, а важно, кто подписал,— продолжала Валентина.— Вот, пожалуйста, собственноручная подпись председателя.

— Ну, давайте вместе разбираться, читай вслух, все подивимся искусству вашего Давидки-дипломата,— примирительно сказала тетя Фрида...

«Ну, ясно, он сидит, как китайский фарфоровый бог, и марает свои бумажки, а свиньи не покормлены! Божечки, и за что мне такое наказание!»

О-ей, это моя жена, она уже пришла с фермы на обеденный перерыв. Что правда, то правда, давал я обещание между делом выполнить кое-что по хозяйству,— но что? Пусть мне голову отсекут, если я это еще помню.

«На кухне как в свиномнике, полы не мыты, а он себе сидит и пописывает свои истории!»

Голос моей лучшей половины ничего хорошего не предвещает. Тут остается одно: ноги в руки — и бегом в свиномник! Прошу прощения, дорогой читатель, но раз надо, значит, надо. Придется прерваться...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

которая позволяет сделать выводы о некоторых свойствах характера героини, в остальном же лишь только еще больше запутывает ситуацию

Мы оставили наших дам за чтением служебной бумаги, текст которой приводится ниже:

«В соответствии с постановлением райисполкома... номер такой-то, от такого-то числа, такого-то месяца 196... такого-то года... об ответственности колхозов и совхозов за состояние проходящих дорог по принадлежащим им земельным угодиям, коим предусматривается поддержание в исправном состоянии всех видов дорожных сооружений, как-то: проезжей части, насыпей, кюветов, мостов и прочих объектов, настоящим предлага-

ется, ввиду непригодности для дальнейшей эксплуатации моста на 13-м километре дороги между населенными пунктами Зельмановка и Новодворовка, незамедлительно произвести ремонт последнего.

В случае невыполнения вышеуказанного предписания виновные будут привлечены к ответственности...»

— Лягушачий ложок... Ах! — вздохнула Роза.

— Чего? — удивилась тетя Фрида.

— Да мостик, говорю. Это же через Лягушачий ложок! Там еще внизу ручеек, а рядом болотце и такой зеленый-презеленый лужок, и цветочки цветут, а вокруг все кустики, кустики...

— Ах Розьхен, Розьхен, и откуда ты все кустики знаешь? Придется с матерью твоей поговорить, — заметила тетя Фрида. — Так, значит, мостик-то того?..

— Точный факт, — подтвердила Дора. — С неделю назад кто-то его продавил, слышала я у нас в чайной такой разговор.

— А кто его продавил? — допытывалась тетя Фрида.

— Да где же узнаешь, — возразила Дора со вздохом. — Разве он придет скажет: вяжите, меня, злодея.

— И то правда. Одного только я не понимаю... — Вообще-то тетя Фрида понимает все, но если она заявляет, что чего-нибудь не понимает, то тут уж будет стоять на своем, хоть ты ей кол на голове теши. — Одного только я не понимаю: какое отношение имеет колхоз к этому мосту? Дорога не наша. Можете вы мне это объяснить?

— Мы — нет, — сообщила Валентина.

— А я вот могу! — Тетя Фрида выдержала паузу, соответствующую грамматическому знаку многоточие. — Когда по одну сторону были земельные угодия колхоза «Победа», а по другую наши, тогда дорога была за районом. А как только слияние произошло...

— Ах, вот где собака зарыта! — возликовала Розьхен и даже в ладоши захлопала от восторга. Кто ее поймет, чему она радовалась. Такая уж у нее натура.

— Так вот, когда слияние произошло, дорогу общего пользования подсунули колхозу! — Тетя Фрида постепенно распялялась. — Ну и хитрецы!

Имел бы председатель райпотребсоюза Вильгельм Крейслер, в обиходе называемый Василием Ивановичем,

хоть малейшее представление о том, что сейчас происходит в этих стенах, он, конечно, перенес бы свое посещение занемогшей председательницы колхоза Фриды Лёвен на какое-нибудь более подходящее время. Но увы, об этом ему ничего не было известно, и не в моих силах предотвратить все те неприятности, которые возникли для него в связи с этим несвоевременным визитом.

— Войдите! — крикнула председательница, услышав стук в дверь, и слово это прозвучало как боевой клич, словно бы она уже знала, кого случай бросал ей на растерзание в эту предгрозовую минуту.

Невысокого роста, кругленький человечек в пиляпе, но без галстука семенящим шагком весело вбежал в комнату.

— Приветик, Фрида Карловна, как драгоценное здоровье, с одной стороны?

«С одной стороны» и «с другой стороны» — это была излюбленная присказка Василия Ивановича, которую он употреблял кстати и некстати. Привычки такого рода авторы обычно приписывают тем персонажам, которые задуманы как комические, чтобы читатель сразу знал, в каком месте нужно смеяться. В моей же правдивой истории не может быть места авторскому вымыслу. Да я никогда бы и не позволил себе представить нашего уважаемого Василия Ивановича в комическом свете, хотя бы уже из тех соображений, что он много лет занимал у нас пост председателя райисполкома и лишь недавно уступил место молодому, растущему товарищу с высшим образованием. В народе поговаривали на этот счет, что, мол, Василий Иванович начал отставать от жизни, то есть не шел в ногу со временем, поэтому и вынул из повозки. Не знаю, как уж там оно было в действительности, ведь люди часто всевозможные события толкуют по-своему, а станешь выяснять, и оказывается что ничего подобного и даже все совсем наоборот. Так что не будем вдаваться в неизвестные нам подробности, отметим лишь, что многолетняя бурная деятельность на руководящем посту оставила в душе Василия Ивановича неизгладимый след и определила многие его повадки и замашки на много лет вперед, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь. Ну, да, впрочем, ведь и председатель райпотребсоюза тоже не последнее лицо в рай-

оне, так что коренной перестройки от Василия Ивановича, может быть, и не требовалось. Короче говоря, я утверждаю со всей решительностью, что наш председатель райпотребсоюза во всех отношениях достойное уважения лицо, которое нельзя не принимать всерьез. Если же, случалось, он позволял вовлекать себя в ситуации, в которых выглядел комично,— а против этого не застрахован никто в этом мире, какой бы высокий пост он ни занимал,— я, как летописец, ничем тут помочь не могу.

— А-а, легок на помине! — удивилась теть Фрида. — Каким ветром тебя ко мне занесло? По-моему, с дочкиной свадьбы ты этот порог не перешагивал.

Что правда, то правда, еще в бытность председателем райисполкома Василий Иванович совершенно отучился запросто ходить к кому-нибудь в дом. Зная это, Фрида Карловна сразу подумала о какой-то особой причине неожиданного визита. Но Василий Иванович для начала отверг это не высказанное прямо подозрение:

— Может человек навестить заболевшего товарища, как ты полагаешь? Но, я вижу, тут у вас целый женский конгресс собрался. Что стоит на повестке дня, если не секрет?

— Сейчас узнаешь! — теть Фрида уперлась кулаками в бедра. — Тебя нам как раз и не хватало. Ну давай, подходи поближе, мне надо с тобой посчитаться.

— Во-во, уже и завелась! погоди нападать, у меня разговор к тебе есть, как бы сообщение.

Василий Иванович огляделся, ища поддержки у присутствующих. Но где там!

— Знаем мы ваши сообщения, еще как знаем! Все только и метите, как бы у колхоза что-нибудь оттяпать. Хуже нет в райцентре помещаться, всякое начальство так и зарится на колхозное добро. Больно уж много любителей на чужом горбу в рай ездить.

— Какая муха тебя опять укусила? Это ты должна отвыкнуть, товарищ Лёвен, чуть что — сразу обобщать. Что за горб, с одной стороны, какой рай, с другой стороны?

Василий Иванович все еще старался сохранить атмосферу дружбы и взаимопонимания, но добиться этого ему становилось все труднее.

— Вот, получай обратно свою дипломатическую поту! Как мосты ломать, так все, а как ремонт проводить, так колхоз? Как у вас руки не отсохнут от такой писанины!

Крейслер с первого взгляда узнал брошенную ему бумажку.

— А я тут при чем? Ты видишь, кем подписано?

— Я вижу, кем подписано, но знаю также, кем написано и на подпись подсунуто.

— А чем плохо составлено? Все честь по чести. Придется ремонтировать, район тебе не бездонная бочка, с одной стороны...

— А колхоз вам не дойная корова, с другой стороны!

Поскольку каждая из сторон считала свою точку зрения единственно правильной, тональность переговоров все повышалась в соответствии с принципом — кто громче кричит, тот и прав. Тут уж и девчата не могли отказать себе в удовольствии вставить свое слово. Таким образом, вскоре в комнате разыгрался такой галдеж, который сделал бы честь любому птичьему двору. Отсюда не удивительно, что участники дискуссии не обратили никакого внимания на стройного черноволосого мужчину в замасленной спецовке, который неслышно вошел, негромко произнес свое приветствие, справился о здоровье тети Фриды и, не получив ответа, снова скрылся с довольной улыбкой на лице.

Справедливости ради надо еще раз подчеркнуть, что именно Василий Иванович был той стороной, которая пыталась решить вопрос мирным путем.

— Ты постой, не горячись. Давай спокойно разберемся в деле.

Однако тетя Фрида уже «завелась»:

— А что тут разбираться? Всем районом мосты ломают, а колхоз раскошеливайся?

— Да пойми ты простую вещь: раз дорога колхозная, то Госбанк районным органам на этот мост средств не отпустит.

— Да тебе-то какое дело до этого моста?

— Как то есть какое дело? Мне до всего есть дело!

— Вот и не надо было умничать. А то подсунули колхозу общественную дорогу и рады. Теперь как хотите, так и чините. А мне ваш мостик нужен как собаке пятая нога.

— Да что ты говоришь! Как будто твои машины на станцию не ходят.

— Ходят-то они ходят, да только ваш паршивый мосточек низом объезжают, он грузовые машины не выдерживает. Будто сам не знаешь. Вы этот мостик подерживаете только для тех, кто на «Волге» ездит, пыль в глаза пускаете.

Видно, это замечание угодило Василию Ивановичу не в бровь, а в глаз, ибо теперь он включил самый верхний регистр своего речевого аппарата, причем голос его даже пару раз сорвался, как у молодого петуха:

— Не будем заниматься демагогией, товарищ Лёвен! Я вам как член райисполкома официально заявляю, что вас обязали отремонтировать мост, и предупреждаю о вашей полной ответственности.

— Ах держите меня, а то упаду! Ответственности! По этой части вы большие мастера — валить с больной головы на здоровую. Но и мы ведь тоже не вчера родились. Или, думаешь, в адресной книге не разберемся?

— Ага! Вот где выявилась вся твоя натура! Ты всегда только и ждешь случая, как бы других людей скомпро... скомпре... как это говорят? — ошельмовать! Можешь быть спокойна, никто в вышестоящих инстанциях на твою удочку не клюет. Адреса она знает! Вот как была ты еще в школе неговорчивой, так и осталась со своим пережитком!

— Сам ты пережиток окаянный! Перед начальством на задних лапках пляшете, а у самих в районе черт ногу сломит.

Когда сталь наскочит на камень, получается огонь. Конечно, некоторые выражения, да, пожалуй, и вся позиция, занятая нашей героиней в этом споре, не делают ей особой чести. Но я с самого начала взял себе за правило ничего не прибавлять и ничего не убавлять, а рассказывать только правду. Точно так же далек я и от того, чтобы приукрашивать поведение Василия Ивановича при всем моем уважении к нему.

— Тьфу, вот проклятая баба! Это же черт в юбке! Кто с ней свяжется, сам не рад будет.

С этими словами Василий Иванович, покрасневший, пыхтя, как паровая машина, повернулся к выходу.

— Ага, правда глаза колет! Ну и ступай, скатертью дорожка! Запрись в кабинетике, «без доклада не входить»! Канцелярские крысы!

— Тебя и с докладом не впускаю! Лывица!

До сих пор это в общем-то не обидное прозвище употреблялось только в отсутствие тети Фриды. Тот факт, что Василий Иванович теперь обозвал ее этим прозвищем публично, не мог быть истолкован иначе как бесповоротное объявление войны. Надо заметить, что одновременно с этим объявлением, то есть буквально в тот же момент, Василий Иванович был уже за дверью, словно названное им животное уже гналось за ним по пятам.

Тетя Фрида, у которой не было заметно уже ни малейших признаков болезни, и в самом деле кинулась к дверям, словно бы намереваясь настигнуть беглеца, но поскольку за дверью Василия Ивановича уже и след простыл, она бросилась к окну и крикнула, высунувшись наружу:

— Малый горшок быстро закипает!

Итак — объявление войны было подписано и скреплено печатью. Намека на то прискорбное обстоятельство, что он не вышел ростом, Василий Иванович не прощал никому. Еще со школы.

Тетя Фрида огляделась вокруг, словно ища очередную жертву, и, не найдя среди присутствующих никого подходящего, заключила, как бы подводя черту:

— Попросил бы по-хорошему, отчего бы не сделать. А на горло братъ — это с нами не пройдет! Не на такую напал!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой речь идет о вещах будто бы несущественных, однако приобретающих в дальнейшем немаловажное значение

Едва тетя Фрида осталась одна, как ею овладели печаль и раскаяние.

«Хотел со мной о чем-то поговорить. Какое-то сообщение у него для меня имелось. А вдруг что-нибудь важное? Грубиянкой я стала, а это плохое украшение

для женщины, какой бы старой она ни была. Это все от постоянного общения с мужиками, с мужчинами в такой же должности, как и я, с такими же председателями, да еще с начальниками и с подчиненными. Львица, сказал он на меня. Да, с вами сделаешься львицей! Вам только покажи слабинку, сразу на шею сядете. А будешь газелью среди тигров, и сама не заметишь, как сожрут с потрохами. Ах, человек меняется с годами!..»

Но здесь меланхолическое течение мыслей тети Фриды оказалось прерванным. Впрочем, так оно и шло с незапамятных времен: ей не давали даже нескольких минут покоя, все время она оказывалась втянутой в круговорот событий. Это была ее мука, это же было и ее спасение.

Тот самый человек, который заглядывал недавно одетым в замасленную спецовку, теперь явился снова, однако чисто вымытым, причесанным, побритым и даже поодеколоненным, в белой рубашке с короткими рукавами и отглаженных брюках. Он поклонился с обворожительной улыбкой и потянул ноздрями воздух, словно хотел удостовериться, исчез ли уже запах гари.

— А, инженер! Ну что красуешься, как витринный болванчик, садись и рассказывай. Твой рабочий день уже закончился?

— Восемь часов, тетя Фрида, все по закону. Или я чего недовыполнил?

— Ну что ты, я не в этом смысле. Можешь со спокойной совестью ехать кататься на своем велосипеде.

В самом деле, у этого инженера была потешная привычка: он привез с собой из города велосипед необычной конструкции и каждый вечер ездил на нем, чего в нашей деревне ни одному взрослому человеку и в голову бы не пришло.

— Так я и сделаю. Но сначала я хотел бы договориться с вами о своем отъезде.

— Каком отъезде, инженер? Чего тебе у нас не хватает?

— Всего хватает. Но я выполнил свое задание и должен вернуться домой.

— Гм, домой... А комбайны?

— Все отремонтированы и испытаны.

— А ты уверен, что они не выйдут из строя? Ты, как представитель шефствующего коллектива?

— Нет, при правильной эксплуатации они из строя не выйдут.

— Вот то-то и оно, при правильной! А у нас нет инженера. Слушай, Булат Кенжебаевич, оставайся-ка у нас главным механиком, озолочу! Дом тебе построим всем на заглядение, найдем тебе жену — первую красавицу.

Что же заставляло председательницу колхоза предлагать этому человеку такие вознаграждения, не предусмотренные никаким трудовым кодексом?

Дело в том, что наш машинно-тракторный парк находился в катастрофическом положении. Оно имело свою историю. Сначала, в те далекие времена, когда были ликвидированы МТС и машины были переданы колхозам, бывший энтээсовский механик еще какое-то время работал у нас, но поскольку от наших тогдашних трудодней было мало проку, он вскоре нашел себе в городе лучшее применение. Машинный парк остался без руководства. Это означало не только то, что каждый тракторист стал неограниченным властелином своего трактора, но и то, что его право владения постоянно оспаривалось другими претендентами. Это было бурное время, которое требовало от бригадиров большой находчивости, так как надо было суметь «умыкнуть» трактор из-под носа у соседа и включить в работу для своих целей таким образом, чтобы другой бригадир не сразу мог бы его разыскать и в свою очередь «умыкнуть».

Потом объявился у нас один городской специалист, который очень хорошо разбирался в тракторах, но о других машинах не желал ничего и слышать. Вскоре выяснилось, что в его лице мы имели дело с непризнанным Эдисоном, реформатором теории двигателей внутреннего сгорания. Не успели мы оглянуться, как все моторы оказались разобранными, на единственном токарном станке поточным методом изготавливались все более замысловатые детали, а отряд механизаторов разделился на два противоборствующих лагеря, один под девизом «будет работать», а другой — «все это кошке под хвост». Последние выиграли спор, и Эдисон в преддверии возможности быть переданным в руки правосу-

дия под покровом ночи покинул наши гостеприимные края.

Тогда было принято решение не полагаться больше ни на каких варягов, а ковать собственные кадры. Одного молодого тракториста со средним образованием послали в город, в институт, и колхоз пять лет кряду платил ему стипендию. По прошествии пяти лет новоиспеченный специалист вернулся в колхоз и совсем уже было взялся наводить порядок в воцарившейся между тем диковинной неразберихе. Но тут прибыл из города престарелый профессор и стал осыпать колхозное руководство горькими упреками, что, мол, вы погрязли в своих мелких заботах и ничего не желаете знать о пользе науки и о всемирном прогрессе.

Как оказалось, наш молодой специалист человек выдающихся способностей, и руководство одного научно-исследовательского института предложило ему продолжить научную карьеру, но он увильнул от этого предложения под предлогом, что его ждут в родном колхозе. Тут наша председательница повернула штык и выступила со всей страстью на стороне научного прогресса.

После ожесточенных дебатов ученый муж, который все понял и теперь рьяно защищал интересы колхоза, потерпел сокрушительное поражение и был вынужден оставить поле боя вместе с насильно врученной ему боевой добычей в лице молодого дарования.

Вот так и получилось, что ко времени описываемых событий в части механизации наш колхоз крепко зависел от своих шефов. Время от времени кого-нибудь из нас, простых механизаторов, бросали на машинно-тракторный парк, и мы с большим или меньшим успехом заправляли его делами, но никто из нас не проявлял к этому большой охоты, потому что крутиться надо было как карданный вал, а в результате получались одни неприятности и трепка нервов вместо хороших процентов, надбавок и премий, которые были любому из нас обеспечены, если ты работаешь на тракторе или комбайне.

— Сожалею, но я женат, — возразил инженер. — Отец семейства.

— В том-то и беда! Тоже мне шефы. Кого они присылают к нам в помощь? Да и что ты вообще за коман-

дировочный: вина не пьешь, за девками не бегаешь, даже не скрываешь, что отец семейства.

— Я командировочный особого рода, тетя Фрида. Шеф, лицо ответственное.

— Однако девочки на тебя заглядываются, шеф. Больно уж молодой ты.

— А что ж мне теперь делать? Отрастить бороду лопатой? Или повесить на шею фанерку с надписью: «Осторожно, женатый»?

— Да и на инженера ты не похож, все сам умеешь делать.

— Правильно, подозрительная личность.

— Сам моторы перебираешь.

— Есть такой грех, тетя Фрида, перебираю. Из спортивного интереса.

— Так-так... Ну как, может, останешься все же хоть на пару недель? Из спортивного интереса? Пока уборку не закончим? Я направила телеграмму твоему директору, а ты — телеграмму своей жене. А?

Последовало минутное молчание, и в наступившей тишине вдруг послышался характерный шипящий звук, который мог означать только одно, а именно то, что из щины выпускают воздух. Инженер подскочил к окну и, высунувшись в него, застрял там в окаменении. Ибо, вопреки всякому ожиданию, он увидел возле своего велосипеда не озорников мальчишек, а знакомый уже нашему читателю клеверный листок — Валентину, Дору и Розьхен. Вместо того, чтобы пуститься наутек, подруги без особого смущения, скорее даже с вызовом, смеялись ему в лицо! Только у Розьхен можно было заметить некоторое замешательство, которое позволяло предположить, что она приняла участие в этом диверсионном акте лишь под определенным давлением со стороны.

— Сударыни, как это понимать?! — воскликнул отец семейства и пулей выскочил наружу, впрочем, не в окно, а через дверь.

— Ах, а мы и не знали, что это ваше транспортное средство, — заявила Дора.

— Мы думали, что это косога Давидки, — дополнила Валентина.

— Извините нас, — сказала Розьхен и зарделась.

— Но как же я теперь поправлю дело? — Инженер почесал в затылке. — У меня и насоса с собой нет.

— Об этом мы уже позабо... — начала было Валентина.

— Не мели вздор! — поспешила оборвать ее Дора. — Она хочет сказать, что это небольшая беда. У Розьхен есть дома насос, а живет она здесь, рядом. Сбегай-ка побыстрей, Розьхен.

Конечно же читателю все ясно, и мне тоже: девичий заговор! И только инженер, по-видимому, ничего не понял. Дальше действие разворачивается в темпе мультитика (поясняю для тех, кому это выражение ничего не говорит: мультитиками у нас ласкательно называют рисованные фильмы, которые передают по телику). Вот Розьхен с насосом уже вернулась, причем тоже на велосипеде. Повреждение устраняется, подружки доказывают Розьхен, что смешно теперь с велосипедом возвращаться домой, когда такая чудная погода, она должна составить компанию товарищу инженеру и прокатиться с ним немного. Следует неуверенное возражение отца семейства, что он едет довольно далеко, так как ему нужно поглядеть на мост, который, как он слышал, кто-то сломал, но Дора и Валентина не дают ему договорить и со всей решительностью заверяют, что лучшего проводника, чем Розьхен, ему для этой поездки вовек не найти, ибо она эту дорогу найдет с завязанными глазами.

Ах, Розьхен, Розьхен! Любовь и рассудок редко идут рука об руку. Ну что здесь поделаешь, понравился ей этот красивый черноволосый инженер, да и все тут. В дальнейшие рассуждения она не вдавалась. Ну, а если бы он отвернулся от нее, топиться из-за этого она тоже не стала бы. Таково уж было это дитя человеческого Розьхен, лучшая доярка нашего колхоза.

Все произошло так быстро, что когда тетя Фрида, удивленная долгим отсутствием своего собеседника, выглянула в окно, она увидела только двух оставшихся граций.

— Ах, тетя Фрида, этот инженер!.. — сказала Валентина.

— Он нашей Розьхен буквально не дает проходить, — пояснила Дора. — Он преследует ее на каждом шагу.

— Да-да, таковы мужчины, — согласилась тетя Фри-

да.— Ну ладно, входите в дом, пока и на вас не папал еще какой-нибудь преследователь. Я только что хотела попросить инженера поставить самовар и вот осталась без рабочей силы.

За чаепитием инициативу разговора захватила Дора:

— Если возвратиться к нашему мостику, то могу сказать, что у нас есть идея.

У Доры всегда были идеи, но она никогда не подчеркивала свое авторство, она была человек коллективный.

— Что за идея? — поинтересовалась тетя Фрида.

— Надо написать в газету. Правда, тетя Фрида! Вы знаете, какая это сила — печать? Так вот поговорили-поговорили — все равно что воду в ступе потолкли, на том дело и кончилось. А вот если в газете напечатано — ого, это уже критика. Попробуй тут отвертись.

Тетя Фрида насторожилась: не иначе как что-то за этим кроется. Слишком уж хорошо она знала, с кем имеет дело.

Здесь я должен обратиться с несколькими пояснительными словами к юному читателю, которому, быть может, еще недостает жизненного опыта. Так вот, у девушек определенного возраста на уме в первую очередь мысли о замужестве. Что бы они ни предпринимали, а это могут быть сами по себе и весьма даже стоящие предприятия, но все равно где-то под спудом обязательно будет заложен и план какого-нибудь замужества. Жил-был некогда один француз, во время Наполеона или около того, его звали Талейраном, и занимался он крупной политикой. Так он, если его помощники не могли понять смысла в поступках какого-нибудь деятеля, говорил, бывало: «Шерше ля фамм», что в переводе с ихнего языка означает: «Ищите женщину». Это потому, что тогда политикой заворачивали почти исключительно мужчины. А если бы дело повернулось так, что у руля событий стояли бы не мужчины, а девицы на выданье, то пришлось бы хитроумному французскому перевернуть свое изречение вверх ногами и заявить: «Ищите мужчину». Что же касается тети Фриды, то сообразительности ей было не занимать ни у французского хитреца, ни у кого другого.

— А о чем следовало бы написать в газету? — осведомилась она с осторожностью.

— Всю правду! — воскликнула Дора. — Про дороги, про мосты. Про то, как райисполком, идя на поводу у дыди Васи, то есть у товарища Крейслера, вместо того чтобы выявить конкретного виновника, расходы на колхоз перекладывает.

— Смотри, какие умницы... И кто же должен бы все это написать?

— Ах, тетя Фрида, мы же знаем, что вы ужасно заняты, так мы уж взяли бы это дело на себя. Наша Валя очень понаторела по части письма.

— Что ты выдумываешь! — запротестовала Валентина. — Я еще в школе сколько слез пролила над сочинениями...

— Молчи, дуреха, — пресекла Дора дальнейшие излияния подруги. — Это будет плод коллективного труда, ты только снесешь в редакцию, понятно? Ну как, тетя Фрида, вы не возражаете?

— Прямо уж и не знаю. — Тетя Фрида пребывала в нерешительности, так как взаимосвязи оставались ей неясными. — В общем ваше дело. Хотите — пишите, хотите — нет, а меня не впутывайте. Впрочем, пропесочить-то их никогда не мешает.

И поскольку в этот момент стали доноситься звуки музыки из районного парка, удержать тете Фриде девчат у самовара дальше не было уже никакой возможности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

где рассказывается о трогательной встрече старых друзей, в ходе которой возникают новые очаги напряженности

Каждое действие вызывает противодействие, и ничто не остается без последствий. Какие же непосредственные последствия имело описанное в предыдущей главе столкновение между Фридой Лёвен и Вильгельмом Крейслером, читатель об этом вскоре узнает.

...Неподалеку от дома председательницы — наша Зельмановка, хотя и является районным центром, не

так уж и велика, за полчаса без помощи метро можно попасть с одного конца на другой,— так вот, неподалеку от дома тети Фриды, на самом краю села, близ речки, стоит большое, внушительное здание, напоминающее пригородную виллу, некогда выстроенное для себя бывшим заведующим местной чайной. Тот заведующий давно уже не заведующий, и «виллой» этой на основании решения суда он давно уже не владеет. В течение нескольких лет дом находился в ведении райисполкома, использовался временами под общежитие для приезжих, а в остальном ожидал покупателя, который не пожалел бы суммы денег, соответствующей его стоимости, компетентно установленной судом.

Вот к этому большому и приглядному, в известном смысле даже историческому зданию и направил свои стопы Вильгельм Крейслер после того, как его собеседование с недомогающей председательницей колхоза пришло к такому достойному сожаления финалу. По мере приближения к своей цели Василий Иванович все больше освобождался от чувства гнева и досады, место которых занимало предвкушение радостной встречи, ибо он шел к своему старому другу.

С тех пор как он, в далекие теперь уже года, сделался председателем райисполкома, круг его друзей постепенно все больше и больше сужался. Слишком мало времени оставалось для внеслужебного общения, но даже не это было главной причиной. Такое общение со временем становилось все менее возможным даже с такими людьми, которые когда-то были его школьными соучениками и товарищами игр. Одна за другой отпадали эти давние связи, как падают с дерева пожелтевшие листья. Одних он отвалил потому, что они чего-то хотели от него как от служебного лица и при этом ожидали, что старая дружба будет принята во внимание. Другие отсеялись сами, потому что им от него ничего не было нужно, но они опасались, что, вводя дружбу с влиятельным лицом, они внушат этому лицу и другим людям мысль, как будто за этой дружбой скрываются какие-то расчеты.

По прошествии нескольких лет Василий Иванович заметил, что вне служебного круга он находится в некоего рода вакууме, как бы в положении невесомости, где все как будто бы под рукой и никак ничего не схва-

тишь. Но Василий Иванович нуждался в друзьях, так как он был человеком общительным и компанейским. Вскоре ему стало ясно, что новых друзей надо искать среди себе подобных, то есть среди людей видного общественного положения, которых постигла такая же нелегкая участь. Однако дружба по заказу не всегда получается. По большим праздникам он наезжал к своим коллегам в соседние районы, а потом и с этим пришлось покончить, так как его жена с возрастом становилась все более ворчливой и все меньше была склонна принимать ответные визиты в своем доме.

Что же оставалось уже не очень молодому, перегруженному сверх головы служебными делами человеку, когда у него выдавалась время от времени пара свободных часов? Ну, разумеется же, рыбалка! Однако и рыбалка без компании тоже не пойдет, а в компании все повторяется сначала, как в большой жизни с ее взаимосвязями и расчетами. После того, как один заведующий отделом, разведавший для председателя малоизвестное местечко с потрясающим клевом, на следующий день пришел с просьбой о выделении грузовой машины для поездки в соседний район за баранами на убой к свадьбе своего племянника, у Василия Ивановича пропала всякая охота и к рыбной ловле.

Приняв к сведению все эти обстоятельства, читатель без труда поймет, сколь велика была радость Василия Ивановича, когда на небосклоне его частной жизни обозначилась светлая точка.

И вот он стоит перед изящной калиткой в голубой ограде из штакетника, и лицо его расплывается в широкой улыбке. Эта улыбка становится все шире, сияет еще радостней по мере того, как к калитке с другой стороны приближается высокорослый, худощавый человек в хорошо пригнанной военной полевой форме без знаков различия, с загорелым, почти лишенным морщин лицом и густой копной седеющих волос. И вот они встречаются и заключают друг друга в объятия. Несколько мгновений без слов, крепко, по-мужски, сжимают друг друга.

— А ты, брат, ничего себе, в теле, — заметил наконец хозяин дома вместо приветствия. — Между прочим, я понял это еще из твоего голоса по телефону.

— Лучше быть толстым, но здоровым, чем тонким, но больным,— весело возразил Василий Иванович.

— Ну идем, Вилли, идем, старина, я покажу тебе свою пещеру!

Последовала непродолжительная экскурсия, к которой мы не будем присоединяться, ибо я не сомневаюсь, что читателю уже знакомы случаи, когда наивное тщеславие хозяина дома встречает полное понимание у гостя, который не скупится на комплименты. Мы снова встречаемся с нашими героями уже на веранде, где стоит накрытый стол.

— Молодцом, ничего не скажешь! — продолжал Василий Иванович выражать свое одобрение.— Обстановочка, с одной стороны, порядок, с другой стороны, все честь по чести. Кабинет в особенности хорош, и — столько книг! Неужели ты их все прочел?

— Нелегкое было это дело их сюда перевезти... Ну ладно, пора же наконец опрокинуть рюмочку ради нашей встречи после стольких-то лет! А то ведь горло пересохнет, как ты думаешь? Я тебя, между прочим, заждался, где это ты пропал? — выговаривал хозяин дома Василию Ивановичу своим приятным баритоном удивительно молодого звучания.

— Извини уж. Занес меня черт по пути к одной бабе...

— Эге, братец, так ты еще того, по женской части?..

— Да ну тебя к лешему! Скажешь такое при народе — прославят на весь район... Вот зверь баба!

— Это кто же такая?

— Кто-кто, конечно же председательница объединенного колхоза, кто же еще. Это же черт в юбке!

— Не может быть! — сказал хозяин дома для поддержания разговора, легонько подталкивая гостя к столу.

— Я тебе говорю. У нее язык с шипами.

— Бывает, бывает,— согласился хозяин дома и наполнил рюмки.

— Ну, нет, такой ты определенно еще не видывал,— возбуждался все больше Василий Иванович под действием свежих воспоминаний.— Она тут на весь район знаменита. На людей бросается, будто суцая львица. И уж если на своем упрется, тут ей ни сват, ни брат, ни...

— Что ж, неужели не можете призвать к порядку?

— А как ты к ней подступишься? Колхоз передовой, колхозники за нее горой стоят, да и в области она на хорошем счету.

— Так, значит, дельная?

— Бывает когда и дельная. А потом — сила у нее! Авторитет имеет. Но уж если вожжа под хвост попадет... Как вот, например, сегодня... Хотя знаешь что, ну ее, давай лучше выпьем скорей за нашу встречу!

— Да чем же она тебя так растрожила?

— Ох, не расстраивай. Давай лучше выпьем.

— За этим дело не станет. Давай располагайся. Вот, как могу, по-холостячки.

— Что ты, у тебя же шик-модерн, прямо как в ресторане.

— Да уж выходим из положения, военный человек все должен уметь.

— Смотри-ка, ветчина, селедочка, огурчики соленные, все честь по чести, и даже «Столичная», где только ты ее добыл?

— По гостю и угощение.

— Нет, ты силен!

— Ну, давай. За нашу встречу!

— За встречу! Будь здоров!.. Эх, крепка, матушка!

Пока хозяин и гость работают теперь ножами и вилками, я имею возможность сказать читателю еще несколько пояснительных слов. Иной молодой человек, привыкший видеть старших только при исполнении служебных обязанностей или за каким-либо серьезным занятием, пожалуй, удивится тому, что здесь два пожилых человека ведут себя так, будто они молодые парни, а то и вовсе малые дети, и подумает, чего доброго, что я преувеличиваю смеха ради. Но нет, я повторю еще раз, что в этой истории нет ничего выдуманного. Пусть молодой читатель примет во внимание, что эти два более чем взрослых дяди встречаются без свидетелей после разлуки, длившейся не одно десятилетие, и в памяти каждого из них другой остался таким, каким он его знал много лет назад. Тот же, кто сам уже немолод, знает по собственному опыту, как он себя ведет, когда, встречаясь с давним другом, захочет потряхнуть стариной. Тут уж порой поднимается такой дым коромыслом, что если сравнить с описанной мной карти-

ной, то она будет выглядеть всего-навсего детской забавой.

Так вот, значит, когда в соответствии с обычаем старые друзья хорошенько подналегли на закуску и, развеселившись, поглядели друг на друга, хозяин дома сказал:

— Повторим?

— Кто против? Кто воздержался?.. Принято единогласно,— утвердил предложение Василий Иванович.

Вильгельм Крейслер любил совещания со всеми их формальностями. Может быть, потому, что только тогда он чувствовал себя по-настоящему счастливым, когда сидел за столом президиума. Только там он ощущал себя наконец-то бесспорным хозяином положения, который уверенно опирается на массу, совершенно конкретную, перед ним сидящую массу, и может не сомневаться в ее поддержке. В индивидуальном же, пусть даже и служебно регламентированном, общении с людьми им часто овладевала неуверенность, потому что отсутствовало чувство превосходства.

Итак, стопки были снова наполнены.

— Ну, давай,— сказал хозяин дома.

— Поехали,— поддержал Василий Иванович.

— За старую дружбу!

— За дружбу!

— Сколько же это лет мы с тобой не видались?

— Вечность целую. Поди, лет тридцать с лишком.

— Вот ведь как! Ну, поехали.

— Вперед!

Василий Иванович одним духом опрокинул стопку.

— Лихой ты мужик.— похвалил его хозяин дома, а сам украдкой поставил свою до половины отпитую рюмку за бутылку на столе.

— Это что, теперь я уже не тот. Вот годиков эдак пятнадцать — двадцать назад ты бы посмотрел!

По правде говоря, Василий Иванович никогда не был по этой части особенно прытким, это надо сказать честно. Просто человеку хочется быть мастером в любом деле, если уж он за него взялся.

— Ты давай не прибедняйся, Вилли. Старыми заслугами хвастает тот, у кого новых нету. А ты пока что во всех отношениях в форме.

— Нет, нет, сейчас не то. Как ни говори, столько лет

на ответственной работе. Представь себе, кто пронюхает да раззвонит, и пойдут склонять на всех перекрестках, житья не будет.

В этот самый момент послышался стук в стеклянную дверь веранды. Не успел еще хозяин дома крикнуть: «Войдите», как Василий Иванович схватил до половины опорожненную бутылку и сунул ее под стол. Увы, напрасный труд! Не только дверь, но и вся стена была из стекла, то есть материала совершенно прозрачного. Но вот уже и дверь открылась, и кто же стоял на пороге — это был не кто иной, как почтальонша Гуля.

Она стояла, поводя коротким любопытным носиком, с кожаной сумкой на боку, которая обычно бывала набитой до отказа, а теперь же имела явно дистрофический вид, веселые чертики плясали в черных глазах незваной гостьи.

— Добрый вечер, здравствуйте, — сказала маленькая бестия с преувеличенной приветливостью. — Здесь проживает товарищ Грибов?

— Так точно, — откликнулся хозяин дома, — это я.

— Вот, пожалуйста, вам письмо.

— Большое спасибо.

— До свидания.

— До свидания.

Почтальонша исчезла, но Василий Иванович все еще продолжал, неподвижно сидя за столом, глядеть, как замороженный, в пустоту сада, залитого золотом заходящего солнца. Грибов распечатал конверт, пробежал глазами по строкам письма. Василий Иванович по-прежнему сидел словно окаменелый. Наконец он произнес едва слышно, сдавленным голосом:

— Мы пропали!

— То есть?..

— Ты знаешь, кто это был?

— Почтальонша, как я понимаю.

— Да, но какая! Это же первейшая болтушка и сплетница, каких еще свет не рожал. Пронюхала, что я к тебе пошел, и явилась с письмом, а то бы оно у них еще неделю пролежало. Завтра во всем районе будет только и разговоров, что о попойке у приезжего генерала при участии всего районного руководства. Ох, зав-

тра будет звон! Да что там завтра, сегодня еще!.. Эх, да раз так, то терять нам больше нечего.

С этими словами Василий Иванович извлек из-под стола злополучную бутылку и без лишних разговоров до краев наполнил стопки.

— От кого письмо-то?

— Дочка пишет. Получила отпуск, хочет заглянуть, посмотреть, как я тут устроился.

— Что творится! Дети взрослыми стали...

— Не говори! Как летит время!

Человек с грустью думает об ушедших годах, и все же вплоть до старости он готов подгонять время, если еще чего-то ожидает от жизни.

— А кто твоя дочка?

— Медицинский окончила.

— Гляди-ка! Ну, давай за детей!

— За детей!

— Эх, крепка, окаянная!.. Вот так подумаешь: а давно ли, кажется, сами молокососами были? Помнишь, как у попа в саду яблоки воровали?

— Как не помнить. Несознательные были...

— Почему несознательные? У попа можно. С классовой точки зрения.

— Ты считаешь? Тогда ладно. А помнишь, как у нас комсомольская ячейка организовывалась?

— Да, да! Когда же это было?

— Пожалуй, что году эдак в двадцать седьмом. Потому что в начале тридцатых я был уже в Красной Армии, на границе. В тридцать четвертом как раз кончилась моя срочная служба, но тут пришло известие, что мать умерла. А политрук как раз рекомендовал меня в школу красных командиров. На озере Хасан я уже ротой командовал. Потом академия бронетанковых войск. В сорок первом стал командиром танкового полка, с этим полком пошел на войну с фашистами. Потом ранение, госпиталь, тыл. Тяжкое, горькое время. После войны стал работать в штабе военного округа... Ну, а теперь... Что ж, надо давать дорогу молодежи.

— А почему бы и нет? Ты свое дело сделал, вона каких высот достиг, спокойно можешь теперь отдохнуть. Сиди себе с удочкой на бережку или в саду лопа-

той помахивай, чем тебе не жизни! А тут попадешь в лапы такой вот львице...

— Да она, брат, тебе, видно, изрядно насолила, никак от нее не отвяжешься. Повторим?

— Всенепременно!

— Принести еще бутылочку?

— Ясное дело.

— Вот так, и на полных парах вперед!

— Эх, сильна, матушка!

— А теперь скажи, Вилли, что же приключилось у тебя с этой, как ты говоришь, «львицей»?

— Да ну, оставь, даже говорить не хочется.

— Ну, а все-таки?

— Да не о чем говорить. Ты представляешь, какой-то олух сломал мост...

— Как-как?

— Ну, есть тут у нас, с одной стороны, небольшой мостик, в живописной низинке расположен, Лягушачий ложок ее называют по-местному. Мостик-то, с другой стороны, действительно не того, по нему только на легковой, а грузовые его низом объезжают. Конечно, бывает, и побуксуют, не без того, болотце там, внизу, да ведь наши шофера привычные... А тут, представь себе, какой-то пень, то ли не знал, то ли был под мухой — одним словом, проломил сукин сын этот мостик, как яичную скорлупу...

При этих словах лицо хозяина дома помрачнело и приняло такое выражение, как будто в этот момент именно у него на макушке продавливали вышеуказанный мостик, он даже втянул голову в плечи. Но председатель райпотребсоюза ничего этого не заметил, он как раз вошел в раж.

— Поймать бы этого подлеца, я бы ему ноги выдернул!

— А что, это так серьезно, с мостом? — робко осведомился генерал. — Ты же говоришь, по нему все равно никто не ездил.

— Еще как серьезно! Ты послушай дальше. Мне бы, конечно, наплевать на этот мост, наши машины его действительно объезжают, но я получил известие от верного человека из области: собирается к нам в район некто иной, как сам Иван Кузьмич Ананасов! А это же

его любимый мостик был! Когда он в прошлый раз здесь проезжал, специально велел даже там остановиться, вышел из машины природой полюбоваться и минут пять, не меньше, на мосту там стоял, курил, со мной беседовал о красоте природы — я тогда, будучи еще председателем райисполкома, на газике сопровождал его по району.

Лицо генерала погрузнело, слушая Василия Ивановича, он время от времени кивал головой и так поглядывал на своего собеседника, словно впервые видел его перед собой. Но Василий Иванович ничего этого не замечал.

— А теперь слушай дальше. Райисполком по моему предложению обязывает эту львицу отремонтировать мостик, потому что дорога проходит по угольям колхоза, а она на это — кто его ломал, тот, говорит, пускай и чинит.

Тут хозяин дома кашлянул и, видимо, хотел вставить слово, но Василий Иванович не дал ему такой возможности.

— Я, конечно, ставил вопрос перед дорожным отделом, но беда в том, что дорога не относится к ведению райсовета и расходы такие, с одной стороны, не предусмотрены. А львица, с другой стороны, мало того, что ремонтировать отказывается, еще хочет и жаловаться в областные инстанции, а меня обложила предпоследними словами. Ух, проклятая баба, сил моих нету! Давай выпьем еще по одной.

Но у хозяина дома готовность выпить тем временем упала еще ниже.

— Слушай, Вилли... Тут вот какое дело...

— Ты думаешь, что мне уже хватит? Ничего подобного, ты меня еще не знаешь, а сколько я раньше мог выпить, ого, ты бы ахнул, с одной стороны и с другой стороны. Ты мне веришь или нет?

— Верю, верю, но я хочу...

— Ну чего, чего ты хочешь?

— Вот как раз насчет этого моста...

— Нет, с мостом давай подведем черту! Он у меня уже вот где сидит.— Василий Иванович пошарил руками по туловищу, отыскивая место, где сидит у него мост, но, не найдя ему точной привязки, объяснил на словах: — В печенке! Есть у тебя хоть немного сочув-

ствия к старому другу, то давай прекратим прения — кто за, кто против, кто воздержался?.. Давай лучше выпьем.

— Нет, я хотел бы все же...

— Эдик! Прекрати! Ты меня уважаешь? Тогда прекрати! Давай по единой.. Вот так-то лучше. За что выпьем?.. Че-го? К чертям с этим проклятым мостом, слышишь! Выпьем за дружбу!.. Вот так! Эх, крепка, голубушка!.. Нет, молчи. Я твой гость, и ты должен исполнять мои желания. А я хочу, чтобы ты молчал.

— Хорошо, я молчу.

— Вот и молодец! А теперь скажи мне, Эдик, я уже давно хочу тебя спросить: почему ты.. все же как-никак генерал..

— Теперь уже отставной.

— Это с одной стороны, а с другой стороны, генерал есть генерал. Ну, и на книжке, надо полагать, кое-что имеется. Так вот скажи, почему ты вернулся в свое родное село, а не купил себе дачу где-нибудь, скажем, в Сочах? А?.. Нет, ты мне скажи: почему? Ответь на чистоту.

— А что тут говорить? Приехал и приехал, тебе что, жалко, что ли?

— Мне не жалко, даже наоборот. Но вот почему ты не поехал в Краснодар или, скажем, в Тирасполь? Ага, молчишь! А я знаю.

— Ничего ты не знаешь.

— Нет, знаю. Хочешь, скажу?

— Ничего ты не знаешь.

— А вот, хочешь, скажу? Сказать?

— Ну, говори, если знаешь.

— Вот и скажу. Земля тебя притянула! Родная земля! Понял? Земля, из которой ты вышел, которая тебя вскормила хлебом и молоком. Ну что, разгадал я тебя?

Выражение лица генерала Грибова потеплело.

— Не знаю. Может быть, и так. Ах, Вилли, старый дружище, человек меняется с годами!..

— Да, человек меняется.

— Выпьем.

— Возражений нет.

— Я бы тебе рассказал, да ты смеяться будешь, старый черт!..

— Я? Смеяться? Да никогда в жизни. Ну, Эдик, давай рассказывать, я никому ни слова. А насчет смеяться, убей меня на месте, если хоть раз хихикну. Ну, Эдик?

Генерал еще некоторое время собирался с духом.

— Видишь ли, Вилли... тут вот такая история. Может быть, оно и на самом деле смешно. Но жизнь — это сложная штука. Человек стареет, но всегда остаются в нас какие-то остаточные явления молодости. Да... В общем так было дело. В молодые мои годы, — ты этого, может быть, и не знал, а вернее всего, забыл, — была тут у меня подружка. Да. Что она для меня значила, это я сам понял только много лет спустя. До того, как с ней подружиться, я, в сущности, ничего не знал о красоте жизни. Да и какая наша жизнь тогда была, не тебе мне рассказывать: паши, сей, коси да молоти с утра до ночи, как заведенный. И все время одна только мысль: как бы поесть досыта. И вот явилась она, простая крестьянская девушка, и научила меня — чему бы ты думал? Мечтать! Она открыла мне богатство мира, которое принадлежит всем, научила любить эту землю, лес, птиц, травы, воздух, свет солнца, научила задумываться о лучшей жизни. Вот так это было.

Василий Иванович не смеялся. Но его начала мучить другая напасть: он делал героические усилия, чтобы не уснуть, его веки неудержимо смыкались. Однако Грибов не замечал этого, он жил в своем прошлом.

— Жениться мне тогда было нельзя, в армию надо было идти. Договорились, что будет она меня ждать. Но из армии я не вернулся. Нужна была моя служба для родины. Писал я сначала, да, видно, не так, как нужно. Глуп еще был, все обещал ей — вот-вот приеду. Подумала она, наверно, что обманываю ее, и отвечать перестала. Ну, а потом, когда я уже командиром стал... женился на другой. Ничего плохого не скажу о моей Тане, добрый она была человек, вечная ей память. Дочку хорошую мне родила. Заботилась обо мне, любила. Да и я ее, можно сказать, любил. Но эту вот, свою первую, забыть никак не мог.

— Вот ведь что, — сказал Василий Иванович, с усилием поднимая брови, чтобы удержать глаза в открытом состоянии.

— Тихая она была, задумчивая... Но голова у нее была светлая, и всегда она заботилась о других людях, ни одной мысли о себе самой... Давнее это дело, пора бы выкинуть из головы. Но вот теперь, при моем нынешнем досуге, взбрело вдруг: поеду-ка туда, где прошли мои светлые дни юности, погляжу на родные просторы...

Единственно из желания доказать, что он не утерятил нить разговора, Василий Иванович произнес:

— Ну и как, повстречал ты свою милушку?

— Да где там... Я ведь и не собирался ее разыскивать,— несколько сфальшивил Грибов.— Лет-то сколько прошло! Да и что толку? Я, в сущности, старик, да и сй, поди, уже под пятьдесят. Бабушка, надо полагать.

— Все возможно, все возможно,— подтвердил Василий Иванович.— Да кто хоть она? Я-то ее знаю?

— Должен был бы знать. В последнее время перед моим отъездом она была секретарем комсомольской ячейки.

— Стой, стой... Кто же был тогда у нас секретарем?

— Ну-ка, ну-ка, напряги свою память... Да Фрида же, Фрида Фронау, неужели не помнишь?

— Ка-ак? Она?!

— Ну конечно же! Почему это тебя так удивляет? Ну, а вообще-то, так, между прочим, ты не знаешь, где она теперь?

— Кто?

— Кто-кто! Да Фрида же, конечно, Фрида Фронау!

— Так ведь это же...— начал было Василий Иванович, но тут же спохватился, запнулся и сжал губы чуть не до белизны.

— Что «ведь это же»?

— Да ничего, я говорю, значит, это Фрида Фронау была твоей голубкой?

— Конечно. А где же она сейчас, не знаешь?

— Кто? Ах, да... Нет, не знаю. Фриды Фронау давно уже не существует. Жаль.

— Вот как... Ее больше нет... Она умерла?

— Кто? Ах, да... Ну, ты же знаешь, как это бывает. Был человек, с одной стороны, а потом, глядишь, и нет его, с другой стороны.

Наступила долгая пауза.

— Да-а,— вздохнул наконец Грибов,— значит, ее больше нет... Выпьем.

— Выпить — это пожалуйста.

— За ее светлую память.

— Пусть будет по-твоему.

— Вот такие дела. Мечты, мечты, где ваша сладость...

На лице генерала Грибова отразилась внутренняя борьба, которую он должен был выдержать, чтобы не потерять самообладание.

— А теперь вот послушай. Вернемся еще раз к этому мосту. Только не перебивай. Гм... ты давеча восхищался моими книгами...

— Книга — светлый маяк...

— Может быть, выпьем еще по одной?

— Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно.

— Мда-а... Так вот...— Голос старого генерала сделался несколько хриплым, и рука его была не совсем твердой, когда он наполнял стопки.

И вдруг как гром среди ясного неба:

— Папа, ты это чем занимаешься?

Стройная женская фигура появилась в дверях. Теперь настала очередь генерала Грибова прятать под стол до половины опорожненную бутылку.

— Ах, Лидочка, это ты, как я рад!.. А мы... мы тут лечимся помаленьку.

— Вот я тебе покажу лечимся. Как врач я тебе категорически запрещаю!

ГЛАВА ПЯТАЯ,

из которой явствует, что к одной и той же цели можно идти различными путями

Необычная тишина царила в приемной перед кабинетом председательницы колхоза. Не трещали за окном мотоциклетные моторы, не врывались бригадиры с обвинительной речью в адрес машинно-тракторного парка, включая гараж, не раздражались громом против бригадиров агрономы, ни один приезжий не ждал приема,

молодые матери не рвались в кабинет с младенцами на руках, чтобы добиться заверения о скором введении в строй новых яслей. Все, что каким-то образом могло быть отложено до поры, было отложено. Все, что имеет ноги и руки, было мобилизовано, находилось на полях станах, у комбайнов, на токах — уборочная страда! Только доярки занимались своими делами да несчастной Валентине приходилось сторожить контору, отвечать на телефонные звонки, сортировать почту. Она скучала при этом, и не мудрено, ибо нет ничего более нудного, чем оставаться в стороне от главных событий.

Но именно сегодня дело обстояло не так уж плохо, так как у Валентины было занятие, которое целиком ее поглощало. В пишущей машинке был заложен лист бумаги, а рядом лежала довольно пестрого вида рукопись, с которой Валентина с величайшей сосредоточенностью перепечатывала некий текст, расположенный в лесенку. Клавиши хлопали скорее одиночным порядком, и если обычно треск пишущей машинки принято сравнивать с пулеметным огнем, то в данном случае более уместно было бы говорить о капели с потолка протекающей крыши во время дождя средней интенсивности. В то же время Валентина при всей своей сосредоточенности то и дело бросала взгляд на стеклянную дверцу стоящего напротив шкафа, чтобы увидеть в ней отражение своего милovidного личика и заправить за ухо выбившийся локон, так как это занятие прибавляло ей уверенности в себе.

Огромные электрические часы, подарок шефствующего предприятия, едва успели пробить десять, как дверь открылась и недостающие две части клеверного листка появились на месте действия: Розьхен по пути в коровник, где и в промежутке между дойками дел ох как хватает, и Дора, улизнувшая из своей чайной, где в это время ослабевал приток посетителей.

— Ну как у тебя, готово? — спросила Дора с порога. — Покажи-ка, что получается.

Читатель, возможно, еще помнит наш разговор о намерениях и целенаправленности действий этого милويدного клеверного листка в том смысле, что все молодые люди жениховского возраста в районной округе долж-

ны быть взяты под контроль. Эта в известной степени здравая мысль определяла все поступки подруг, даже те, которые с первого взгляда никак с нею не могли быть связаны.

Дора взяла первый начисто отпечатанный лист и погрузилась в чтение. Розьхен заглядывала ей через плечо. Валентина между тем еще энергичнее принялась за дело, отчего создавалось впечатление, что дождь несколько усилился. Наконец и второй листок был почти заполнен, и на этом дело кончилось. Дора наспех проверяла текст.

— А теперь — шагом марш! — скомандовала она.

— Ах, девчата, мне так боязно! — призналась Валентина.

— Вперед без страха и сомненья! — не давала спуска Дора.

— Слышать не желаем твоих пустых отговорок, — поддержала ее Розьхен.

— Только вперед — и рысью, — добавила Дора. — А иначе он куда-нибудь запропаستится, и будет тебе еще на целый день лихорадки.

— А сейчас он там? — несмело осведомилась Валентина.

— На своем рабочем месте, — заверила Дора. — Сидит за большим столом и катает передовую статью в очередной номер, я в окно видела.

— Ох! — содрогнулась Валентина.

Однако Дора без дальнейших церемоний взяла ее за плечи, повернула к двери и вытолкнула наружу.

— Желаю удачи, и делай все так, как я тебя учила! — крикнула она вдогонку. Но едва ли Валентина услышала это напутствие, так как она бежала, словно в трансе, и вскоре скрылась за углом.

Прошло каких-нибудь десять минут, и она уже снова была на месте. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся, стояла в дверях и смущенно улыбалась.

— Да входи же скорей и рассказывай, как было дело, — схватила ее за руку Розьхен.

— Говори же, несчастная! — воскликнула и Дора. — Ты что, язык проглотила?

— Ох, девчонки, что было!

— Ну что, что?

— Подать тебе воды?

— Ой! Я, значит, вхожу...

— А ты постучалась?

— Ох, Дорка, откуда ж я знаю? Помню только, как стою в кабинете. Он сидит за столом...

— Один?

— Да нет, там был еще какой-то, такой противный. Ну вот, он сидит вот так за столом, я вхожу. «Здравствуйте». — «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста». Я сажусь. А у самой внутри все вот так! — Валентина бешено завертела кулаками, изображая силу брожения чувств у себя в груди.

Розьхен засмеялась, но от сочувствия готова была и заплакать.

— Дальше, дальше! — настаивала Дора, никогда не отступавшая с позиций деловитости.

— «Чем могу быть полезен?» — спрашивает, а сам на меня как посмотрит! «Вот, говорю, я принесла вам один материал, который, по моему мнению, мог бы представлять интерес для вашей уважаемой газеты». Это как ты меня научила, Дорка, так я и выпалила.

— Весьма похвально. А он?

— А он на меня еще раз как взглянет, как взглянет, я так вся и похолодела. «Это мы сейчас посмотрим», — говорит.

— Ах, Валька, рассказывай быстрее! — не выдержала Розьхен.

— Он берет материал, я сажу.

— Ну!

— Я сажу, он читает. А у самой все вот так!

Валентина снова изобразила это с помощью рук, и стало ясно, что интенсивность бурливших в ней чувств между тем достигла предела.

— Сразу все прочитал?

— Да, сразу прочитал и говорит: «А вы знаете, это недурно».

— Так и сказал?

— Ага. «Знаете, говорит, весьма даже остроумно написано. Прямо-таки настоящая сатира, — говорит. — И по теме весьма актуально, дорожное хозяйство в районе действительно ниже всякой критики, говорит. Толь-

ко вот, говорит, имен вы не называете. У вас тут фигурирует какое-то высокопоставленное лицо...»

— Он так сказал?

— Ага. «Высокопоставленное лицо, говорит, которое изо всех сил старается передожить свои заботы на других.— это о ком же идет речь?» Я прямо не знала, что и ответить, а потом как лягну: «А зачем, говорю, подрывать его авторитет?» Тогда он как засмеется и говорит: «Тоже точка зрения!»

— Так и сказал?

— Ага. «Ну ладно, говорит, кого это касается, тот сам догадается. Хорошо, говорит, мы поместим этот материал».

— Правда?

— Его собственные слова. Вот видишь, Дорка, я всегда тебе говорила, что у тебя талант, тебе надо в писательницы.

— Минуточку терпения, это еще успеется. Сначала мы добудем тебе мужа, а потом поглядим. Давай рассказывай дальше.

Дора охотно занималась чужими делами, что само по себе далеко не редкость. Но при этом она еще успевала неплохо управляться и со своими собственными, а это уже, пожалуй, относится к области исключений.

— А потом он спрашивает: «Скажите, а вы давно пишете?»

— Ну, а ты, а ты? — воспламенилась Розьхен.

— А я говорю: «Нет, недавно начала».

— Ну, а он, а он? — Розьхен даже подпрыгнула от возбуждения.

— А он засмеялся и говорит: «Знаете, говорит, вам надо больше писать, надо развивать свои способности. Ни в коем случае, говорит, не бросайте. Если у вас, говорит, не будет подходящей темы, приходите к нам в редакцию, мы вам подскажем».

— А при этих словах он на тебя как-нибудь посмотрел? — допытывалась до сути Розьхен.

— Ага,—призналась Валентина и опустила глаза.

— Вот видишь! — обрадовалась Дора.— А я что говорила? Определенно у него самого такие же мысли.

— Ах, девчонки, я прямо и не знаю...— пробормотала Валентина мечтательно.

— Это уж точно,— подтвердила Дора, и при этом у нее самой взор мечтательно затуманился.— Ах, счастливая ты, Валька!— заключила она без зависти и погладила кудрявую головку подруги.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой редактор Отто Батц предстает в истинном свете

Прошу прощения у дорогого читателя, но после вынужденного перерыва, наступившего в моей работе над этим описанием, мне нужно снова собраться с мыслями. Надеюсь, что мне удастся привести их в тот же порядок, в котором они находились ранее, хотя это будет нелегко, так как события, происшедшие в промежутке, могли бы по крайней мере в известной части разрушить мою концепцию.

Дорогой мой хитроумный друг, все течет, все изменяется, и возникают новые ситуации. Летописец, описывая прошлое, заносит на бумагу все так, как оно было. Но за то время, пока он сидит за столом, происходят вещи, которые могут основательно толкнуть его под локоть. Продолжать описание в прежнем тоне вдруг делается затруднительно, а то и вовсе невозможно, ибо логика прошлых событий, казалось, обещала нечто совсем иное, чем происшедшее в действительности. Что остается делать незадачливому писцу? Для него взаимосвязи сегодняшнего дня важнее, чем взаимосвязи прошлого, ибо он-то живет в сегодняшнем дне и хочет в нем жить и дальше. Вот он и сдвигает, и поворачивает свою наблюдательную вышку, и гляди-ка, все опять предстало в единственно правильном свете, в каком ему сегодня и надлежит предстать.

Почему же и мне со своей стороны не воспользоваться оправдавшей себя методой? Но нет! У меня есть другая. Что обещал, то исполняй, таков мой закон. Все происшедшее в прошлом, дорогой читатель, будет сполна доведено до твоего сведения, а урезано будет лишь то, что произошло впоследствии. Фокус-покус! И поскольку события более позднего времени известны только в сравнительно узком кругу, я намерен их как бы вовсе

не замечать, а о прошедшем сообщать так, как будто впоследствии не произошло ничего такого, ввиду чего это прошлое следовало бы представить в несколько ином свете.

Нет, вовсе умолчать о том, что произошло впоследствии, я тоже не собираюсь: просто я скажу не обо всем. Я лишь немножко причешу настоящее,— ах, разве это намного хуже, чем делать то же самое с прошедшим?

Короче говоря, причиной перерыва в моих писаниях была свадьба. В этих больших торжествах, продолжавшихся три дня (по другим подсчетам даже целую неделю, если иметь в виду более мелкие и единичные рецидивы, вызванные необходимостью уничтожения съестных и питейных остатков), я непременно должен был принимать участие как аккордеонист и дальний родственник одной из брачующихся сторон. Тут уж не помог и больничный лист, ибо сам мой лечащий врач, тоже находившийся в числе приглашенных, принял участие в уговорах и дал заверение, что в случае неблагоприятных последствий мобилизует все средства современной медицины для их устранения.

В первый день гуляли в большом фойе колхозного Дома культуры. За богато сервированным столом уместилось сто двадцать человек, да еще в комнатах для кружковых занятий были накрыты столы и отмечалась не меньшая активность гостей. Песни пели дружно все вместе, старые и молодые, а вот танцевали по отдельности. Вокруг огромного, составного главного стола старшие крутили вальсы и отрывали гопса-польку, а на сцене молодежь выдавала и твист, и шейк, и рок-н-ролл на всю катушку. Невзирая на обильное употребление спиртных напитков разного происхождения, не произошло никаких ссор или каких-либо других безобразий.

На второй день праздник продолжался в доме невесты, а на третий — в новом ресторане. Поместилось шестьдесят человек, а кто не попал в это число, тот изыскивал другие возможности, чтобы не оказаться в хвосте событий. Настраение было приподнятым, и не только потому, что этот союз вызывал всеобщее одобрение, но также и потому, что дело происходило глубокой осенью, когда уже стало окончательно известно, что

наш колхоз опять вышел на первое место в районе, не в последнюю очередь благодаря образцовой работе машинно-тракторного парка.

Ну ладно, не будем больше об этом распространяться, возвратимся лучше во времена моей правдивой повести. Я и вообще-то лишь затем упомянул про эту свадьбу, чтобы оправдать продолжавшееся несколько дней свое отсутствие за письменным столом. Теперь же я с новой энергией берусь за перо и постараюсь продолжать свою летопись таким образом, как будто мне ничего неизвестно о делах более позднего времени.

...В саду вокруг дома, принадлежавшего с некоторых пор отставному генералу Грибову, по пояс высилась трава. За все лето никто не пришел сюда, чтобы ее выкосить. Фруктовые деревья, в эти предосенние дни уже отягощенные плодами, оставались непобеленными и неподрезанными. Тропинки, некогда протоптанные через газон, теперь лишь мерещились узкими серыми жилками среди бурьянных джунглей. Однако внимательный наблюдатель заметил бы по некоторым признакам, что дом обитаем и что его хозяин радеет о порядке. Так, например, садовый стол на толстой ноге, стоящий у самой большой яблони, а также обе скамьи по его сторонам сверкали на солнце свежей масляной охрой.

Мы фокусируем внимание дорогого читателя на этом маленьком клочке земли в тот момент, когда генеральская дочь Лида, стоя возле крыльца, занята выколачиванием половика, сам же генерал Грибов вступает на территорию сада с тыльной стороны, которая обращена к близлежащей речке, причем он появляется не один, а в сопровождении некоего молодого человека.

Здесь мне придется еще раз отступить от своего первоначального намерения следовать современным образцам прозаического письма — пренебрегать описанием таких второстепенных подробностей, как черты лица, особенности фигуры и одежды, и заняться несколько подробнее наружностью молодого человека, ибо в ней были бросающиеся в глаза несоответствия. Он был одет в хороший темно-серый костюм и сорочку с галстуком, однако штанины его брюк были довольно высоко подвернуты, обнаруживая молочно-белые икры, поросшие черной шерстью, впрочем довольно редкой. В одной ру-

ке он нес свои лакированные полуботинки, связанные шнурками, другою же поддерживал на плече орудие рыбной ловли, которое заслуживает специального описания. Вместо тонкого бамбукового удилища, какие у генерала Грибова наличествовали в трех экземплярах, молодой человек удовлетворился короткой, кривой и суковатой палкой в три пальца толщиной. Вместо тонкой, практически невидимой капроновой лески вокруг этого сука обвивалась веревка, очень напоминающая шнур для завязывания пакетов. Вместо пестрого поплавка из гусиного пера посередине пакетного шпигата была привязана пробка от шампанского, что же касалось грузила, то оно полностью отсутствовало, зато крючок мог бы найти себе употребление в качестве запора на дверях кладовки. Сдвинутая на затылок, потускневшая от времени и расползающаяся соломенная шляпа довершала наряд этого необыкновенного рыбака.

— Лидочка, детка, доброе утро! Ты давно встала? — радостно приветствовал отец свое любимое дитя. — Вот познакомься с моим юным другом — это Отто Батц, журналист и главный редактор здешней газеты. А это моя дочь Лидия.

После обоюдного замешательства, вызванного тем, что обоюдно грязные руки пришлось обоюдно же вытирать о платье, последовало рукопожатие. Эти действия, способные, казалось бы, вызвать веселость, труднообъяснимым образом свернулись в гробовом молчании, причем Лида даже изобразила на своем лице некую досаду. Похоже было, что это новое знакомство не доставляло ей никакого удовольствия. А между тем хозяин дома, от чьего внимания, по-видимому, ускользнули эти маленькие ненормальности, уже увлекал своего гостя в глубину сада.

— Вот это моя плодовая плантация, — говорил он в шутку. — Как вы находите?

— Замечательно! — с восторгом отозвался гость. — Это... гм, яблоня?

— Не совсем. Скорее это группа, а вон там яблони, а вон то сливы.

— Скажите пожалуйста! И на них, кажется, уже что-то такое растет, — заметил гость в доказательство своего интереса и направился к сливам.

Генерал Грибов тут же воспользовался возможностью обменяться парой слов с дочерью:

— Лидочка, это очень милый молодой человек, мы познакомились на реке, будь, пожалуйста, с ним полюбезнее. Он учился в Москве, приехал из энтузиазма на село и теперь собирает материал для книги. Он пишет роман из колхозной жизни. Узнав, что я крестьянский сын и здешний уроженец, он прямо загорелся желанием записать мою биографию. Он говорит, что это очень важно для его романа. Я пригласил его к обеду, ты не против? Так что, детка, ты уж постарайся, хорошо?

— Придется уж,— ответила Лида без воодушевления.

— Что-нибудь не так? Он тебе почему-нибудь некстати?

— Да ну. Раз надо, значит, надо.

К сожалению, этот доверительный разговор пришлось прервать, так как гость уже возвращался из кустов, обутый, с опущенными штанинами и без рыболовных снастей, зато с небольшим букетом полевых цветов.

— Для вас,— обратился молодой человек к Лиде и поклонился изысканным образом.

— Благодарю, не ожидала,— сухо ответила Лида.

— Ну хорошо, дети мои, я должен прибрать мой рыболовный инвентарь,— спохватился генерал,— а ты, Лидочка, продолжай знакомить Отто Конрадовича с нашим хозяйством.

После ухода старика Лида Грибова и Отто Батц еще некоторое время молча противостояли друг другу.

— Так это вы? — произнесла наконец Лида с открытым неудовольствием.— В некоторой находчивости вам, скажем прямо, не откажешь.

— Только не надо сердиться! — с мольбой в голосе возразил молодой человек.— Ну что, в сущности, здесь такого? Тогда, в поезде... помните?... вы меня действительно не замечали?... А я когда увидел, что нам выходить на одной и той же станции, сказал себе: это судьба! А вы — нет? Но потом этот ужасный штурм автобуса, где я решил захватить сидячее место. Для вас. Отметим это существенное обстоятельство! Но народ меня не понял. О, этот народ! Меня выбросили наружу, а вас

умчало чудо техники, и я потерял вас из виду... Но потом вдруг я обнаруживаю вас здесь, в этом саду!

— Совершенно случайно!

— Именно так, в первый раз это было совершенно случайно. Я просто совершал обход села, потому что у меня такой обычай— подробно знакомиться с каждым населенным пунктом, куда меня забрасывает судьба. Но потом, не стану отрицать, я действительно прохаживался с намерением, чтобы вас увидеть, чтобы удостовериться, что я не ошибся. Что в этом дурного?

— Прохаживался! Это называется прохаживался?

— Ну, допустим, я задерживался и даже предпринимал попытки сближения. Это преступно? Между прочим, должен вам сообщить, что это вовсе не в моих правилах — заводить знакомства таким несветским образом.

— Оно и видно.

— Можете насмеяться сколько вам угодно, но тут нет никакого противоречия. Когда я вас увидел впервые, у меня сразу возникло ощущение, что было бы просто нелепо, если бы мы не познакомились. Мне кажется, что мы во многом будем понимать друг друга с полуслова.

— Какой дар предвидения!

— Не смейтесь. Мне достаточно взглянуть на вас, и я уже знаю, что вы, например, любите классическую музыку, играете в теннис или по крайней мере его настольный вариант и точно так же, как я, не умеете отличить яблоню от липы.

— Поразительное родство душ!

— Когда же вы дали мне понять, что простота нравов не ваша стихия, мне пришлось прибегнуть к другим средствам.

— Да еще каким! Втереться в доверие к пожилому человеку, заморочить ему голову всякими небывищами, вырядиться рыболовом... Это же посмешище! А где, между прочим, ваш бесподобный удильный агрегат?

— А там, под забором, я спрятал его в траве. Забудьте: спрятал, а не выбросил! Этот предмет займет еще свое достойное место в нашем семейном музее.

— Ну, знаете... это уж слишком! До свидания.

— Нет! Пойдите. Семейный музей я пока что беру обратно. И вообще вы не можете так просто повернуться и уйти, так как по приказу папы вы должны быть любезной по отношению ко мне. Между прочим, все, что я поведал вашему батюшке, чистая правда. Так же, как и все то, что я говорю вам. Я вообще неохотно говорю неправду.

— Зато часто.

— Не чаще, чем другие.

— Сколь благородное качество.

— О, у меня есть еще благороднее. Ну вот, например: я очень сдержан.

— Да что вы говорите!

— Истинно так. Судите сами: я до сих пор не объяснился вам в любви, хотя это является для меня жгучей потребностью.

— Но это еще произойдет?

— Все будет зависеть от вас.

— В этом случае вам придется долго ждать.

— У меня есть время. Кстати, я очень деликатен. Я стараюсь не говорить людям больше того, чем они хотят от меня услышать. Непрошенные признания бывают в тягость, а я не люблю причинять людям огорчения.

— Да вы к тому же еще и тонко чувствительная натура! Но как вы определяете, что от вас хотят услышать и что нет?

— Если люди искренни и не злы, они сами дают это понять.

— Со мной можете быть спокойны, я никогда не дам вам понять ничего такого, что могло бы служить поводом к любовному объяснению.

— Не будьте так жестоки. Это не вписывается в ваш образ, который я создал для себя.

— Вот как? Ну, так оставайтесь наедине со своим образом, а оригинал пойдет и займется папиными рыбами. На обед, наверно, должна быть уха, раз уж гости приглашены.

Оставшись один, Отто Батц еще некоторое время с мечтательной улыбкой не сводил глаз с того места, где только что стояла дама его сердца. Затем, заложив руки за спину, он прошелся по саду, остановился у свежес-

крашенных скамеек, хотел было присесть, однако из осторожности потрогал краску и отказался от своего намерения.

— Отец сам взялся чистить рыбу и посылает меня к вам, чтобы я вас развлекала, потому что вы наш гость,— услышал он голос Лиды, который ни на полтона не стал дружественней, чем был только что.— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю вас, я уже пробовал.

— Ах! Вы сели?

— Пока еще нет.

— Извините, это без умысла. Папа покрасил вчера вечером...

— И забыл прикрепить предупредительную надпись.

— Я вынесу вам кресло.

— Как можно, разрешите я сам! — горячо возразил журналист, обгоняя Лиду, которая направилась на веранду.

В дверях произошло небольшое столкновение.

— Ах, простите! Я так неловок...

— Это была моя вина.

— Никоим образом! Могу я взять оба эти кресла?

— Если вы будете так любезны.

Со всей галантностью и грацией, на которые он был способен, Отто Батц вынес два плетеных кресла и поставил их в траву.

— Я мил, не правда ли? Присядем? Прошу вас. Теперь мы можем с еще бóльшим удобством продолжить нашу беседу. Вы в отпуске?

— Да.

— Я так и думал. Давно пожаловали?

— Я считала, что это вам известно.

— Значит, скоро неделя. И надолго?

— Не знаю.

— Вам нравится здесь? Я имею в виду — в смысле природы?

— В этом смысле — да.

— Вы врач?

— У вас есть жалобы?

— Нет.

Она молчала, и он тоже. Может быть, он уже израсходовал весь свой порох, и ему становилось не по

силам напряжение атаки, а может быть, он размышлял о превратностях любви. Поэтому появление хозяина дома было встречено с облегчением.

— Э-э, что это молодежь так притихла? Лидочка, ты должна развлекать нашего гостя. Милый Отто, нельзя быть таким застенчивым с дамами, это не в их вкусе.

— Да, в самом деле. Я был несколько неуклюж. Если позволите, Эдуард Петрович, я теперь, пожалуй, пойду. Меня зовут дела. Вы перенесете мое отсутствие, Лидия Эдуардовна?

— Попробую.

— Но мы ждем вас к обеду! — еще раз напомнил хозяин дома.

Гость задержался как бы в нерешительности, с восторженным ожиданием поглядывая на даму.

— Мы ждем вас, — подтвердила Лида.

— С удовольствием! — поклонился Батц. — Итак, не прощаюсь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

где все хотят творить добро, а сами действуют во зло или по крайней мере идут по неправильному пути

— Весьма приятный молодой человек, — заметил генерал Грибов, когда Батц удалился за пределы слышимости. — Такой воспитанный. Ты не находишь?

— О да!

— Откуда столько иронии, детка? Может быть, ты привыкла к более блистательным кавалерам?

— Я надеюсь все же, что он не является твоим избранником для меня?

— Не является кем?

— Я имею в виду, уж не метишь ли ты мне его в жепшихи?

— Ах, Лидочка, в твоём возрасте можно бы говорить о таких вещах с меньшим пренебрежением.

— Если я когда-нибудь выйду замуж, то только по своему выбору.

— Воображаю, каков-то он будет... Ну ладно, ладно, не сердись, ведь это только шутки. Нет у меня никаких

задних мыслей, просто радуюсь расширению круга знакомств.— Генерал сделался серьезным.— Знаешь, Лидочка, я в самом деле начинаю сомневаться, правильно ли сделал, что приехал сюда.

— Ну что ты, папа, здесь так хорошо!

— Да, конечно, в смысле природы. Но... У тебя это первый отпуск в качестве работающего человека, не так ли, детка? Так скажи, ты еще не соскучилась по своей работе? Если не соскучилась, то к концу отпуска непременно соскучишься. Вот именно, знакомые комплексы. Трудно привыкнуть к праздности человеку, который за полсотни лет сознательной жизни ни одного дня не провел без дела. Вот сижу я со своими удочками на реке... Да-да, когда-то я мечтал о таком времяпрепровождении. Но теперь! Я скоро их возненавижу, эти удочки и эту рыбу!

— Папочка, ты странный. Это же была твоя мечта — родная деревня!

— Верно, и это было. Но тут играли роль... некоторые соображения. Теперь, однако, выяснилось... Ах, что об этом говорить!

— О чем не стоит говорить, папа?

— Так, не о чем. Нечто вроде миража в пустыне. Факир был пьян, и опыт не удался, как говорили в дни моей молодости. А теперь еще история с этим проклятым мостом.

— Каким мостом?

— Есть тут у них такой знаменитый мостик, своего рода достопримечательность. Через живописный ручей и так далее. Одним словом, больше для виду. Откуда мне было все это знать? Короче говоря, везу я сюда свое имущество на грузовике, вдруг под колесами трактарарах — и мостика как не бывало. Теперь моя задача любой ценой восстановить мостик в его первоначальном виде, а потом... Может быть, мне и в самом деле податься куда-нибудь в Сочи?

Как раз в этот момент, легок на помине, у садовой калитки появился Вильгельм Крейслер.

Хитроумный читатель, пожалуй, про себя усомнитесь: что-то слишком много совпадений, все происходит словно по заказу, как в плохой пьесе. Кому это кажется подозрительным, тому я должен разъяснить, что он путает причину и следствие. Не потому здесь происхо-

дят совпадения, что так удобно автору, а совсем наоборот, автор выбрал для описания эту истинную историю именно потому, что присутствующие в ней многочисленные совпадения делают ее из ряда вон выходящей и занимательной. Ну что я могу поделать, если Василий Иванович выбрал именно этот утренний час, чтобы опять навестить своего старого друга? Что ж мне теперь, хватать его грубым образом за шиворот у калитки сада генерала Грибова и переносить, наподобие летающего Карлсона, обратно под бочок супруги, чтобы он проспал до обеда? Нет, на такое я не пойду ни под каким видом, тем более что я с самого начала обязался не рассказывать ничего, кроме правды. Итак, давайте уж будем излагать нашу историю и дальше таким образом, как все происходило в действительности.

— Привет начальству! — весело воскликнул Василий Иванович, увидев в саду своего друга вместе с дочерью. — С праздником вас!

— Рад тебя видеть, Вилли! А какой сегодня праздник? Я что-то всех святых уже забыл.

— Не то что святых, ты и дни недели различать перестал, у тебя все семь дней праздник. Воскресенье сегодня, с одной стороны, выходной день у трудового народа, да и то не у всех, поскольку уборка еще не кончилась. Слышишь, комбайны на поле стрекочут? Ох, да тебе до этого дела нет, барон фон Грибов, лодырь царя небесного.

Василий Иванович шутил вполне добродушно, и он, естественно, даже не заметил, как при его словах по лицу его друга пробежала темная тень. Однако читателю должно быть понятно, насколько жестоко именно в эту минуту ранили генерала такие шутки.

— Осторожно, дядя Вилли, — вовремя подоспела внимательная Лида, когда Василий Иванович, с наслаждением вдыхая свежий утренний воздух, углубился в сад и как раз намеревался сесть на свежевыкрашенную скамью, — краска еще не высохла.

— Ох ты, едва не случилась беда! — все так же весело заметил председатель райпотребсоюза. — Так как, Эдик, пойдем, что ли, на речку, забросим удочки?

И снова Василий Иванович, ничего не ведая, наступил своему другу на больную мозоль.

— Только что оттуда,— мрачно ответил Грибов.— Да и время уже упущено. Что так поздно пришел?

— Проспал, с одной стороны, начисто проспал! — признался Василий Иванович.— Вчера опять за полночь уснуть не мог. Мне этот проклятый мостик всю душу вывернул. Львица уперлась, как пень. А у наших дорожников расходы по смете не предусмотрены.

— Н-да, ситуация... И что же теперь будет?

— Придется тащить кое-кого на административную комиссию.

Только Лида могла понять, какая внутренняя борьба бушевала сейчас в душе ее отца. Движимая состраданием, она своевременно и тактично, как это только умеют делать женщины, вмешалась в разговор:

— Дядя Вилли, я квас сделала, ох, и добрый. Может быть, выпьете стаканчик?

— И в самом деле, что-то жара сегодня разыгрывается с самого утра,— обрадовался Василий Иванович и позволил Лиде увести себя за руку в дом, укрощенный и послушный, как маленький мальчик. Велика власть женщин в этом мире!

Едва Василий Иванович и Лида скрылись в дверях дома, как за оградой, на тихой, безлюдной, поросшей травой улице, возникла новая фигура, не знакомая пока еще ни хозяину дома, ни нашему читателю. Наружность появившегося человека находилась в резком противоречии с обычаями и правами большинства жителей нашего села, что заставляет меня подробно описать его внешний вид и, значит, снова пасть в глазах приверженцев современного литературного стиля.

Мужчина этот был одет в синие брюки галифе, к которым, как известно, полагаются сапоги, однако вместо них красовались лишь носки неопределенного цвета и истрепанные спортивные тапочки. Далее на мужчине была надета коричневая неглаженная пижамная куртка, успевшая утратить все свои пуговицы. Ввиду отсутствия верхней рубашки под курткой была видна майка-безрукавка некогда небесно-голубого цвета, обтягивающая намечающуюся брюшко, а в широком вырезе майки на жирной груди рыжела густая растительность. Голова была не покрыта, и ничто не мешало кустистой светло-рыжей шевелюре выглядеть как беспорядочно набросанный стог соломы. Это сходство усугубляли не-

сколько застрявших в волосах соломинок, которые позволяли с достаточной определенностью судить об особенностях последнего ночлега владельца шевелюры. Исине-красная, опухшая физиономия была до самых скул покрыта многодневной щетиной. Из грудного кармана куртки торчал складной желтый плотничий метр.

— Здорово, мужик!

Подав голос, который звучал как затупившаяся циркулярная пила, незнакомец облокотился на штакетник, что выдавало его намерение не ограничивать разговор одним приветствием.

— Добрый день,— ответил генерал Грибов.

— Ты чего, живешь здесь, что ли? — кивнул незнакомец в сторону дома.

— Живу,— подтвердил Грибов.

— А-а... Вот я и гляжу — околачиваешься здесь. Ну, думаю, наверно, это и есть хозяин.

— Вы угадали.

— Раньше тут другой жил. А потом его упрятали куда надо.

— Это бывает.

— Да еще как бывает, должен я тебе сказать!.. Погодка хорошая.

— Да, ничего себе.

— Разрешите? — С церемонным поклоном незнакомец прошел в калитку.— Купил, значит, домик-то?

— Купил.

— Ну, и как он? Ничего?

— Ничего.

— Нет, я это в смысле, что крыша, может, протекает. Или, скажем, печка обратно же дымит.

— Нет, пока что все в порядке.

— Жаль... Гм, я это в смысле того что, мол, хорошо. А то мы аккурат с ребятами тута шуруем по строительной части. Громадная штука, животноводческие комплексы, все по науке, одни автоматы, только разве что коровки будут телиться пока еще по-старому, хи-хи-хи! Так я подумал: вот человек дом купил, отчего не помочь, если есть какая надобность.

— Спасибо за доброе намерение, пока ничего не надо.

— Ну конечно,— глубокомысленно заметил гость,— если все в исправности, тогда зачем же? А то иду мимо, гляжу, стоит мужик в серьезных годах, тем более, вроде меня, тоже из военных, почему бы, думаю, не попочь по-свойски?

Между тем угощение квасом закончилось. Лида и Василий Иванович вышли на крыльцо, и последний при виде Грибова с подозрительной личностью изобразил на своем лице немалое изумление. Но Лида тут же увела его в сад, чтобы дать возможность отцу самому отделаться от этого, как она сразу поняла, непрощеного гостя.

— В каких войсках служил-то? — продолжал незнакомец.

— В танковых.

— Видал чего! А я нет, я по пехотной части, восемь лет оттрубил сверхсрочно. В качестве капитенармуса. Ну, а потом выг... одним словом, с начальством недоразумение произошло. Ты представляешь, такого молодчика не оценили!

— Невероятно.

— Вот то-то и оно. Ну да ладно. Что было, то прошло. А ты сам-то давно демобилизовался?

— Несколько месяцев.

— Так, а кем служил? Небось по командной части?

— По командной.

— Видал чего! А сам кто по званию-то?

— Генерал-майор.

— Ага... Чего-чего?! Генерал-майор? — Бывший капитенармус выпрямился вдруг как-то сразу, как будто бы в его члены, как в мехи, внезапно закачали воздух.— Виноват! — жалобно заголосил он.— Вот ведь дурень! Не признал! Никайше просим прощения.— Он принял стойку «мирно», насколько это ему удалось, отдал было честь но, вспомнив об отсутствии фуражки, пошарил в карманах, нашел обломок расчески, попытался проборонить с его помощью свои кудри, потерпел неудачу, бросил расческу в бурьян и стал одергивать обмундирование. Исполняя все эти поспешные движения, бывший капитенармус все продолжал жалобно оправдываться и осыпать самого себя обвинениями:

— Не признал! Ха-ха-ха! Вот серость-то наша! Извините, товарищ генерал!

— Ах, бросьте,— отмахнулся Грибов.— Ну что тут такого? На лбу ведь не написано.

— Э, нет, не говорите! Ведь видать, видать же сразу! Ну как это я... Эх, срам какой!

— Да будет уж вам, какие пустяки! К тому же я в отставке.

— Э, не говорите! Отставка отставкой, а генерал... Это уж мы понимаем при всей нашей серости... Так что извините за беспокойство.

Бывший каптенармус опять принял стойку «смирно», затем поклонился по-штатски и снова встал навывтяжку.

— Так что разрешите иттить, товарищ генерал?.. Доброго здоровья, и счастливо оставаться...

— Ну, тогда всего хорошего.

При попытке повернуться кругом по-военному бывший каптенармус пошатнулся и, наверное, растянулся бы во весь рост, если бы Грибов не поймал его за локоть. Но когда гость был уже у калитки, хозяйина вдруг осенила идея.

— Погодите-ка, э-э... каптенармус. Может быть, вы все-таки представитесь?

— Это как имеют в виду товарищ генерал?

— Ну, назовите свою фамилию. Чтобы нам с вами как следует познакомиться.

— Это можно. Шиффбауэр мое фамилие. Шиффбауэр Антон Филиппович. Прошу прощения, Шиффбауэр с двумя «ф», что означает кораблестроитель, а не с одним, что будет означать косостроитель.

Тут я, как летописец, должен вставить свое примечание. Как правильно все же писать фамилию этого человека — с двумя «ф» или с одним, никто теперь не смог бы уже сказать с достоверностью. Слишком много воды, как говорят, утекло с тех пор.

— Да, различие существенное,— заметил генерал.— Итак, очень приятно, Антон Филиппович, разрешите со своей стороны — Грибов Эдуард Петрович. Значит, вы говорите, что строите корабли... гм, я имею в виду — по строительной части?

— Так точно, по строительной, товарищ генерал. Это вот где старый коровник ремонтируют, вот это самое мы и есть, товарищ генерал.

— Ах, оставьте вы вашего генерала! Скажите лучше, Антон Филиппович, вам никогда не приходилось иметь дело с мостами?

— С мостами? Как же не приходилось?— Антон Филиппович, учув возможность поживиться, быстро преодолел свое потрясение.— Вот с эдаких вот лет!— Он показал рукой на полметра от земли.— Новый пртышский мост знаете?

— Ну как же, вполне современное сооружение. И это ваша работа?

— Ну, это, как бы сказать, не то чтобы наша,— возразил Антон Филиппович после некоторого колебания.— А вот рядом, на одной речке...

— Гм... Ну ладно. Так вот если бы я вас попросил отремонтировать тут неподалеку один мостик?

— Это можно.— Антон Филиппович, как человек бывалый, знал, что удивляться ничему не следует.— С нашим удовольствием. Всегда готовы, как у пионеров... х-х. Это который же такой?

— По дороге на станцию. Лягушачий ручеек, знаете такое место?

— А, Лягушачий ложок! Можно будет.

— Там, очевидно, придется прогон заменить и частично настил.

— Слушаюсь, товарищ гене... В смысле не извольте беспокоиться, Эдуард Петрович. Будет сделано.

— Значит, возьметесь?

— Отчего же не взяться.

— Так... А могли бы вы прикинуть, во что это мне обойдется?

Антон Филиппович закусил нижнюю губу и высоко поднял брови.

— Гм... Это зависимо, сколько там чего. Матерьяльчик ваш?

— Материалов никаких не имею.

— Это хужее дело. Матерьяльчик, сами понимаете, его доставать надо. Дороговато выйдет.

— Ничего, я заплачу.

— Авансик не мешало бы.

— Лишь бы работа была сделана.

— Всенепременнейшим образом! Если Шиффбауэр за что взялся, то уж будет порядок.

— Вот как. И в каком же размере вам нужен аванс? — Старый генерал сиял от радости по случаю такой удачной находки.

— Так, значит... — Антон Филиппович привел в движение брови и все без исключения мускулы лица, что должно было отображать интенсивную работу его мысли. Едва не слышалось даже легкое гудение, как при работе электронно-вычислительной машины. — Да так с четвертную надо будет выделить для разворота, — выдал он наконец результат своих вычислений.

— Всего-то? — удивился генерал. — Я думал, больше. Вот, пожалуйста, получите двадцать пять рублей.

— Премного благодарны.

— Но только послушайте, дорогой э-э... товарищ Брюкенбауэр, то есть, извиняюсь, Шиффбауэр. Тут вот какое дело. Если вас кто-нибудь станет спрашивать, от кого вы работаете, и так далее, понимаете... Так лучше на эту тему не распространяться, ладно?

— Сделаем. Все будет в лучшем виде. Ах, да... В смысле аванса. Это вы истинную правду сказали... что маловато. Пожалуй, надо бы прибавить.

— Вот видите! Еще столько же?

— Не помешало бы.

— Вот, держите. Но чтобы все было сделано на совесть.

— Какой разговор! Если уж Шиффбауэр взялся...

— И еще вот что: в срочном порядке. Чтобы, так сказать, трава под ногами не выросла.

— Только скоростным методом! А не найдется ли у вас, товарищ генерал, я очень извиняюсь, маленько того... в смысле горло промочить? Как-то, понимаете, запершило в глотке, будто там ежик заворочался.

— Гм, — откашлялся Грибов с некоторым неудовольствием. — Ну что ж, поищу. Подождите минутку, я вынесу.

Лидя с ревнивым вниманием наблюдала издали за переговорами отца с подозрительной личностью. Когда же отец направился в дом, она извинилась перед Василием Ивановичем и пошла вслед за ним. А Василий Иванович был этому только рад. Ничто не мешало ему теперь ближе присмотреться к посетителю, который казался ему знакомым.

— Гм... Хорошая погодка нынче, — почувствовал се-

бя обязанным к этому замечанию Антон Филиппович, когда увидел перед собой бывшего председателя райисполкома.

— Да, подходящая,— подтвердил Крейслер.— Вы что, по делу к... генералу?

— Да так, кое-что по малости. Ремонт произвести.

— А вы случайно не плотник? — Какая-то идея, пока что не совсем определенная, начала вырисовываться в голове Василия Ивановича.

— Вот именно что плотник!

— Ага... Послушайте, а вы как, от организации или частным образом? — Идея начала приобретать все более четкие формы.

— А мы хоть как. Можно и от организации, а когда и частным образом.

— Так-так. Вот и мне частным образом лучше подходит.— Удачная идея созрела окончательно.— Слушай-ка, плотник. Тут вот какое дело. Надо бы отремонтировать один мостик.

— Как-как? — Антон Филиппович засомневался, не ослышался ли он.

— Мостик, говорю, ты что, глуховат? Небольшой такой.

— Понятно. Это который же?

— Через Лягушачий ложок, если ты с местностью знаком.

У Антона Филипповича сделалось такое выражение лица, как если бы он подавился живой лягушкой. Однако к его чести надобно опять заметить, что в критических случаях он старался мыслить по-современному, то есть ничему не удивляться.

— Это мы можем,— ответил он, не дрогнув.

— Вот этот, значит, мостик.— Василий Иванович выдержал логическую паузу.— Тут, видишь ли, вот какое дело. Оно бы можно, конечно, и официальным образом, но не предусмотрено титульным списком.

— Да-да-да! — подтвердил Антон Филиппович сочувственно.

— Так что сам понимаетесь,— продолжал ободренный Василий Иванович.— А дело срочное! Потому что к нам большой человек приезжает — сам товарищ Ананасов Иван Кузьмич.

— Ого! — поразился на всякий случай Антон Филиппович, хотя фамилию такую слышал впервые.

— Так что ты уж, братец, сделай как-нибудь. А мы тебя не обидим, счет напишешь, я там выясню, по какой статье у нас недорасход, скажу тебе, что писать, понял?

Не надо упрекать Василия Ивановича в беспринципности! Ведь верность принципам можно понимать и так, и эдак. Одни с остервенением стоят на своих убеждениях, которые меняют, как перчатки, другие же всегда или долго придерживаются одних и тех же взглядов, но позволяют себе на практике руководствоваться и чужими.

— Ясно.— В таких делах Антон Филиппович действительно чувствовал себя как рыба в воде.

— Значит, договорились?

— Сделаем. Вот только насчет матерьялу трудно-вато.

— Трудновато, говоришь?

— Ага. Авансик не мешало бы.

— Авансик? Ничего не выйдет.

— А так сумлеваюсь. Матерьяльчик доставать надо.

— Так, так, матерьяльчик. Ну ладно.— Василий Иванович неохотно достал бумажник.— Вот, держи, даю тебе двадцать пять целковых своих кровных. Только потому, что ты с генералом знаком. Но — гляди!

— Маловато будет,— заметил мастер, ибо аппетит, как известно, приходит во время еды.

— А если надуешь? — высказал Василий Иванович вполне реалистическую мысль.

— Да что вы! Сроду-то Шиффбауэр кого надувал? Спросите вот хоть товарища генерала, они меня с этих вот лет знают,— он показал рукой на полметра от земли,— и завсегда как чуть чего, сделайте, пожалуйста, Антон Филиппович, будьте так добры, и все на честность. А без матерьяльчика, сами понимаете...

— Черт с тобой, держи еще десятку. Но смотри, чтобы без никаких и в темпе.

— Понятно. Скоростным методом. И чтобы никто ничего...

— Да ты, видать, смысленый малый.

— Рады стараться! — И, завидев на крыльце хозяи-

на дома, который спускался с бутылкой и двумя чайными стаканами в руках, Шиффбауэр с двумя, но, может быть, действительно с одним «ф» добавил с ликованием: — А вот и магарыч подоспел!

Несколько смущенный присутствием Крейсера, генерал начал было пояснять:

— Тут вот надо товарищу поднести... для утоления жажды...

— Совершенно правильно! — охотно поддержал Василий Иванович. — Ему следует.

— Вы уж стаканчики между собой поделите, товарищ генерал, — поспешил Шиффбауэр с практическим советом, — а я уж остаточным образом, из горла.

— Если вас это устраивает... — не стал спорить генерал.

Он налил себе чуть-чуть на доньшке, вдвое больше влил в другой стакан, предназначенный Василию Ивановичу, остальное же, — а это была добрая половина бутылки, — отдал Шиффбауэру. Василий Иванович изрек свое: «Кто за? Кто против? Кто воздержался?» — и все трое, бегло чокнувшись сосудами, достойно завершили удачную сделку.

Таким образом, почтальонше Гуле, которая как раз появилась с утренней почтой, довелось наблюдать изумительную картину.

— На здоровье! — крикнула она из-за калитки. — Пожалуйста, ваша почта. — И вручила шарахнувшемуся навстречу генералу Грибову районную газету «Светлый путь».

— Сам сатана принес ее сюда! — застонал Василий Иванович и зашатался, словно пораженный молнией. А поскольку он стоял рядом со скамьей, то без сил опустился прямо на нее.

В тот же момент он вспомнил о недавнем предупреждении Лиды и вскочил на ноги, но, увы, было поздно. Обширная седалищная часть его брюк была густо окрашена масляной охрой.

— Ах, черт тебя подери, с одной и другой стороны! — воскликнул Василий Иванович в отчаянии.

А Гуля с выражением небесного восторга на лице одним прыжком повернулась кругом и, не чуя под собой ног, помчалась прочь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

из которой становится очевидной важность достоверной информации в наш век технического прогресса и, наоборот, вся губительность сведений, вводящих в заблуждение

Настало время ввести моего любознательного, современно мыслящего читателя — именно для него пишу я эти строки — в служебный кабинет председательницы колхоза Фриды Лёвен, ибо еще древние римляне говорили: покажи мне свой кабинет, и я скажу тебе, кто ты.

Прежде всего о размерах. Если сопоставить их, как это принято в наше время, с размерами спортивных площадок, то приходится с сожалением признать, что в кабинете нашей председательницы никакими подвижными играми, кроме разве что настольного тенниса, заниматься было бы невозможно. Игры с мячом большей величины исключались хотя бы уже присутствием трех застекленных книжных шкафов (одного с общественно-политической литературой, другого с энциклопедиями всякого рода и третьего с литературой по сельскому хозяйству). Хотя Фрида Лёвен председательствовала уже много лет, она почему-то еще не пришла к естественной мысли, что, вместо того чтобы читать книги, она могла бы их писать.

Письменный стол председательницы был поставлен — разумеется, из гигиенических соображений — левой стороной к окнам в ближайшем ко входу углу комнаты. Это нередко приводило в замешательство посетителей, вооруженных привычкой, прежде чем приблизиться к служебному лицу, преодолевать по соответствующему значимости сего лица ковру соответствующее этой же значимости расстояние.

В кабинете находились: маленький столик с комбинированным переговорным устройством, продолговатый стол для совещаний с рядами стульев по сторонам, журнальный столик с двумя низкими креслами в дальнем углу и обтянутый искусственной кожей диван. На стенах висели подробные планы колхозных угодий, заштрихованные и покрашенные акварелью под тем или иным углом зрения.

Пожалуй, стоит еще упомянуть, чего здесь не было. Не было, например, телевизора, ибо Фрида Лёвен не питала пристрастия к хоккею, да, кроме того, хоккейные трансляции приходится у нас на те часы, которые никто уже не проводит в служебных кабинетах. Что же касается футбола, то для Фриды Лёвен существовала только команда своего колхоза, которую по телевидению не увидишь, зато тем чаще можно было видеть на районном стадионе. Рассказывают, будто бы однажды наша председательница, увлеченная матчем на первенство района, забыла об одном важном совещании и за это угодила в доклад областного звучания.

Если мы сейчас войдем в вышеописанный кабинет, то вместо Фриды Лёвен застанем там знакомых трех подружек — Розьхен, Вало и Дору, которые, нервно ходя по комнате, беседуют между собой в интонациях величайшего нетерпения.

— Ох, уж эта тетя Фрида, бессовестная! Сказала: «Сейчас приду, непременно дождитесь», — а сама пропала, — жаловалась Роза.

— Теперь будем здесь сидеть, как арестантки, а в «Промтовары» лаковые туфли привезли, — продолжала Валя.

— Это ты виновата, Розка, — подытожила Дора. — Кто тебя тянул за язык болтать об этом генерале?

— Откуда же я знала, что она им так заинтересуется? Валька, может быть, ты знаешь, в чем тут дело, с этим генералом?

— Понятия не имею, девочки.

— Странно, — заключила Дора.

— Тихо, она идет! — крикнула Валя.

Дора и Роза шмыгнули в угол, к журнальному столу, Валентина же — на свое место, в приемную.

Председательница появилась, на ходу заканчивая разговор с инженером.

— Так, значит, две недели еще разрешило тебе твое начальство?

— Две недели и ни дня больше, тетя Фрида. Теперь, значит, так: я отремонтировал для себя лично ваш старый «ЗИЛ» и могу с завтрашнего дня повозить пшеницу на элеватор. А кстати, сделали что-нибудь с тем мостом по дороге на станцию?

— А кто с ним что сделает? Дорога не наша, мост

за районом, пусть они и беспокоятся. Дай сюда телеграмму, я напишу резолюцию для бухгалтерии, чтобы ты с голоду не помер. Значит, бегают машины?

— Как видите.

— А через две недели ты, стало быть, тю-тю?

— Иначе никак нельзя, тетя Фрида.

— Ах, загонит меня в могилу этот машинный парк!

Ну где я найду человека на твое место?

— Кто-нибудь объявится со временем, тетя Фрида.

А до конца уборочной все будет в порядке. Можно мне идти?

— Иди, иди...— устало произнесла Фрида Лёвен и тяжело опустилась в кресло за письменным столом.— Девчата, вы еще здесь... О чем это мы с вами говорили? Ах, да, об этом генерале. Так ты говоришь, Розьхен, он ужасный? В каком же это смысле ужасный?

— Пьяница он, вот в каком. Председателя райпотребсоюза вовлек в свою компанию, и они кутят там дни и ночи, Гуля-почтальонша своими глазами видела. А недавно нашел себе нового собутыльника — вашего лучшего друга Шиффбауэра. Что они там вытворяют, не поддается описанию. Нам Гуля все в точности рассказала. Шиффбауэр хлещет прямиком из горлышка, а эти двое из чайных стаканов сразу с утра пораньше. Гуля очевидец. А Василий Иванович настолько уж был хорош, что по самую шею в масляной краске вымазался, прямо в ведро залез и там бултыхался.

— Что-то ты, девонька, сочиняешь: как же он в ведро-то залезет, ведь не гном какой.

— Ну, тогда, значит, в бочку.

— Вот напасть-то!— огорчилась тетя Фрида.— Не хватало нам собственных пьяниц, теперь еще подкрепление прибыло! Ну, а откуда же он взялся, этот пропойный генерал, вы хоть фамилию его узнали?

— А как же! — выскочила Розьхен.— Его фамилия... как-то не то Ягодкин, не то Малинкин. Или Рябинкин? Нет, никак уж не Рябинкин. Но что-то лесное, это уж определено.

— Ах, Розка, беспамятная ты, — вмещалась разумница Дора.— Грибов его фамилия, Грибов Эдуард Петрович... Ой, что с вами, тетя Фрида?

Фрида Лёвен, урожденная Фронау, вдруг побелела как полотно. Она зачем-то привстала, но не смогла сдви-

нуться с места. Так и застыла, опершись руками о стол. Девушки загалдели жалостливо. Валя уже спешила со стаканом воды.

— Ничего, ничего, оставьте,— бормотала тетя Фрида слабым голосом.— Так что-то, голова закружилась. Сейчас пройдет.

Однако не проходило. Попробовав сделать шаг, тетя Фрида с легким вскриком схватилась за сердце. Пришлось с предосторожностями отвести ее к кушетке.

— Ах, тетя Фрида! — щебетала беспечная Розьхен.— Весь день на ногах, да еще, наверно, на голодный желудок.

— Не галди! — прикрикнула Дора.

— Врача бы надо,— сказала Валентина.

— Да будет вам, чего еще придумаете! — запротестовала тетя Фрида.

— Нет, врача, причем немедленно! — подтвердила Дора.

— Легко сказать — немедленно,— заметила Валя.— Когда вся медицина на полевых станах.

— Я знаю! Я сейчас! — воскликнула Розьхен и убежала из кабинета.

Валя вышла в приемную, чтобы отражать напор посетителей.

Тетя Фрида лежала на спине с открытыми глазами, и в этих глазах стоял испуг. «Инфаркт? — думала она.— Ну что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Люди нашего склада от старости не умирают. Они умирают на посту». Слезинка сбежала из правого глаза, уползла мимо уха за шею.

Дора, сидя на краю дивана, держала руку больной.

— Только спокойствие, тетя Фрида. Пульс у вас нормальный,— лгала она, не сумев нащупать ни одного удара.

— Спасибо тебе, доченька, спасибо, голубушка,— бормотала тетя Фрида.— Мне уже легче,— лгала и она в свою очередь.

Но кого же это привела сейчас Розьхен в кабинет занемогшей председательницы? Да ведь это не кто иной, как дипломированный врач Лидия Эдуардовна Грибова! Поздоровавшись, она ставит свой черный чемоданчик на стол для совещаний, достает стетоскоп со змейкой резиновых трубок, аппарат для измерения кровяного давле-

ния, садится там, где только что сидела Дора, сует тете Фриде термометр под мышку, а себе концы стетоскопа в уши, ставит раковинку стетоскопа на грудь больной. Ни один мускул не дрогнет на лице, не выдаст впечатления, которое производит на эту юную персону биение сердца пациентки.

Осмотр, сопровождаемый краткими, точными вопросами, протекал обычным путем. Девчата шептались. Валентина, стоя спиной к двери, отражала попытки посетителей открыть ее снаружи и наконец, заперла дверь на замок.

— Когда в последний раз вам измеряли давление?

— Что-то вообще такого не припомню,— отвечала теть Фрида, виновато улыбнувшись.

— Вам надо регулярно показываться врачу. Вы часто болеете?

— Где там, голубушка моя, когда нам болеть-то?

— Я вам не голубушка, а врач. В разговоре с врачом нужна деловитость,— возразила Лида мягко, но решительно. Она не переносила, когда ее не принимали всерьез.— В недавнее время вы не болели?

— Болела, болела, чего уж там,— не выдержала Розьхен,— а потом встала, не поправившись как следует. Правда, правда, теть Фрида, и нечего на меня так смотреть.

— Верно, была у меня недавно небольшая как бы простуда.

— Я выпишу вам рецепт,— Лида приготовила блокнот.— Ваша фамилия?.. Так, больная Лёвен, вот, пожалуйста. Вам придется некоторое время полежать в постели. У вас в сердце остаточные явления.

— Остаточные явления,— повторила теть Фрида.— Кто бы мог подумать!

— Итак, постельный режим. Завтра я вас снова навещу.

— Постельный режим! Тебе легко сказать, голубушка. Уборочная ведь!

На этом маленьком примере читатель еще раз убеждается, как непоследовательны женщины, даже если они занимают высокие посты. Ведь только что Фрида Лёвен была мыслями уже в инфаркте, теперь же ей невыносима стала мысль о нескольких днях постельного режима.

— Больная, вы не имете никакого отношения к уборке! И предписания врача обязательны для всех.

Вдруг Лида почувствовала, что для нее эта женщина значит больше, чем обычная пациентка. Почему? Потому что она несла на своих плечах тяжелое бремя председателя колхоза? Потому что у нее в крепком теле крестьянки билось слабое, ранимое сердце с остаточными явлениями внутри? Кто бы мог это объяснить... Возможно, есть у женщин какое-то шестое, а может быть, еще и седьмое, а может быть, еще и восьмое чувство, и пути женского чутья воистину неисповедимы. Так или иначе, но Лида прониклась сочувствием в большей степени, чем это полагалось врачу.

— В вас столько силы и столько красоты! Да, да, не машите рукой. А вы так безоглядно перенапрягаете свой организм! Я понимаю, столько обязанностей. Но я прошу вас — отдохните немного, пожалуйста! Хорошо? Я вас очень прошу.

— Ах ты моя голубка! — Тетя Фрида погладила руку Лиды. — Ладно уж, попробую я, попытаюсь.

— Ну вот и хорошо. Есть у вас тут электроплитка? — Лида направилась к своему чемоданчику.

— Неужели колоть будешь? — вздохнула тетя Фрида.

Кипятился шприц. В сопровождении Доры Лида пошла мыть руки. Валентина проводила ее ревнивым взглядом.

— Такая воображала! — не смогла она сдержать своего раздражения. — Сразу видно — генеральская дочь!

Эту неприязнь Валентины к Лиде никто не смог бы логически объяснить. Наверно, и в данном случае мы имеем дело с тем же седьмым или восьмым чувством, которым обладают женщины.

— Как ты говоришь? Генеральская дочь? — взволновалась вдруг тетя Фрида. — Того самого генерала?

— Ну да, — подтвердила Розьхен. — Я неправильно сделала, что привела ее, тетя Фрида?

— Ах, почему же? Врач есть врач. Только — как все получается... Странно!

Задумчивая улыбка появилась на лице тети Фриды.

— Пожалуйста, обнажите определенное место, — велела Лида больной.

— Вы уж идите, девчата, — сказала тетя Фрида. —

Валентина потом как-нибудь доставит меня до дома, правда, Валюша?

Девушки вышли, дверь щелкнула замком. Мы же, дорогой читатель, лишь отвернемся на минутку в сторону, но останемся тут, ибо нам непременно надо присутствовать при разговоре, который произойдет вслед за известной процедурой.

— Ну вот. А теперь лежите спокойно. Через час вам можно будет поехать домой. Только избегайте всяких перегрузок, договорились?

— Да уж постараюсь,— ответила тетя Фрида неопределенно. Увидев, что врачаха укладывает в чемоданчик свои принадлежности, она добавила поспешно: — Может, посидишь еще минуточку со мной?

— Конечно же, охотно!

Лида села на край кушетки.

— Ты, наверно, не здешняя,— сказала тетя Фрида после недолгого молчания,— я тебя раньше как-то не видела.

— Я в отпуске тут.

— Вот что. У тебя здесь родственники есть?

— Отец недавно поселился тут. Это вообще-то его родная деревня.— Лида нащупала пульс больной.— Вот видите, сердечная деятельность значительно активизировалась. И цвет лица улучшился.

— Великая сила медицина. Скажи-ка, твой отец, он правда генерал?

— Да, только теперь в отставке.

Сердечная деятельность тети Фриды активизировалась настолько, что этот факт мог бы, пожалуй, произвести переворот в медицинской науке, если бы он так и не прошел бесследно: к очевидному ущербу для медицины, теперь не Лида держала руку больной, а наоборот.

Председательница вдруг почувствовала страх перед дальнейшими расспросами. Но еще больше она боялась упустить эту неповторимую возможность.

— Ты все время живешь со своим отцом?

— Нет, с тех пор, как я поступила в институт, мы живем порознь. Он в одном городе, а я в другом,— ответила Лида. А про себя подумала: «Таковы уж мы, женщины! И эта славная тетка, несмотря на свой высокий пост, тоже любопытная, как все другие...» Но эта мысль нисколько не повредила ее симпатии к больной.

- А почему он вышел в отставку?
- Главным образом из-за здоровья. Случился не-большой инфаркт. Ну, и последствия ранений...
- Ах, боже ты мой! Ну, а теперь он как?
- Теперь опять в хорошей форме. Ведет здоровый образ жизни, а это главное в таких случаях.
- Здоровый образ жизни? Ты это точно знаешь?
- Точно ли я знаю? Как же мне не знать, каков об-раз жизни моего отца?
- Да, да, конечно... Ох!
- Что с вами?
- Нет, ничего. Тут что-то кольнуло.
- Лежите спокойно. Дайте-ка ваш пульс. Опять сильно учащенный. Вам не надо разговаривать. Это вас переутомляет.
- Твоя правда. Не следовало бы мне, это меня дей-ствительно переутомляет,— проговорила тетя Фрида отрешенно.— Странный народ мы, женщины.
- В самом деле. Будто кто нас кнутом погоняет.
- Верно! Ах, доченька ты моя!
- Любим поговорить, это наша слабость.
- Вот-вот. Особенно о чужих делах, которые нас вовсе не касаются. Да, да, совершенно не касаются... Значит, теперь ты живешь вместе с отцом? А мать у те-бя есть?
- Нет, она умерла несколько лет назад.
- Вот что... И ты, значит, довольна своим отцом?
- Конечно, я довольна своим отцом, почему же мне быть им недовольной? — рассмеялась Лида.
- Вы ладите между собой?
- Еще как! С моим отцом можно ладить.
- Гм... Можно ладить, говоришь?.. Значит, он тебя не обижает?
- Ну с чего бы ему меня обижать? — понемногу Лида начинала уже возмущаться.— Почему это вам вдруг пришло такое в голову?
- Ты на меня не сердись, я ведь, деточка, это по-хорошему. Я же знаю, мужчины есть мужчины, и у всех у них есть слабость...
- Мой отец воинский начальник! Пусть даже и в от-ставке.
- Ах, деточка, ну и что из того, что начальник? На-чальники тоже не без изъяна. Да военным это, может, и

простительно. После всяких опасностей и тягот... в своей мужской компании... конечно, позволяют себе люди то да сё.

— Я вас не понимаю. Что себе позволяют люди?

Тетя Фрида заколебалась, но отступить было уже некуда.

— Скажи-ка по правде, деточка... он ведь выпивает при случае, твой отец?

— Ах, вот о чем разговор! Нет, это уж как раз ошибка: алкоголь ему категорически противопоказан.

«Защищает отца, хорошая дочь,— подумала тетя Фрида.— Точно так вела бы себя и моя дочка...»

— Тебе нечего стыдиться за своего отца,— сказала она, не обращая внимания на протесты Лиды.— С каждым может случиться. Военный человек, фронты прошел, столько пережил,— думаешь, я не понимаю? Только знаешь что, тебе как врачу надо бы повлиять на него. Отец ведь все-таки, не чужой человек.

Лида не знала, то ли ей плакать, то ли смеяться.

— Милая тетя Фрида, откуда вы все это взяли?

— Ах, девонька! В деревне живем. На одном конце петух закукарекал, на другом слышно.

— Нет, нет, вы думаете определенно о ком-то другом.

— Ах, о ком же еще? Все только о нем! — И тетя Фрида отвернулась лицом к стене.

«Что-то здесь не так,— думала Лида.— Не надо было мне ввязываться в этот разговор. Пациентка разволновалась, у нее, наверно, опять жуткое сердцебиение и экстрасистолы».

— Дайте ваш пульс... Я же предупреждала, что вам не следует разговаривать. Лежите спокойно. С этими вещами нельзя шутить.

— Ты подразумеваешь — с остаточными явлениями?

— С ними самыми. Дышите спокойно, делайте полный выдох, хорошенько втягивайте диафрагму... Вот так. Теперь полное расслабление, медленный и глубокий вдох. Еще раз... Искусство дышать — это искусство жить, как говорил наш профессор. А теперь,— добавила она, взглянув на часы,— я пойду, а то мы с вами опять увлечемся каким-нибудь разговором, и вы снова разволнуетесь.

— Да? Ну, иди уж, если тебе надо... А вообще-то

могла бы еще минутку побыть. Мне это не вредит, разговор-то. Меня развлекает такой разговор, правда. Вот скажи, твой отец — он надолго сюда приехал? — Тетя Фрида старалась придать своему вопросу оттенок простого любопытства.

— Он вообще-то собирался поселиться здесь насовсем...

— Ну и что? Передумал?

— Теперь уж не знаю. Ему тут с самого начала как-то не повезло.

— Как это не повезло?

— Ах, такая смешная история, но отец все принимает ужасно близко к сердцу. Есть тут какой-то мостик через какой-то Лягушкин ручей, или как его там называют.

— Ну и что?

— Ну вот, каким-то образом отец этот мостик сломал, когда перевозил свою библиотеку. Теперь мучается, что никак не удастся его отремонтировать.

Тетя Фрида лежала спокойно, дышала глубоко, хорошенько втягивала диафрагму, потом расслаблялась, чтобы воздух наполнял легкие. Она вполне разделяла мнение профессора о значении искусства дыхания.

— Вот ведь что,— проговорила она с улыбкой и закрыла глаза. «Уж не потому ли хочет он теперь уехать из нашей деревни?» — Действительно, смешная история. Ну ладно, деточка, если уж ты собралась, то иди, мне сейчас в самом деле стало лучше.

— Но пока лежите, не вставайте. Хорошо?

Как только за Лидой закрылась дверь, тетя Фрида села на диване, сделала несколько дыхательных упражнений, потом решительно встала и заняла свое рабочее место. Затем уже в этом положении хорошенько втянула диафрагму, убедилась, что искусство дыхания ей удастся, и нажала на кнопку звонка.

В дверях появилась Валентина.

— Валя, что за голоса слышу я там, в приемной? Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Опять этот Шиффбауэр в претензии на бухгалтерию, будто его бригаде мало начислили, и хочет прорваться к вам с жалобой.

— Он еще смеет показываться мне на глаза, этот

пройдоха! Гони его в три шеи. Хотя.., погоди, пусть войдет.

— Нехорошо будет, тетя Фрида. Он.. настроен неподходяще для делового разговора.

— Что значит — настроен неподходяще? Пьян?

— Не то чтобы совсем пьян.. Но выпивши.

— Пусть войдет.

— И нахальничает.

— Пусть войдет. Я-то уж с ним как-нибудь совладаю.

Антон Филиппович предстал пред председательские очи. Он остановился на некотором расстоянии от стола и при разговоре прикрывал рот рукой, ибо отвращение председательницы к спиртному духу было ему хорошо известно. Под ее пристальным взглядом весь его наступательный пыл мгновенно улетучился.

— Ну, почтеннейший, как дела?

— Благодарим покорно, товарищ председательша, дела в порядке.

— Говорят, вы там чем-то недовольны?

— Никак нет, товарищ председательша, всем довольны.

— Как же так? Мне только что доложили, что у вас на бухгалтерию какая-то жалоба.

— Ах, пустяки! Не стоит разговора.

— Ну, а все же? Если несправедливо поступают...

— Да ну, важность какая! Немного маловато насчитали.

— Так, наверно, вы больше и не заработали?

— Наверно, так оно и есть, товарищ председательша.

— На выработку нажимать надо.

— Будем стараться, товарищ председательша.

— В общем ладно, пусть мне принесут наряды. Наряды-то есть?

— Должны где-то быть.

— Чего же ты жалуешься сам не знаешь на что?

— Ваша правда, товарищ председательша. Несурьезно действую.

— Ну вот, сразу уж и отбой трубишь. Может быть, бухгалтеры и в самом деле просчитались? Значит, принесешь наряды, и мы все проверим, договорились?

— Так точно, товарищ председательша. Можно мне теперь иттить?

— Сейчас пойдешь. Скажи-ка, Шиффбауэр, ты согласишься что-нибудь... в мостах?

Шиффбауэр сглотнул слюну и широко раскрыл глаза. На лице у него обозначилось смятение.

— Дело идет об одном тут мостике. Надо бы его отремонтировать.

— Знаю, знаю!— выпалил Шиффбауэр, как под гипнозом.— Через Лягушачий ложок.

— Правильно, через Лягушачий ложок. Чего это ты вдруг так испугался? С ним, насколько я понимаю, не так уж и много работы.

— Нет-нет-нет...— забормотал Антон Филиппович, охваченный суеверным ужасом.

— Как это нет?— удивилась председательница.— Там дела-то на полдня. И материал, пару прогонов да настил, как-нибудь уж я найду. Ну, Шиффбауэр?

— Шиффбауэр, с двумя «ф», с вашего разрешения.

— Да по мне хоть с тремя. Так как?

Антон Филиппович был все еще в нерешительности и как бы даже в состоянии шока.

— Даже аванс могу выдать, если есть такая необходимость.

— Нет, нет, не надо! Нет необходимости.

Отказ от материальных выгод всегда внушает почтение, какими бы мотивами он ни определялся. Председательница вздернула брови.

— Да что это ты в самом деле? Не узнаю тебя, Антон Филиппович. В последний раз спрашиваю: беретесь?

— Нет, нет! Хотя...— Сложная внутренняя борьба происходила в душе Антона Филипповича, явственно отражаясь на его, как всегда, небритом лице.— Вообще-то почему бы не взяться?.. Но нет, нет, ни за какие деньги!.. В том смысле, что... всегда готовы! Мостик, значит? Ха-ха-ха, этта можно, ха-ха-ха-ик!

И здесь на Шиффбауэра напала икота.

— Небольшой, значит, мостик? Ик-ик! Этта можно! Через Лягушачий, стало быть, ложок? Хи-хи-хи-хи... Для нашего брата это раз-два — и в дамки! Ик! По части мостов мы с этаких вот лет! Ик! И авансик, говорите?.. Хи-хи-хи... Нет, аванса не возьму. Ик! Шиффбауэр не какой-нибудь там... А вообще-то... почему бы и нет! Хи-хи-хи... Ик! Сколько дадите-то?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

из которой следует, что даже вполне современные люди могут проявлять себя в некоторых ситуациях отнюдь не в духе времени

В этот предвечерний час садик у дома генерала Грибова представлял собой идиллическую картину. Косые лучи клонящегося к закату солнца, пронзая листву яблонь и прочих деревьев, озаряли первый налет осенней позолоты. Стрекотали в траве кузнечики, гудели шмели, щебетали синички. Издали, лаская слух, едва доносилось жужжание комбайнов, работающих на полях...

Стоп, говорю я себе на этом месте. Описания природы и тому подобные излишества в современной прозе должны занимать строго ограниченное место, в противном случае может случиться, что читатель, избалованный разнообразием впечатлений современной жизни, уснет на самом интересном месте, в чем он, впрочем, уже неплохо поднаторел у телевизора.

Хотя все писатели знают, как необходим человеку сон и как вредна для его здоровья бессонница, и хотя все они желают людям добра, любой из них будет куда более рад узнать, что его произведения лишают людей сна, чем нечто противоположное. В этом плане я тоже не представляю собой исключение. Итак — к действию.

За садовым столом в тени большой яблони на скамье — высохшая краска уже не представляла больше опасности для одежды — сидел хорошо знакомый нашему читателю молодой человек по имени Отто Батц. Его пиджак висел на одном из сучков яблони, что аттестовало его как признанного друга дома. Перед ним на столе лежал отгиск газеты, шрифт которого был еще влажным и не особенно четким. Отто Батц читал отгиснутый текст, не испытывая при этом особого удовольствия, что явствовало как из выражения его лица, так и из интонации вздохов, которые он издавал через неравномерные промежутки времени.

Редактор районной газеты был настолько поглощен своим занятием, что даже появление Лиды прошло мимо его внимания. Он только тогда догадался о ее при-

сутствии, когда она, встав за его спиной и поставив чемоданчик в траву, зажала ему глаза своими нежными ладошками.

— Лидочка! — воскликнул редактор, вне себя от восторга, и схватил ее руку.

— Бессовестный! — ускользнула она. — Что вы здесь делаете?

— Как что? Жду вас, разумеется.

— Разве так ждут даму сердца? Что это такое?

— Это? Это одна из страниц завтрашней газеты. Я читаю ее так, между прочим, ожидая вас.

— Бедные читатели!

— Ну что вы, читатель у нас привычный. Лидочка, я та-ак соскучился о вас.

— Оно и видно. Где отец?

— Он на реке. Сегодня должен быть какой-то необыкновенный клев.

— Это он вам сказал?

— Нет, это я ему сказал. Ах, Лидочка, почему вы так поздно?

— Я была у больного.

— Как его зовут? Через четверть часа ему не понадобится больше никакой врач!

— Больной был женского пола.

— Это его единственное спасение. Надеюсь, теперь он вне опасности?

— Он проживет сто лет, если не будет водить знакомство с редакторами, которые пытаются быть остроумными.

— Один ноль и переход подачи.

— Вот так-то оно лучше, — заметила Лида и направилась в дом.

— Куда же вы? Остановитесь!

— Могу я переодеться?

— Ради меня? О, какое счастье!

— Не ради вас, а потому, что так надо.

— Богиня! — застонал редактор ей вслед.

Но как только Лида скрылась в доме, возобновил свое чтение. Время поджимало, еще час назад он должен был сдать этот оттиск, но мысли его были заняты совсем другим, поэтому теперь он читал вслух, перепрыгивая, однако, через отдельные слова и целые предложения, в

полном соответствии с современными рекомендациями по рациональному чтению.

Справедливости ради надо заметить, что в те времена, когда происходили описываемые события, о современном методе чтения широкой общественности еще ничего не было известно. Таким образом, наш юный герой мог бы с полным основанием оспаривать авторское право у ее признанных открывателей, заявивших о себе несколько позже, чего он не сделал и не сделает единственно из-за скромности. Если бы кто-то стоял рядом, то он из этого громкого чтения не понял бы ровно ничего. Честь этого эффекта принадлежит исключительно Отто Батцу, а что остается другим, так это лишь достижение того же самого результата для самого читающего лица.

— Тири-мири, дели-мели...—приблизительно так воспринималось на слух чтение Батца.— «...от каждой фуражной коровы...» Гм... «...Однако не все доярки...» Дели-мели, тири-мири... «...от каждой фуражной коровы...» Снова эта корова! Пойдем дальше. «...В первых рядах... С честью выполняют...» Тири-мири, дели-мели... «...на 120 процентов... Необходимо немедленно устранить все недостатки...» Тири-мири, дели-мели... Ну, нет, это не Бальзак!

Отто Батц схватился обеими руками за голову и пребывал несколько мгновений в состоянии глубокого огорчения. Но вскоре из этого состояния его освободила очаровательная Лида, появившаяся теперь в пестром, легком летнем платье, которое делало ее еще неотразимее. Отто Батц встряхнулся, как облитый пудель, и поспешно поставил свою подпись на газетном листе. Ах, кто на его месте поступил бы иначе, пусть бросят в него камень!

— Лидочка! — воскликнул он. — Я нокаутирован. Лидочка, принцесса, одну лишь маленькую минуточку, и только отвезу это увлекательное чтение в типографию, и я опять у ваших ног, навсегда!

Отто Батц стрелой вылетел со двора, с разбегу вскочил на мотоцикл и, взорвав тишину ревом мотора, исчез в облаке пыли.

Тем временем в саду появился хозяин дома со своими рыболовными принадлежностями.

— Доченька, ты, видимо, куда-то собралась, раз так красиво нарядилась? — удивился старый генерал.

— Ах, это ты, папа... Нет, викуда.

— Однако выглядишь совсем по-праздничному.

— Вовсе не по-праздничному, с чего это ты взял? Ты уже кончил ловить?

— Что-то не ловится, даже несчастный пескарь не клюет.

— Странно, а я слышала, что именно сегодня должен быть какой-то необыкновенный клев.

— Как интересно, мне и Отто говорил то же самое.

— Ну конечно, это же все знают. Сегодня ведь этот, ну, как его, день этого святого... Агафона. А на Агафонов день рыба клюет, как ошалелая.

— Что это с тобой, детка, ты, кажется, раньше не была суеверной?

— Это народная мудрость, папа.

— Скажи пожалуйста!

Нет, Лидочку было не узнать. Это новое платье она надела в первый раз. Ее интерес к рыбной ловле тоже был чем-то совершенно неслыханным. Но прежде, чем генерал Грибов смог привести все эти признаки в какую-то систему, раздался оглушительный треск мотоцикла и в сад ворвался Отто Батц. При виде старого хозяина он не сумел скрыть своего разочарования.

— Ах, вы уже вернулись, Эдуард Петрович? С хорошим уловом?

— Да ничего не поймал.

— Что вы говорите? А ведь должно бы, по всем приметам.

— Да-да-да, вот и Лида говорит, должно бы, согласно народной мудрости. Ведь сегодня день какого-то местного святого...

— Да, действительно, этого... — Отто Батц наморщил лоб, — как бишь его зовут...

— Агафон, — пришел на помощь догадливый генерал.

— Вот-вот, Агафон!

— Ну, раз Агафон, тогда деваться некуда, придется пойти еще раз испробовать. С народной мудростью не спорят.

С пожимающей улыбкой генерал скрылся за кустами.

Происходящие здесь процессы отвечали, по всей видимости, и его планам.

— Лидочка! — произнес Отто Батц после некоторой паузы.

— Да?

Отто Батц подошел на шаг ближе.

Почему объяснение в любви даже наиболее отважным мужчинам стоит известного напряжения воли? Ах, наверно, потому, что живет у них где-то глубоко в подсознании страх перед последствиями...

— Лидочка!

— Весьма содержательная беседа.

— Лидочка, я буду содержательным, я буду остроумным, я буду красноречивым, каким не был еще ни один влюбленный у самых классических классиков.

Ого, сколько наобещал! А на самом деле Отто Батц, как видно, предпочитает практические действия. Он хватает Лиду за руки и хочет увлечь ее в глубину сада, куда нам за ними отнюдь не положено следовать! Но нет, с Лидой этот номер не пройдет, она девушка строгих правил.

— Так где же оно, классическое наследство?

— Да-да, сейчас. Только сначала надо покончить с этой средневековой отсталостью и перейти на «ты». Договорились?

— Не возражаю, — отвечает Лида.

— Ага. Значит, так... Скажите мне «ты».

— Почему я первая?

Я замечаю улыбку превосходства на лицах моих умудренных жизнью читателей, я даже слышу их неудержимый смех: ха-ха, где это он видел что-нибудь подобное в наше время? Этот замученный фурункулами тракторист, который свихнулся на романах из прошлого столетия, решил поводить нас за нос и выдать за современность сцену из шпильгагеновских «Загадочных натур»! Но нет, мои милые, ничего я не собираюсь тут подтасовывать, а должен именно на этом месте еще раз со всей решительностью подчеркнуть, что у меня все перенесено на бумагу прямо из жизни. А сомневающимся я разъясню, что речь тут идет не о каком-нибудь первом попавшемся, а о нашем селе, мы не участвуем не в любом и всяком, а только в хорошем прогрессе, и у нас правилам обхождения придают пока еще немалое зна-

чение. Да и герои мои не первые встречные, не зря же я избрал их в качестве героев. И вообще, кто думает, что сегодня нет уже загадочных натур, тот глубочайшим образом заблуждается.

Итак, вернемся к нашим влюбленным. Отто Батц набрал полную грудь воздуха:

— Ну ладно, я начну... Гм...

— Вы красноречивы, как...

Мы никогда не узнаем, как кто или как что красноречив был Отто Батц, ибо в этот самый момент он полностью утратил контроль над собой и, налетев, как ураган, нанес Лиде поцелуй прямо в губы. Так что вовсе уж отсталым его тоже считать нельзя.

— Ох! Это соответствует классическим образцам?

— Да, приблизительно,— подтвердил влюбленный редактор.

В его взгляде была решительность. Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Лида, теперь я хочу быть серьезным,— сказал он наконец.

— Хорошо,— ответила она.

— Я тебя люблю.

— Да, я знаю.

— Мне вспоминается, как много лет назад я сидел в парке на скамейке наедине с одной девушкой, вот как сейчас с тобой, и напрягал всю свою волю, чтобы выговорить эти слова, но они не шли у меня с языка. Тебя не оскорбляет, что я сейчас об этом вспомнил?

— Нет.

— Тогда я думал, что дело действительно в решительности или нерешительности. Теперь же я знаю — дело было в совести. Совесть не позволяла мне солгать. А сейчас я говорю без всякого усилия воли: я тебя люблю. Просто констатирую факт.

— И совесть молчит?

— Какая же ты...

— Вот уже и первая ссора.

Она склонила голову ему на грудь. Остывшие солнечные лучи, путаясь в ветвях, слабо отражались листочками большой яблони над ними.

— Нынче лету, наверно, не будет конца,— сказала она.— Смотри, уже заканчивается сентябрь, а земля еще дышит теплом.

— Этот дядя, который там, наверху, решил нас побаловать. Для нас с тобой он продлил это лето.

— Ну вот, наконец мы заговорили о погоде.

— Действительно, неужели нам не о чем больше говорить? Между прочим, ты ничего еще мне не сказала.

— Ты все поймешь без слов. Пошли.

— Куда?

— Разыскивать отца.

— Пошли, — согласился он.

И они направились совсем в другую сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

*из которой вытекает, что причины порою ве-
дут вовсе не к тем следствиям, которых от них
ожидают*

Уже смеркалось, собственно, почти уже стемнело, когда генерал Грибов с пустым капроновым ведром в руке показался в пустом саду. Вот мы видим, как он внимательно осматривается, с осторожностью, чтобы не спугнуть тишину, прячет рыболовные снасти в чуланчик под крыльцом, неторопливо отворяет дверь, зажигает свет на террасе. Затем проходит внутрь дома, но задерживается там недолго, снова выходит в сад и в задумчивости садится на скамью. Так он сидит, погруженный в собственные мысли, две минуты, и пять, и десять, и целых полчаса. О чем задумался старый генерал?

Честно говоря, я этого не знаю. Быть может, о святом Агафоне, который в этом селе, а точнее говоря, в части села, где живут русские, был когда-то в особом почете, считался защитником местных интересов и ходатаем в небесной канцелярии, теперь же служил лишь материалом для всевозможных шуток и проделок. А может быть, Эдуард Петрович думал о неотвратимом ходе времени, ибо сколь непродуктивным ни является это направление мыслей для нас, простых смертных, мы то и дело возвращаемся к ним, приходя при этом к выводам, которые стары как мир, и если бы кому-нибудь удалось направить растраченную таким образом на про-

тяжении тысячелетий умственную энергию в полезное русло, то где бы мы были теперь в нашем всестороннем развитии? Ограничение для «простых смертных» я делаю, имея в виду поэтов, ибо именно для них наиболее непрактичные мысли как раз и являются наилучшим сырьем для их производительной деятельности; но это уже особая статья, куда с нашей компетентностью лучше не соваться.

С еще меньшей долей уверенности в правильности моей догадки я мог бы и дальше рассуждать о возможных направлениях мыслей моего старого героя, как многие авторы и поступили бы на моем месте. Но я вижу свою задачу прежде всего в том, чтобы по-деловому и со всей возможной точностью сообщать о случившемся, а не пускаться в философские рассуждения, ибо в этой области, как говорит моя жена, я совершенно «не компетентен», там подвизаются кандидаты и доктора, куда уж нашему брату с суконным-то рылом да в кашинный ряд. А кроме того, если бы я теперь пустился в пространные рассуждения, то мне понадобились бы месяцы, чтобы закончить мой рассказ, большичный же продлен еще всего лишь на неделю, а там мы снова вместе, мой верный «К-700»!

Все еще погруженный в свои мысли, Эдуард Петрович неспешным шагом пошел обратно к себе в дом. На верхней площадке крыльца он задержался, направил обеспокоенный взгляд в темноту, чутко прислушался, не достигнет ли слуха какой-нибудь многозначительный звук, и когда эти надежды не оправдались, скрылся с понурой головой в своем жилище, о котором он теперь с еще меньшей определенностью мог бы сказать, что принесет оно ему — счастье или же беду.

Лишь когда утренний рассвет уже основательно вступил в свои права, в пределах видимости этой уединенной тихой обители показались Лида Грибова и Отто Батц. Они держали друг друга за руки, как это делают маленькие дети, которые не знают других способов выражения взаимной симпатии и привязанности. Они не разговаривали и не смотрели друг на друга, они даже не шли в ногу, но они держались за руки, и это многое значило.

У крыльца они остановились.

— Теперь иди, — прошептала она.

Он кивнул согласно и не тронулся с места.

— Когда ты придешь? — спросила она, наверное чтобы облегчить ему расставание.

— Лучше всего я бы совсем не уходил, — ответил он тихо.

Но это были, конечно, красивые слова, произнесенные, наверное, для того, чтобы у нее не возникло чувство покинутости. А чисто практически Отто Батц не возражал бы против того, чтобы поскорее нырнуть теперь в свою постель и как следует выспаться.

— Не говори ерунду и приходи к обеду, — велела она.

— Хорошо, — кивнул Отто Батц и нежно поцеловал ее в щеку, потом в другую, потом в губы, но все это нежно и мягко, как это нравилось ей. Потом он поцеловал ей обе руки и пошел прочь.

За калиткой он с некоторой долей удивления обнаружил свой мотоцикл и без лишних рассуждений наступил на заводной рычаг. Невероятный треск потряс, взломал, разрушил предутреннюю тишину.

— Ты спятил! — крикнула Лида испуганно. — Отец же спит!

Но Отто Батц не мог ничего этого слышать. Он с адеким грохотом удалялся, но на ходу еще раз обернулся и помахал рукой.

Едва умолк шум мотоциклетного мотора, заголосили ближние и дальние петухи.

Ах, дитя! Спал сейчас отец или не спал, разве в этом теперь дело? Уснуть навечно он, слава богу, пока еще не собирался, а проснется он от мотоциклетного треска или от своей душевной тревоги, какая разница? Когда меня моя дражайшая будит в пять утра, так как не может найти свои резиновые сапоги, мне досадно, и я прихожу в ярость, но с другой стороны, разве я бы меньше рассердился, если бы она предоставила бы мне беспечно дрыхнуть в случае пожара?

Так или иначе, теперь той и другой стороне предстояло приготовиться к неизбежному объяснению. Кому приходилось быть отцом взрослой дочери, тот поймет, о чем я говорю. Равно как и та, кому приходилось быть дочерью.

Соблюдая верность своему правилу сообщать только о том, что мне с достоверностью известно, я продолжаю свой рассказ с того момента, когда Эдуард Петрович Грибов в трусах и майке проделывает свои ежеутренние гимнастические упражнения. Он размахивает ногами и руками, выжимается, лежа в упоре на руках, упражняет брюшной пресс, вертит головой, словно полуоторванной пуговицей, в ту и другую сторону, а в заключение исполняет стойку на кистях, что для его возраста не такое уж малое достижение.

Но кто же это стоит там, у ограды, наблюдая с явным наслаждением за всеми этими головокружительными трюками? Ну конечно же Гуля, наша маленькая любопытная почтальонша, которая обладает поразительной способностью всегда появляться там, где происходит что-нибудь необычайное. Таким образом, бравый генерал в тот самый момент, когда ему наконец удалось хорошо удержать равновесие и зафиксировать стойку, услышал громкие аплодисменты. Не успел он, однако, вернуться в общепринятое положение, когда голова вверху, а ноги на земле, как дерзкая, веселая личность уже мчалась прочь, не разбирая дороги, со звонким смехом, рукой придерживая на боку свою кожаную сумку. А в почтовом ящике, который с недавних пор был прикреплен к калитке, торчала не больше и не меньше, как районная газета «Светлый путь».

С этой небогатой добычей Эдуард Петрович направился в дом. Но уже спустя несколько минут он вышел снова, все еще в трусах, с зажатой в кулаке смятой газетой. Лицо его было мрачнее тучи, таким мы с вами никогда еще его не видели.

А этим временем Лида, в купальном халатике и с купальным полотенцем, повязанным вокруг головы, приближалась по тропинке от реки к родительскому дому. Она шла медленно, и в ее осанке было нечто от жертвенного агнца или по меньшей мере от школьника, идущего на трудный экзамен. Отсюда мы можем с легкостью заключить, что решающее объяснение еще не имело места. Лида, конечно, не чувствовала себя так уж нетвердо перед этим объяснением, но все-таки... Беседы такого рода между ней и отцом раньше не практиковались, а все ведь новое внушает нам неуверенность. Коротче говоря, Лида испытывала некоторую неловкость.

Еще большая робость охватила ее, когда она, войдя в сад, увидела отца, который каменным гостем стоял на пьедестале крыльца и всей своей фигурой выражал величайшее возмущение.

— Какое двуличие! — были первые слова, которые она от него услышала. — Притворялся таким скромным, таким воспитанным!

Лида ожидала всего, но только не этой яростной атаки. Никакое возражение не приходило ей в голову, и лишь одну фразу сумела она произнести, которая как бы сама собой слетела с ее языка:

— О ком ты, папа?

— О ком я говорю? Разумеется, я говорю об этом выдающемся деятеле журналистики и литературы, о твоём избраннике, который так бессовестно водил меня за нос!

Лида в полуобмороке опустилась на нижнюю ступеньку крыльца. Но в ней уже просыпались силы к сопротивлению. С опасным блеском в глазах, дрожащим голосом она произнесла:

— Может быть, ты мог бы более осторожно выбирать свои выражения, отец?

— Выражения! Гм... Выражения! — распалялся еще пуще переполненный гневом генерал. — Ты бы послушала, какие выражения выбирает он! — Эдуард Петрович взмахнул измятым листом газеты. — Может быть, почитать тебе? Вот, полюбуйся на эти выражения:

Рассужденья их просты:
Дескать, раз мы в чине,
Наплевать нам на мосты,
Пусть колхозы чинят.

Ну, как ты находишь? Мне, старому солдату, приписывать подобные рассуждения! Или вот послушай дальше:

Хоть бы кто-то навозил
Щебня на дорогу:
Тут тебе не то что «ЗИЛ»,
Черт сломает ногу.

Выходит, я должен делать и дороги. Какая чепуха! И в этом духе целых три колонки! И вот заключительный аккорд:

Не пора ли кой-кому
Спрятать спесь в портфеле
И по-настоящему
Порадеть о деле?

Высокая поэзия!.. Что с тобой, детка?

Величайшее смятение овладело старым генералом, когда его единственное дорогое дитя, его дочь, в бурном порыве, едва не сбив его с ног, бросилась ему на грудь. Она ластилась к нему, как маленький щенок, всхлипывала в судорожных рыданиях и тут же тряслась от смеха, целовала его пока еще не бритые, а следовательно, изрядно колючие щеки и лопотала какую-то несуразицу. Поистине неисповедима женская душа!

— Ах, папочка!.. А я-то думала!.. Я была совершенно убита. Так вот дело в чем!.. Но ты же не должен принимать все это так близко к сердцу!

— Детка, доченька! Что с тобой? Хорошо, хорошо, я не буду принимать это близко к сердцу. Но..

Внезапно Лида успокоилась. О чем-то задумалась. Вероятно, содержание злосчастных виршей только теперь дошло до ее сознания.

— Папа,— сказала она,— а почему ты все это относишь на свой счет? Разве там фигурирует твое имя?

— Еще чего не хватало! С меня довольно и этих намеков. О-о, хотел бы я теперь встретить твоего Ромео!

Нет, к такому обороту дела Лида не была подготовлена. Все она могла бы стерпеть — гнев, допросы, обвинения,— но только не это пренебрежение к ее избраннику.

— Тебе бы не следовало так говорить о моем женихе, отец,— заметила она тихо, со слезами в голосе.

— Теперь он уже ходит в ранге жениха! А для меня он разбойник пера! Интересовался моей биографией!..

— Ну, и что ж тут такого? Он искал предлога, чтобы познакомиться со мной, разве это преступно? Я лично не вижу тут ничего предосудительного.

— Ты лично не видишь ничего предосудительного также и в том, что твоего отца публично поливают грязью,— заметил генерал едко.

Ах, если бы не это внезапное вмешательство район-

ной газеты, его разговор с дочерью — ведь основные пункты этого разговора были заранее обдуманы — принял бы совсем другое направление. Да, он сказал бы ей, что он, разумеется, более или менее представляет себе развитие дальнейших событий, что он рассматривает Лиду как взрослого человека и не собирается ей ничего предписывать или запрещать. Он даже, откровенно говоря, рад тому, что она наконец остановила свой выбор на одном человеке, который... Но теперь все вдруг выглядело совершенно иначе. Именно на «котором» получилась заминка. Старый генерал пришел к выводу, что он коренным образом ошибался в оценке юного журналиста.

Ссоры возникают тогда, когда одна из сторон, а то и обе начинают неразумно думать, говорить или действовать. Понимание собственной неправоты приходит позже, если оно вообще приходит. В ссоре каждый видит неправоту другой стороны, но ни в коем случае не свою собственную, ибо это свойственно натуре человека. Были бы люди существенно иными, техникам и впрямь ничего бы не стоило заменить нас скучными роботами. Люди, которые не ссорятся, подозрительны. Так и хочется заглянуть в их грудную клетку: а не спрятан ли там, внутри, всего лишь набор пружин и шестеренок? Моя жена, вот уж не сторонница отхода от издревле существующих обычаев, сильно возмущается, когда я на ее брань недостаточно энергично реагирую: «Ты прямо-таки чурбан деревянный! Порядочный мужик давно бы взял вожжи в руки, а тебе хоть кол на голове теши!» О да, трудно со мной моей жене, но это уж предмет особого разговора, здесь же идет речь не о нас, а о старом генерале Грибове и его дочери Лиде.

— Покажи мне эту несчастную газету,— сказала Лида.— Стоит ли все это такого кипения страстей?

— Для тебя определенно нет. Вот, пожалуйста, получи продукт усилий своего ненаглядного.

— Кстати, я выхожу за него замуж,— заметила Лида сухо.

— Этого я и боялся.

— Боялся или нет, это дело решенное.

— Ну, разумеется. Таковы дети в наше время. Сперва жениться, а потом рядиться.

— Выходить или не выходить замуж, это мое личное дело.

— Само собой...

— Я приняла твердое решение.

— После всего этого?

— До всего, до этого! И менять свое решение я не собираюсь.

— Мне такой зять не нужен.

— Я выйду замуж по своему выбору!

— Ну, разумеется, что может значить для тебя какой-то там одинокий старик, называющийся твоим отцом!

Это был, конечно, удар ниже пояса. Но он возымел действие. Лида притихла и сделалась грустной. Все могла она снести, но вид отца, который несчастен,— это было свыше ее сил. Она сделала шаг по направлению к нему, хотела его обнять, но тут Эдуард Петрович, взгляд которого был направлен вдаль, вдруг промолвил:

— Да вот он идет, твой избранник.

И действительно, в дальней перспективе улицы вырисовывалась какая-то фигура, которая быстро приближалась. Это был мужчина с энергичной походкой, по-праздничному одетый, в лаковых ботинках и при галстукке, с большим букетом белых и красных цветов в руке,— по-видимому, это были розы и орхидеи. Он с предельной для пешеходов скоростью направлялся к дому Грибовых и уже размахивал букетом над головой в знак приветствия.

— Надеюсь, что вы обойдетесь без меня,— сказал генерал и скрылся внутри дома.

Откуда было знать молодому счастливцу, что происходило сейчас в душе его возлюбленной? Примчавшись на крыльях любви, он не предвидел ни малейшей опасности. Даже выражение известной суровости, если не сказать искудовольствия, на лице возлюбленной не произвело на него впечатления. Да что там суровость! Если бы в этот момент произошло землетрясение силою восемь баллов, чего за семьдесят лет существования нашего села, к счастью, ни разу еще не случилось, он и на него едва ли обратил бы внимание.

— Лидочка! — заговорил избранник тихо и с нежностью в голосе, приближаясь.— Как ты выпалась?

— Превосходно,— ответила она сухо.

— Это тебе,— сказал Отто Батц и протянул ей роскошный букет.

— Совсем не обязательно,— ответила она и заложила руки за спину.

Человек, явившийся причиной несчастья ее отца, существовал для нее именно лишь как таковой, вот что сейчас совершенно внезапно дошло до ее сознания.

— Лидочка, что произошло? — испуганно допытывался Отто Батц.

— Ничего.

Женщины знают, какого рода ответы наиболее верно попадают в цель, выводят нас из равновесия и повергают в прах.

— Но я же вижу... Лидочка, что с тобой?

— Ничего.

Дьявольски затруднительная ситуация для молодого человека, который явился делать предложение и ничуть не ожидал, что натолкнется на ледяной отпор. Милые бранятся — только тешатся, эта истина молодому человеку была знакома, но тут звучали такие интонации, которые не допускали и мысли о потехе.

— Послушай-ка, девочка, так дело не пойдет. Если что-то произошло, ты должна мне сказать. Представь себе наше будущее: что это будет за совместная жизнь, если мы станем настолько некоммуникабельны по отношению друг к другу.

— О какой совместной жизни идет разговор? Не будет никакой совместной жизни.

— Что-что? Я ничего не понимаю.

— Это не делает вам чести. Даже редакторам следовало бы хоть что-то понимать, по крайней мере в пределах их прямых обязанностей.

«Ну, она, кажется, не так уж непримиримо настроена, раз пускается в продолжительные пояснения», — подумал про себя несчастный влюбленный. Но теперь он обратил внимание на смятую газету, которую держала в руке его разгневанная невеста. Он мигом вырвал у нее свою злосчастную продукцию, ибо редакторы привычны искать причины своих злоключений в выпускаемых ими изданиях.

— Дай сюда! Какой-нибудь ляпсус?

Прежде всего редактор перечитал заголовки на всех страницах, потом подписи под иллюстрациями, потом фамилии, набранные жирным шрифтом. Ничто не давало ключ к разгадке.

— О боже, я уже вижу, как моя голова катится с плеч! Говори же скорей: в чем дело?

— Ах, он не знает!

— Действительно не знаю! Ну, не тяни из меня жи-лы, это для меня адски серьезно.

— Для моего отца это тоже было адски серьезно. Он сказал, что иначе представлял себе своего будущего зятя.

— Что ты говоришь?

— Он против нашего брака.

— Вот еще! Пусть придумает что-нибудь другое.

— Как ты позволяешь себе говорить такое о моем отце?

— А ты, кажется, уже готова покориться родительскому произволу?

Ах, глупость заразительна! Теперь и Отто Батц потерял благоразумие, ибо ему вся эта история стала слишком действовать на нервы. Да и как могло быть иначе? Вспомним, в каком настроении он явился, вспомним, что он до сих пор еще держал в руке свой огромный, с применением всей своей изворотливости приобретенный букет — теперь, правда, уже цветами к земле. А когда люди теряют благоразумие, для ссоры открыт зеленый свет.

— Произволу? Представь себе, готова! — бросила Лида со всей резкостью, на которую была способна, затем повернулась и скрылась в доме, хлопнув за собой дверью.

Отто Батц некоторое время смотрел ей вслед с расстроенным выражением лица, потом поднялся на крыльцо, несколько раз несмело постучал в дверь, но не получил никакого ответа. Постоял еще некоторое время в нерешительности, затем как бы вышел из столбняка, сбежал с крыльца, поднял с земли смятый лист газеты, еще раз наскоро изучил его от начала до конца, потом завернул в него свой букет и закинул все это вместе взятое в бурьян.

позволяющая читателю заглянуть в мир науки, пусть даже только через замочную скважину

Как коршуны, предвидя легкую добычу, преследуют раненого зверя, так подстерегают порой второстепенные вздыхатели развитую любовь.

В то самое время, когда происходили правдиво описываемые здесь события, в старой районной гостинице, что располагалась поблизости от чайной, находила приятную некая личность, вызвавшая в нашем селе крупную сенсацию. Этот человек прибыл к нам в начале лета из одного известного очень большого города и был у нас наречен «академиком», хотя в действительности он был не более чем аспирант. Уже одна его внешность недвусмысленно аттестовала его как ученого мужа. Прежде всего привлекали к себе внимание его очки. Таких в нашем селе до сих пор никто еще не нашивал. Черная роговая оправа была до такой степени массивной, что напоминала ярмо воловьей упряжки, такое самое, какое было выставлено в областном музее в доказательство нашего отсталого прошлого. В этом воловьем ярме вставлены были не стекла, а что-то наподобие серебряных пластинок, которые вовсе не были прозрачны, во всяком случае для того, кто смотрел на них снаружи. У встречного создавалось впечатление, будто этот вол — то есть, простите, «академик» — играет с ним в жмурки, и когда он таким образом разгуливал по селу, все осторожности ради загодя убирались с дороги, чтобы избежать столкновения.

Следующим выдающимся предметом внешности Карла Торновского — ибо именно так, а не иначе, звали ученого мужа, — была его борода.

Правда, по приезде аспирант Карл Торновский выглядел достаточно гладко выбритым молодым человеком, каковым он и предстал в первые дни перед людьми, которым он, ввиду своих научных интересов, счел необходимым отрекомендоваться: перед председателем райисполкома, начальником отдела статистики, заведующим райзагсом и редактором районной газеты. Всюду ученый гость снискал себе весьма интеллигентную

репутацию, ибо впечатление, производимое человеком, определяется, как известно, теми мыслями, которые его занимают. Вдобавок странствующий исследователь был вооружен миниатюрным звукозаписывающим аппаратом, опять-таки до сей поры невиданным в нашем селе. Он заставлял своих собеседников говорить в маленький микрофон и тут же воспроизводил их голос со всеми теми благоглупостями, которые они успели наговорить за столь короткое время, а это тоже вело к заметному росту авторитета науки. Этот научный прибор, как объяснил аспирант Торновский, понадобится ему при взятии намеченных им социологических интервью.

Вслед за тем вскоре юное светило бесследно исчезло на длительный срок с небосвода науки, равно как и общественной жизни, одна лишь продавщица продовольственного магазина имела счастье видеть его по утрам при покупке двухсот граммов колбасы, батона и бутылки молока. Но в один прекрасный день колхозный пастих Яшка-хромой был посреди степи поражен раздающейся, как гром с ясного неба, развеселой и разудалой музыкой, которая звучала скорее на марсианский лад. Пойдя на шум, он увидел в извилине речки лежащего на горячем песке животом кверху мужчину, на котором, кроме часов и огромных, серебряно поблескивающих на солнце очков в роговой оправе, ничего не было. Какой-то черный, научного вида прибор в кожаном футляре висел на ивовом суке и производил звуки к услаждению отдыхающего атлета.

По прошествии двух недель ученому мужу пришлось вновь представляться всем знавшим его ранее, ибо никто не узнавал его теперь ввиду хотя и короткой, облегающей нижнюю челюсть наподобие мохнатой салфетки, но тем не менее отнюдь не могущей остаться незамеченной черной бороды. Не всякий бородач является философом, гласит народная мудрость. Но уж если ты философ, то тебе, несомненно, пристало обзавестись бородой.

К тому же времени, когда мы намерены вывести ученого мужа на орбиту нашего действия, его борода уже представляла собой довольно внушительную, устрашающую, равно как и пугдающуюся в уходе заросль. Ну, а как к этому сроку обстояло дело с выполнением научного задания, об этом мы вскоре узнаем из

предстоящих бесед. Но прежде мы хотим довершить описание наружности научного работника.

Орган, помещавшийся на его лице, между очками и бородой, был, естественно, не чем иным, как носом. Но каким! Этот нос в свою очередь вполне мог бы стать предметом научного изучения. Наши сельские остряки характеризовали его как нечто среднее между паяльником и туннелем двухколейной детской железной дороги. Конечно, тут было некоторое преувеличение, однако не так уж и большое.

Волосистой покров на голове научного работника был настолько длинен, что вызвал в нашей деревне длительную «волосистую» дискуссию, поделившую всех жителей на два друг другу непримиримо противостоящих лагеря, причем сторонники долгогривости восполняли свое численное отставание яростью нападок, а также чисто практическими действиями. Правда, волосы самого научного работника, вызвавшие такие ожесточенные споры, не достигали ни колен, ни даже пояса. С другой стороны, они, бесспорно, были значительно длиннее, чем это вызывалось целесообразностью. А кроме того, они продолжали беспрепятственно отрастать и дальше, ибо за время своего пребывания в нашем селе «академик» ни разу не привел их в соприкосновение с режущим инструментом.

Голова ученого мужа, украшенная черной гривой с одной стороны и торчащим среди волосистых зарослей фламингообразным носом с другой, была насажена на длинной шее, которая сверху вниз постепенно расширялась и переходила в узкие, покатые плечи таким образом, что границу между этими частями тела провести едва ли было возможно.

Казалось бы, молодому человеку, который, кстати сказать, имел рост почти два метра, впору было бы скорее посочувствовать, чем позавидовать по поводу его внешности, если бы он сам испытывал хоть малейшее неудобство ввиду своих телесных недостатков или, вернее, излишеств. Но в том-то и дело, что он ничего подобного не испытывал. Напротив, Карл Торновский был полностью доволен собой как в физическом, так и в духовном отношении, и не без основания. Можно было бы предположить, что известная халатность природы по отношению к нему могла бы отрицательно отразиться

на его жизненном процветании и в частности на его успехе у прекрасного пола. Но насколько мне известно, все это было как раз наоборот. Тут лишний раз подтверждается старая истина: решает не то, что ты носишь, а то, как ты это носишь. Достоинство же, с которым аспирант Карл Торновский носил, всем на удивление, свой нос и все прочее, могло бы в свою очередь дать материал для целого социологического трактата.

Итак, мы говорим о науке. Нам не известно, что предусматривалось программой исследований аспиранта и какое место в этой программе отводилось контактам с особами женского пола. Однако в своей практической деятельности он ни в коей мере не пренебрегал этой категорией контактов. И наши колхозные парни уже взвешивали возможные санкции, применение которых изшло бы уголовным кодексом, и лишь уважение к науке еще удерживало их до поры до времени от ярко выраженного рукоприкладства.

Было это случайным совпадением или нет, но в тот самый день, когда у Отто Батца и его невесты возникли описанные выше роковые разногласия, мы видим аспиранта Карла Торновского в его лучшем костюме, а именно в униформе студенческого строительного отряда со множеством этикеток на разных языках, входящим на исходе дня в калитку грибовского сада. Хозяин дома как раз был занят поливом цветочных грядок.

— Бог на помощь! — приветствовал гость хозяина несколько устарелым образом, чем сразу подчеркнул свою незаурядность, и снял свои устрашающие очки. — Разрешите представиться, Карл Торновский, научный сотрудник.

— Очень приятно, — ответил Эдуард Петрович с приветливым поклоном. — Чем могу?..

— У меня к вам дело научного характера.

Генерал отставил лейку, вытер руки тряпкой и указал гостю дорожку к садовому столу.

— По поручению моего института, — продолжал научный работник, — я провожу здесь, у вас в районе, социологический опрос.

— Весьма интересно, — живо откликнулся генерал Грибов. — А с какой целью, если это не государственный секрет?

Но научный работник уклонился от прямого ответа:

— Как вы, возможно, знаете, бывают научные исследования, цели которых не так-то просто определить.

— Еще как бывают! — подтвердил генерал Грибов.

— Кроме того, никогда нельзя предвидеть, к каким результатам приведет то или иное исследование, — заметил Карл Торновский с улыбкой превосходства. — Порой выявляется информация, которая полностью опрокидывает наши традиционные представления.

— Вот как?

— А как же иначе? Никакая наука не может развиваться, не опровергая прежних знаний.

Глубина этой мысли произвела на старого генерала сильное впечатление. Откуда было ему знать, что мысли, высказываемые Карлом Торновским, имели к его собственной умственной деятельности примерно такое же отношение, как акустические эффекты, производимые его звукозаписывающим аппаратом, к полупроводникам этого прибора.

— В этом вы совершенно правы! — энергично поддержал Грибов. — Подлинная наука не боится новых открытий.

— Э-э, не скажите! Открытия, которые нам не в жилу, не долго и закрыть, как говаривали у нас в университете, ха-ха!

Удивление генерала Грибова широте мысли научного работника все возрастало. Но если бы он лучше знал своего гостя, то не удивился бы, когда Карл Торновский в следующей уже фразе отрицал то, что только что утверждал.

— Вы имеете в виду, что нельзя без критического отношения?

— Вот именно! И если бы вы знали, насколько тернист путь к новым открытиям! Я, например, беру уже тринадцатое интервью! Ужасно утомительно. А мне их нужно целых сто — можете себе представить? Но раз надо, значит, надо. Еще старик Вольтер говорил: люди ошибаются, когда судят о целом по тем ничтожным признакам, которые попадают в их поле зрения.

— Золотые слова! И наиболее распространенные мнения не всегда являются самыми правильными, — сказал генерал для поддержания разговора.

— В том-то все и дело. Нам еще многому надо

учиться. К сожалению, те, кому учение более всего необходимо, меньше всего к нему готовы.

— Так тоже говаривали в вашем университете?

— Да, откуда вы знаете?

— Просто догадался.

— Ах, так? На чем же бишь мы остановились?

— На выводах, которые нам либо подходят, либо нет.

— Разве? А я думал, что мы уже дальше ушли. Во всяком случае, нельзя больше терпеть отставание общественных наук перед лицом научно-технической революции. Привлечение наиболее продуктивных умов в технические отрасли творчества производит не просто ускоренный рост техники по сравнению с гуманитарными науками, оно ведет к угрожающему расширению пропасти между техническими возможностями и умением разумно пользоваться ими—это грозная опасность!

Положенный на лопатки этим высшим достижением умственной деятельности научного работника, старый генерал был окончательно покорен его идейным богатством и таким образом созрел для получения требовавшейся от него научной информации. Одновременно с этим в нем росло убеждение, что грозная опасность существенно уменьшилась с тех пор, как его гость начал ей противодействовать.

— Так чем вы все же занимаетесь?

— Ну, да так, помаленьку. Моя личная роль при этом остается пока более чем скромной. Я только собираю материал. Потом мы загрузим все это в компьютер...

— И он скажет, что надо делать?

— В идеальном случае, в идеальном случае. А знаете, что такое идеальный случай? Это нечто такое, что все допускают теоретически и никто не считает возможным практически, ха-ха! Кто бы возражал занять компьютер, который сейчас же давал бы нам на все вопросы математически обоснованный ответ. Мыслительный процесс чертовски утомительная штука! А бывает и так: компьютер нам одно, а мы его, извиняюсь, посылаем подальше.

Не прерывая разговор, молодой слуга науки вынул из футляра свой научный прибор широкого назначения

и с помощью черного, тонкого, извилистого шнура присоединил к нему маленький никелированный микрофон. Затем он выудил из неизмеримых глубин своего грудного кармана довольно истрепанный листок машинописного текста. Все это он проделывал без лишней поспешности, напротив, он вовсе не торопился, справедливо полагая, что действует в духе научной основательности и осмотрительности.

— Так вот это, следовательно, наша анкета,— удовлетворил он наконец все возрастающее любопытство объекта изучения.— Здесь совершенно конкретные вопросы. А конкретности избегает тот, кому она невыгодна, ха-ха! Итак: фамилия, имя — эти данные не обязательны, однако кто желает, тот может таким образом увековечить себя в науке. Затем пол, то есть мужской или женский. Возраст — это значит, сколько лет. Образование, профессия или источник дохода, семейное положение — холост, женат, сколько детей. Как видите, пункты «образование» и «количество детей» помещены на некотором удалении друг от друга, в действительности же они проявляют тенденцию близкой зависимости. Ну да, образованные считают, что рожать детей — это слишком элементарно, ха-ха! Далее идут такие вопросы: с какого времени проживаете в данном населенном пункте? Долго ли предполагаете здесь оставаться? Что определяет ваше намерение (остаться, уехать)? Следуют типичные побудительные причины, здесь достаточно отвечать «да» или «нет»: возможности для заработка, получения образования, применения своих способностей, вступления в брак и так далее. Как находите?

— Весьма содержательно. Ваша собственная разработка?

— Отчасти, отчасти. Как говорится, плод коллективного мышления. Итак, начнем? Пожалуйста, говорите в микрофон. Готовы? Я включаю.

Перед соблазном увековечить себя в науке Эдуард Петрович устоял и предпочел исследоваться анонимно. Вплоть до сообщения об источнике дохода все шло как по маслу. Но затем получилась заминка.

— Гм, видите ли, дорогой товарищ ученый, боюсь, что я, так сказать, нетипичная фигура. Как бы мне не испортить вам общую картину.

— Наука все стерпит. Надо точно знать факты, пре-

жде чем их исказить, ха-ха... Исключения подтверждает правила, и наоборот.

— Так-то оно так, но все же. Вопрос о том, давно ли я проживаю в данном населенном пункте, ставит меня в тупик.

Ученый муж высоко поднял брови и нажал на кнопку «стоп» своего прибора.

— Я имею в виду,— продолжал старый генерал,— как отвечать в случае, если проживание происходит как бы поэтапно.— Ему казалось, что было бы как-то неуважительно по отношению к науке выражаться коротко и ясно.

Поскольку ученый муж ничего не понял, он счел себя обязанным со своей стороны взять высокую философскую ноту. Под философией, несмотря на все усилия его профессоров внушить ему другое толкование, он понимал способ говорить путано о простых вещах. Итак, он наскоро полистал в памяти свои конспекты, пока не наткнулся на кое-что, показавшееся ему подходящим к случаю.

— Этапы этапами, но все дело в том, чтобы наполнить жизнь содержанием. Однако содержание может быть различным. Задачей науки является привести различные ценности к общему знаменателю и сделать таким образом сравнимыми. Однако что может служить общим знаменателем? Вот вопрос вопросов. Каждый отвечает на него по своему разумению. А между прочим существуют вопросы, на которые никто не может ответить за другого, потому что ответ связан с принятием ответственности. А кому хочется принимать на себя ответственность за чужие мнения?

Старый генерал все больше и больше изумлялся такому обилию учености. Но тут случайная оплошность аспиранта сообщила всему ходу событий резкий поворот. При включении своего научного прибора он по недосмотру нажал не на ту кнопку. Последовала музыка,— но какая!

Это была смесь писка, кваканья, кудахтанья, мычания, свиста и визга, которая звучала так, как будто внезапно среди ночи был потревожен целый вавилон животного мира. Весь этот вибрирующий кавардак был подчинен какому-то странному ритму, который не мог быть приноровлен ни к каким нормальным движениям

частей человеческого тела, а только лишь к неравномерной смене судорожного подергивания и паралитического расслабления.

В первый момент генерал Грибов, несмотря на всю свою боевую закалку, не на шутку перепугался. Но тут же овладел собой и даже стал понимающе улыбаться молодому человеку, чтобы помочь ему преодолеть неловкость. Последний же воспринял это как поощрение. Уже при первых описанных выше звуках члены научного сотрудника заметно пришли в движение типа подергиваний, теперь же он больше не пытался сопротивляться очарованию ритма. Он вскочил на ноги — и пошло!

«Аб-дидл-дудл-бадл-бидл-будл-дадл-ридр, — выделяла музыка. — Юкс-муks-рикe-микс-ракс-вакс-букс-дукс», — вытворяли ноги и руки, голова и живот служителя науки.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — не удержался старый генерал и схватился за бока. Уже и он, казалось, не вполне сохранял контроль над собой.

И тут дверь дома растворяется и на крыльцо выходит Лида.

— Что я вижу, что я слышу! — воскликнула она с видимым удовольствием, и не успел никто оглянуться, как ее ноги, руки, бедра и голова стали производить такие же движения, как и соответствующие части тела «академика». Тут уж у Эдуарда Петровича отвалилась челюсть, ибо с этой стороны он еще совсем не знал свою дочь.

Вот так же и мы с тобой, мой вдумчивый, снисходительный, современно мыслящий читатель, приведены в некоторое замешательство всем происходящим. Но мы не вмешиваемся, пусть каждый развлекается как умеет. Ограниченные люди выделяются прежде всего тем, что без конца поучают других; плохие писатели — тем, что водят своих героев за ручку или по крайней мере назойливо комментируют их неблагоприятные действия, осуждая их или же оправдывая. Мы же не будем следовать дурным примерам и предоставим молодым людям делать то, что им нравится.

Итак, наш «академик» в ходе выполнения все тех же эпилептических движений передвигался рывками все дальше вперед, приближаясь к крыльцу; вскоре он

уже находился возле него и с помощью выразительных жестов приглашал даму к сошествию вниз. Она же и в самом деле спустилась таким же припадочным образом, рывками преодолевая одну ступеньку за другой, и гляди-ка, танец стал происходить уже более или менее симметрично, хотя каждый из партнеров сохранял свою самостоятельность. «Академик», не прерывая своих «джеркс», что в переводе с английского означает ни больше ни меньше, как подергивания, и достаточно громко, чтобы перекричать музыку, представился даме:

— Чарли, из университета! (Микс-рикс-дукс-дакс...)

— Давай продолжай,— только и ответила партнерша. (Дукс-рукс-мукс-букс...)

— Я тебя видел среди медаγγελочков. (Гукс-юкс-мукс...)

— Давно окончила. Врач! (Вакс-макс-бакс...)

— Здесь поле деятельности? (Гикс-микс-фликс...)

— Нет, отпуск. (Букс-дукс-кукс...)

— Скоро обратно в город? (Дакс-факс-ракс...)

— Вероятно... (Юкс-букс-мукс...)

— Прима! Повстречаемся.

Наконец музыка с адским грохотом прекратилась. Кавалер перестал дергаться и отвел даму к ее все еще не пришедшему в себя от изумления отцу... Но как ты думаешь, дорогой читатель, откуда слышатся эти «браво» и эти громкие аплодисменты?

Ну, разумеется, ты угадал! Наша проказница, ведающая почтальонша Гуля стоит у садовой калитки и протягивает спешащему навстречу генералу охапку органов печати.

Ведь это надо!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой принимаются важные решения, причем романтика отступает все дальше на задний план, а практические соображения выдвигаются все больше на передний

Обитатели дома на краю села пытались поначалу делать вид, как будто ничего особенного не произошло. Эдуард Петрович ходил удить рыбу, хотя у него про-

пала к этому всякая охота. Его дочь бегала на речку купаться, хотя уже и накупала себе насморк. За обедом оба были молчаливы и не в духе, однако старались быть по отношению друг к другу особенно вежливыми и предупредительными.

Вечерами Лида сидела с книгой на садовой скамье под большой яблоней, но никто не проходил по улице, чтобы «случайно» застать ее в этом отрешенном от мира состоянии. Отец, вооруженный лопатой и шнуром, исправлял садовые дорожки, которые, по его мнению, были недостаточно прямыми. Издали все еще доносилось равномерное стрекотание комбайнов, но уже с большими перерывами — добирались валки с последних, поздно созревших полей. Этот мирный и уж никак не противный звук действовал, однако, на генерала Грибова по причинам, неясным ему самому, в некотором роде раздражающе.

«Почему меня сердит этот едва слышный стрекот? — недоумевал он. — Странно. Такой безобидный звук. Более того — как бы полезный звук. То есть звук, свидетельствующий о том, что где-то делается нужная работа. Общественно полезная работа, а не такая работа для времяпрепровождения, которой я сейчас занимаюсь».

Придя к этой мысли, Эдуард Петрович отбросил лопату и сказал громко:

— К чертям!

— Что такое, папа? — осведомилась дочь.

— Я разобрался наконец, — сказал генерал. — Все было неправильно.

— Что было неправильно? Иди, сядь со мной. — Грибов тяжело опустился на скамью рядом с дочерью. — Папочка, отчего ты вдруг такой несчастный?

— Все было неправильно, — повторил Эдуард Петрович. — Я, словно желторотый юнец, позволил себе увлечься неясными романтическими фантазиями. Твое родное село, родная земля... Место на земле, где прошла твоя юность... Все это ерунда! На тракторном заводе в Петродаре мне предлагали хорошее место, начальником технического контроля. Это было бы дело по мне. Общественно полезная работа. В рабочем коллективе. Эх, надо было соглашаться!

— Значит, не прошло и месяца, а ты уже бьешь отбой?

— Что значит отбой? Просто я признаю свою ошибку. В моем возрасте нельзя ударяться в романтику. Всею свое время. Что было, то прошло. Из своих друзей юности я застал здесь, собственно, лишь Вилли. Да и он теперь не тот. А прочие... Одних взяла война, других позвали дальние дороги... И надо же было случиться еще истории с этим несчастным мостом. Дело не движется с места, и я не вижу выхода. Дошло до того, что меня уже пропесочивают в газете... Наконец, эта злобная персона, председательница колхоза, эта львица, она, как видно, поставила своей целью выжить меня из села, потому что увидела во мне опасного алкоголика... погоди, не перебивай, это же твои собственные слова. Впрочем, ее за это и винить нельзя, если принять во внимание, какие чудовищные слухи обо мне распространяются здесь.

— Это симпатичнейшая, добрейшая женщина, отец.

— Может быть, может быть. Только на меня ее доброты не распространяется. И с этим нельзя не считаться. Село есть село, и председатель колхоза в нем — это реальная сила. Если такая вбила себе что-нибудь в голову, то так тому и быть рано или поздно. Короче говоря, прежде чем нам успели нанести еще большие потери, лучше уж мы сдадим позицию, которую нам заведомо не удержать.

— Ты хочешь уехать, папа?

— А что мне остается делать?

— А я?

Добрая улыбка осветила лицо старого генерала, он обнял дочку за плечи.

— Детка! — произнес он, поцеловав Лиду в лоб. — Это для тебя серьезно, с твоим... редактором? Извини, я был тогда несколько... несдержан.

— Не знаю... Но я ведь не могу полностью довериться человеку, который повел себя неуважительно по отношению к тебе.

— Может быть, он и вправду не знал, что его поэтические стрелы летят в мою сторону? Если хладнокровно подумать, то вполне допустимо. И если взглянуть на дело реалистически, может быть, это действительно было бы для тебя не худшим вариантом...

— Стоп, папа! Теперь ты хочешь выдать меня замуж в лагерь противника. Или ты боишься упустить уникальную возможность наконец-то сбить меня с рук?

Умудренный жизненным опытом читатель на этом месте сразу отметит: ага, лед тронулся, здесь снова шутят! Ну что ж... Если у людей хватает силы на юмор, это значит, что самое плохое уже позади, ибо юмор есть признак избытка умственной энергии, и наоборот, где он отсутствует, там с умственным потенциалом наверняка не густо.

Старый генерал как будто окончательно стал снова самим собой. Он берет в руки ветку, разравнивает подошвами площадку перед скамьей и начинает чертить диспозицию. В середине он изображает крепость в виде зубчатой стены, которая с тыла опоясана рекой, но с других сторон открыта вражеским атакам. На эту крепость направлены орудия, установленные на высоте, господствующей над всей местностью. На вершине холма самодовольно и грозно сидит некое существо из породы кошачьих, которое генерал обозначает буквой «Л». Несколько в стороне он наносит окоп, из которого крепость обстреливается снарядами, весьма похожими на самопишущие ручки. В отдалении виднеется мост, окруженный мишными полями.

— Вот так мы выглядим. Битва проиграна. Что будешь делать, надо обладать достаточным мужеством, чтобы своевременно признать поражение. Вывод: завтра я еду в город и выясню на тракторном заводе, свободно ли еще предложенное мне место. Затем я подыскиваю покупателя для этого феодального замка. Ты пока что можешь оставаться здесь.

— Я поеду с тобой.

— Ну зачем же, детка? Спокойно можешь оставаться здесь.

— Я поеду с тобой.

— А твои... сердечные дела?

— Я поеду с тобой.

Тот, кто хоть немного знает женщин, не станет меня корить за то, что я, как автор, могу дать не больше пояснений к решению юной дамы, чем мы слышали из ее собственных уст. Она поедет — и все тут.

— Ну, как хочешь. А то могла бы и остаться.

— Я тут ничего не забыла.

— Точно так же, как и я.

— А мост?

— Надеюсь, что с мостом тоже наладится. Уж если и теперь... На всякий случай я еще переговорю сегодня об этом с Вилли. Кетати, он обещал сегодня зайти.

И действительно, спустя считанные минуты после конца рабочего дня Василий Иванович Крейслер уже находился в саду своего друга. Маленький фруктовый сад на краю села был для него как бы оазисом в бескрайности его служебных обязанностей, которые преследовали его на каждом шагу, день и ночь, в конторе и дома. Здесь было единственное место, где его не осаждали просители и предлагатели всевозможных услуг, охотники за прибыльной должностью, разочарованные работники прилавка и бог знает кто еще.

— Мир этому дому! — бросил радостно Василий Иванович. — Как идут дела у барона фон Лежебокера по части расправы со временем, которое некуда девать?

Лида тут же пошла побеспокоиться о самоваре, оставив мужчин одних.

— А как дела у сильно ответственного районного руководства, барахтающегося в гуще событий? — отплатит той же монетой хозяин дома.

— Ах, какие наши дела! Как всегда, с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны, все хорошо и даже лучше: урожай в районе отменный, погода превосходная, за два-три дня уберут последние гектары, завтра намечено рапортовать о выполнении обязательств. При этом и моя контора неплохо поработала.

— Так ведь это же замечательно!

— С одной стороны, оно так. А с другой стороны... Понимаешь, какая история, получил я сегодня подтверждение от верного человека из области. Товарищ Ананасов Иван Кузьмич, которого мы давно ожидаем, вот-вот прибудет. Теперь это уж наверняка. Собственной персоной. Не исключено, что даже завтра будет здесь.

— Вот и радуйся его приезду, раз у тебя дела хорошо идут.

— С одной стороны! Но как мы выглядим с другой стороны? Районный универмаг четвертый год строим — и все ни с места. И вдобавок мост! Тот мостик проклятый через Лягушачий ложок!

— Как, неужели он до сих пор еще не починен?

— Да где там, знаешь ведь, народ какой ненадежный... А теперь еще этот редактор со своим листком подливает масла в огонь.

— Так ты читал?

— А как ты думаешь? Тут все начальство всполошилось после такого наскока.

— Ты думаешь... на кого наскок-то?

— Ну, как на кого? Конечно же на районное руководство. Хотя там имена и не названы...

— На районное руководство...— Генерал задумался.— Слушай-ка, Вилли, я давно хотел переговорить с тобой об этом мостике...

Но на этом самом месте что-то снова сбило с толку Эдуарда Петровича.

— Ладно, об этом потом,— оборвал он разговор со странным беспокойством в голосе.— У Лиды, наверно, уже самовар готов, ступай к ней, а я сейчас к вам тоже припожалую. Ну, иди, иди уж, она там ждет нарвняка.

Несколько озадаченный таким поворотом дела, Василий Иванович послушно направился в дом, и теперь ничто не мешало Грибову посвятить свое внимание другому лицу, которое он перед тем заметил на улице. Кому же именно? Читатель немедленно догадался бы, если бы до него могло донестись проспиртованное дыхание указанного лица, которым оно давало о себе знать на большом расстоянии. Однако наш старый знакомый, по видимому, наметил себе другую цель посещения, ибо он не делал никаких попыток завернуть к Грибову, а вместо этого направлял свои шаги все время к новым предметам, которые каждый раз лежали в ином направлении, в результате чего траектория его движения выглядела довольно извилистой.

— Антон Филиппович! — позвал старый генерал.— Загляните ко мне на минутку.

Антон Филиппович замедлил ход, огляделся во все стороны и перед очередным столбом, который как раз возник на его пути, встал по стойке «смирно». Правда,

это стоило ему немалых усилий, ибо его члены, казалось, еще находились во власти инерции поступательного движения, колени продолжали подгибаться, как при ходьбе, в таком же ритме качалось и туловище, голова же принаравливалась к вращению земли, которое для бравого мастерового не проходило незаметным, как для нас, грешных; в то же время руки вели себя точно по уставу строевой службы — левая по шву, правая поднята для приветствия.

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ генерал! — гаркнул Шиффбауэр во все горло, хотя и со значительной хрипотой, в направлении столба.

— Гм-да,— заметил Эдуард Петрович.— Ну, подойдите же поближе... Так, благодарю вас, этого вполне достаточно,— спохватился он и закрыл ладонью свои дыхательные органы, как это делают люди на химическом заводе, когда случайно входят в цех без маски.— Вас что-то в последнее время совсем не видно, Антон Филиппович, как это понимать?

— Никак нет, товарищ генерал! Все в порядке в танковых войсках!

— Ну, так докладывайте, что у вас утешительного. Вы, наверно, хотите рассказать мне про мост?

— Какой мост имеют в виду товарищ генерал?.. А-а, мостик! Правильно, товарищ генерал! Все в порядке. Будет сделано. Через Лягушачий ложок. Если Шиффбауэр за что взялся, все будет в точности исполнено. Вот только...— Тут в организме мастерового произошло какое-то сотрясение, выразившееся ввне звуком «ик», и он был вынужден схватиться за штатетник.— Вот только насчет матерьяльчика... Авансик бы надоть...

— Че-го?! Опять?! Ну, знаете ли, видел я нахалов, но таких... Вы что же это, смеетесь надо мной?

— Ни в коем случае, товарищ генерал, и в мыслях не имею... Эт только в том смысле, что трудности возникают...

— Гм... Вы что же, и не брались еще? Ну, отвечайте!

— Ни в коем разе!.. В том смысле как же можно... Все будет в порядочке. Товарищ генерал совершенно могут быть спокойны.

Как будто спиртные пары у Шиффбауэра начинали

понемногу рассеиваться, ибо он уловил в тоне генерала решительные оттенки.

— Немного затянулось дело, хи-хи, но теперь мы это разом... Не извольте сумлеваться, товарищ генерал, если Шиффбауэр за что взялся...

— Так вот, обратите внимание, Шиффбауэр, или как вас там и через сколько букв, если это меняет дело. Я, конечно, мог бы уже сейчас познакомить вас с правосудием. Но я предоставляю вам еще одну возможность... И ни слова о добавках к авансу, вы получили достаточно.

— Никак нет, товарищ генерал! В смысле так точно, достаточно. Вот только матерьяльчик... Лес нынче в большой цене.

— Вы опять начинаете?

— Никак нет, товарищ генерал. Не такие мы люди. Уж если действительно чего, то самую малость. Так, на всякий случай, для верности... ик!

— Ну-ну, Шиффбауэр! Я дам вам потом двойную цену, но только потом, после того, как мостик... Вы понимаете? А теперь потрудитесь избавиться от вашего похмелья и беритесь за дело.

— Так точно, товарищ генерал. Все будет в лучшем виде.

Едва были произнесены эти трогательные прощальные слова, как с крыльца раздался приветливый голос.

— О-о, кого я вижу! — воскликнул Василий Иванович, жадно вдыхая прохладный воздух и большим красным в клеточку платком вытирая с лица пот, вызванный чаепитием. — Эдуард Петрович, иди скорей в дом, твоя дочь хочет тебе объявить выговор за уклонение от обязанностей гостеприимного хозяина. Иди, иди уж, а я хочу немножко подышать.

Чуть не силой затолкав Грибова в дом, Василий Иванович тотчас сбежал с крыльца и как раз успел подхватить Шиффбауэра под локоть, поскольку последний после выполнения поворота кругом никак не мог восстановить равновесие.

— Так это ты, почтеннейший, с одной стороны? А я его разыскиваю повсюду!.. Ах ты мошенник?! С каких же это пор ты начал себе позволять за нос водить районное руководство?

Ах, Василий Иванович! Не пугай бабу чертями, говорят у нас в селе, она и бога не боится.

— Даже никоим образом, товарищ начальник! Все будет в лучшем виде,— лепетал, не шибко оробев, мастеровой.

— Вот я тебе покажу в лучшем виде! Что вы сделали с мостом?

— Так точно! Ничего еще не делали.

— Как ничего?! Ну ладно, нет у меня времени здесь с тобой болтовней заниматься. Поимей в виду: все должно быть самым срочным образом закончено, понял или нет?!

— Так точно, будет сделано. За двадцать четыре...

— Я тебе покажу двадцать четыре часа! Еще сегодня должно быть все готово, понял?

— Так точно, будет все в порядке.

— Ну, так не стой тут столбом, ноги в руки — и рысью, и гляди, чтобы к утру все было как с иголки. Ночь работайте, с фонарями, при луне и звездах, а чтобы к рассвету, до первых петухов, с одной и с другой стороны!..

— Так точно! Вот только... в смысле матерьяльчика... Лес нонче в цене...

— Че-го? Ты еще меня обобратить хочешь?

— Так хоть пятерочку, для опох... на матерьял.

— Вот я тебе дам сейчас такую пятерочку...

Шиффбауэр начал тут же планомерное отступление.

— И бегом, чтобы пятки сверкали!

Шиффбауэр перешел на трусцу, однако темп его продвижения показался Василию Ивановичу все еще недостаточным.

— Рысью, и чтобы пыль из-под копыт, мошенник! — крикнул он в сгущающиеся сумерки, вдогонку удаляющемуся мастеровому. — А если до рассвета не будет готово, то пеняй на себя!

И только когда Шиффбауэр скрылся из виду, напоминая при своем удалении марафонского героя, который, доставив в Афины победную весть, уже на следующем шагу упал замертво, только тогда Василий Иванович еще раз глубоко вздохнул, утер с лица пот, вызванный отрицательными эмоциями, и, взбежав по крыльцу, направился в дом, чтобы продолжить чаепитие.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

*из которой читатель увидит, что у каждого
есть свои заботы*

Тот, кто знает нашу сегодняшнюю Зельмановку, которая, правда, все еще не стала городом, однако возвысилась все же до звания поселка городского типа, тот едва ли сможет представить себе, как она выглядела всего лишь несколько лет тому назад. Если принять во внимание, что какая-то часть моих читателей вообще не имела счастья посетить наше село, то станет ясной необходимость подробно описать хотя бы тогдашний центр, или, выражаясь скромнее, главный перекресток, иначе останутся неясными некоторые важные взаимосвязи, да и вообще будет затруднена ориентировка в водовороте событий.

Лучше всего нашей цели послужил бы чертеж с условными знаками, однако таковые в романах не приняты, это мне разъяснил мой бывший школьный учитель Христиан Христианович, к которому я обратился за советом. Поскольку я и без того уже нарушил немало правил сочинения романов с риском быть обвиненным в их незнании, то я решил на этот раз быть умником и сохранить верность общепринятому методу.

Итак, там, где теперь находится новый торговый центр, состоящий, как известно, из универмага, универсама, ресторана и гостиницы на шестьдесят спальных мест, стоял тогда старый, впрочем, довольно большой дом, построенный еще в царские времена. В те, теперь уже доисторические времена сей дом принадлежал известному во всей округе купцу по фамилии Вамсфехтер, владельцу паровой мельницы. В один прекрасный день, когда этот купец был давно уже не купец, он исчез внезапно со всем семейством и имуществом — отбыл в направлении Канады, и с тех пор не было от него ни слуху ни духу. Дом же, состоящий из нижнего этажа кирпичной кладки и верхнего из толстых сосновых брусьев, был брошен со всей своей мебелировкой, с просиженными мягкими креслами, изъеденными молью стенными коврами, двумя граммофонами и огромным черным роялем весом, наверное, в добрую тонну, на

произвол судьбы. Большинство предметов мебелировки было реквизировано в пользу беднейших крестьян, но то, что им в домашнем хозяйстве не годилось, как, например, рояль, было оставлено в купеческом доме, который был переименован в народом, а впоследствии же был возведен в ранг колхозного клуба. В поздние послевоенные годы колхоз построил себе новый клуб, старый же вамсфехтеровский дом был передан райпотребсоюзу под чайную.

В те дни, к которым относится наша история, эта чайная переживала период своего расцвета, что, впрочем, никак нельзя отнести за счет возросшего спроса и предложения на тот благородный напиток, который дал ей название, а скорее за счет операций с напитками куда более крепкими.

Вот так и стояло это внушительное здание посреди села как осевой пункт всей его жизнедеятельности. Здесь останавливали свои грузовики проголодавшиеся проезжие шоферы, под навесом широкой наружной лестницы, которая вела на второй этаж, в зал для посетителей чайной, задерживались за разговором случайно встретившиеся здесь знакомые, на скамейках перед домом ожидали автобуса или попутной машины те, кому надо было в город или на станцию. Земля вокруг чайной была утоптана до каменной твердости, хилые, захватанные, безлистные и посему точнее не определимые деревца, а также едва различимые приподнятости рельефа по бокам основной тропы, ведущей к лестнице, свидетельствовали о бесплодных попытках разбить здесь что-то наподобие сквера.

Там, где теперь расстилается асфальтированная площадь, тогда простиралась столь же обширная песчаная пустыня, и автомашины, чтобы не застрять в песке, преодолевали эту опасную зону с адским завыванием, ибо развивали наивысшую скорость на низкой передаче. По другую сторону площади, противоположную чайной, почти на том же месте, где теперь расположен Дом Советов, и тогда стоял райсовет, только это было далеко не такое изящное здание из стекла и бетона, а просто так называемый стандартный дом в два этажа, с маленькими окнами, темными коридорами и скрипучими деревянными лестницами.

Перед райсоветом, где помещались также все глав-

ные районные организации, стояла большая Доска почета с фотографиями передовиков производства, а по другую сторону, возле чайной, красовались красочные панно, призывавшие всех и вся приложить максимум усилий к поднятию сельскохозяйственного производства. Рядом с внушительными цифрами, соответствовавшими районным обязательствам, на этих панно были изображены золотые снопы пшеницы, толстые кукурузные початки, миловидные розовые поросятки и горделиво озирающиеся куры возле пирамид снесенных ими яиц. Но любимцей прохожих зрителей была веселая корова, которая, стоя около огромного молочного бидона, хвостом описывала заливчатскую петлю, да к тому же еще и доверительно подмигивала левым глазом. Корова, как и вся эта благодать, была произведением одного приبلудившегося художника, отлученного от своей бригады, занимавшейся росписью интерьеров на железнодорожных станциях. Выполнив вышеописанную наглядную агитацию за соответствующий гонорар, вырученные таким образом деньги он за одни сутки пропировал в той самой чайной при активнейшем участии всех наших деревенских бездельников.

А поскольку обращение с людьми искусства было для наших районных властей делом новым, они не придумали ничего лучшего, как погрузить бездыханную плоть художника в проходящую машину, которая держала путь в соседний район, с тем конечным результатом, что вскоре и там красовались все те же горделивые несушки и та же самая заливчатски подмигивающая корова. Столь точное совпадение не раз приводило в замешательство командированных из области, потому что по прибытии они не сразу могли сообразить, в какой же именно райцентр их занесло.

В тот поздний утренний час, о котором здесь пойдет речь, солнышко глядело с неба ярко и весело, окна чайной были широко раскрыты, и через них доносилось наружу деловитое позвякивание посуды. В полном безветрии не трепетал ни один листок, — ах, да, таковых в пределах видимости и не было. Но вот тишину нарушил донесшийся еще издали рев мотора, и вскоре у коровьего панно затормозил четырехтонный грузовик. И кто же вышел из его кабины? Это был не кто иной, как наш старый знакомый инженер Булат Кенжебаев, неутом-

мый шеф и представитель городской промышленности. Он легкой рысью взбежал по лестнице, на ходу вытирая руки обтирочными концами, но, достигнув верхней площадки, столкнулся вдруг нос к носу с редактором Отто Батцем, который, поковыривая спичкой в зубах, как раз покидал пределы чайной.

— О, инженер! — обрадовался журналист. — Ты уже продвинулся по службе до шофера, поздравляю!

— Возим зерно на элеватор. Это почетная задача.

— Знаю, знаю. Скажи-ка быстро, — с этими словами редактор достал из кармана блокнот, — кто там у вас в передовиках? Фамилия, имя, сколько тонн, сколько ез-док и так далее... ты понимаешь.

— Слушай, времени нет, поверь. Пропусти меня, я голоден.

— Ты недооцениваешь роль печати, технократиче-ская твоя душа.

— Зато я очень даже дооцениваю роль завтрака, пу-сти. А не то достану заводную ручку, — настаивал ин-женер и сделал при этом короткое, быстрое движение весьма угрожающей направленности.

— У тебя для этого не будет времени, — возразил юный редактор и с этими словами привел инженера с помощью короткой подножки и крепкого захвата двумя руками за плечо и запястье в весьма неудобное и даже противоестественное положение, при котором тот вроде бы и не лежал на земле, но в то же время и не стоял твердо на своих ногах.

— Так это и есть современный метод получения ин-формации для прессы? — осведомился косо повисший в воздухе инженер, однако не успел редактор ответить, как он молниеносно освободился от захвата и в следую-щий момент уже сам держал журналиста сзади обе-ими руками за плечи, а своим худым инженерским ко-леном довольно неуютно давил на редакторскую пояс-ницу. — Ну как, продолжим беседу или...

Однако журналист, не моргнув глазом, выскользнул как-то боком, унял, тут же поддел, словно крючком, одной ступней ноги инженера, а другой нанес ему тол-чок в область живота или даже несколько ниже. Тол-чок был мягким и достаточно осторожным, чтобы не доставить инженеру опасений за его будущее потомст-во, но, с другой стороны, достаточно сильным, чтобы

повергнуть его на пол. Таким образом, оба сидели теперь на площадке у двери чайной и были весьма довольны друг другом.

— Мастер спорта? — спросил инженер.

— Где там, — отозвался журналист. — Выше кандидата не удалось подняться. А ты?

— Все равно ты еще в хорошей форме. А я был мастером, но только давнее уж дело. Пошли, я дам тебе кое-какие сведения для печати.

Оба вошли в чайную, и редактору пришлось выпить еще стакан чаю, пока инженер сообщал ему желаемую информацию.

Поскольку литературе, как это широко известно, присуща тенденция обобщения в изображении типичных характеров и явлений, не говоря уже о ее воспитательной функции, я должен на этом месте решительно подчеркнуть, что моя скромная литературная попытка ни на что такое не претендует. Смешно было бы, если бы я стал выдавать вышеописанное вступление к интервью за нечто типичное и достойное подражания или же стал бы призывать всех журналистов к применению подобных методов. Знаю, знаю, мой дорогой читатель и критик, что девяносто девять из сотни интервью не имеют с описанным мною единичным случаем ни малейшего сходства. Но с другой стороны, что-либо умалчивать тоже не в моих правилах. Что было, то было. В конце концов, не моя вина, что тут случайно сошлись два мастера борьбы самбо.

— Погоди-ка, запиши вот еще что, — вспомнил вдруг Кенжебаев, когда Отто Батц собирался уже спрятать свой блокнот. — Мы наконец-то привели в порядок тот сломанный мостик через Лягушачий ложок. Львица поручила нам подвезти туда лесоматериал, мы должны были сгрузить его для каких-то строителей. Но подъезжаем, а вокруг ни души. Ну, мы народ не ленивый, все парни бывалые, один в саперах служил, пару часов повозились — и мостик готов. Теперь по нему даже тяжелые грузовики могут проезжать... Кто отличился? Пожалуйста... — Инженер назвал имена. — Только обо мне ни звука, понял?

— Ну, разумеется. Что для тебя моя газета, о тебе должно сообщать по меньшей мере агентство печати

«Новости» под рубрикой «Великие умы современности». Но погоди еще одну минуточку.

Они снова стояли на крыльце чайной, собственно, инженер уже был внизу, около лестницы, потому что он торопился, а журналист находился на нижних ступеньках. Перегнувшись через перила, он удерживал инженера за рукав.

— Ну что еще, говори скорей.

— Да подойди поближе, не могу же я кричать через всю площадь. Значит, так, ты совершаешь рейсы между колхозным током и железнодорожной станцией, да? Ты случайно не замечал, чтобы какие-нибудь пассажиры туда... ну, стремились?

— Что за пассажиры? Куда стремились?

— Ну, просто пассажиры... на станцию... Как тебе объяснить... Понимаешь, тут есть один человек, генерал в отставке, такой худощавый старик, у него такие густые волосы с проседью. А еще у него есть дочь, такая чернявая...

— Тебя интересует тот, который с проседью, или та, которая чернявая?

— Да нет. Это дело серьезное. Видишь ли, один мой знакомый был с этими людьми в хороших отношениях, с генералом, разумеется. А потом что-то случилось, не знаю, что именно,— одним словом, пробежала черная кошка. А теперь прошел слух, что генерал собрался отсюда уезжать. Теперь ты понял?

— По-моему, да.

— Светлая голова. Так не попадались тебе такие?

— Нет.

— Значит, если они тебе встретятся...

— Задержать?

— Это как выйдет, но во всяком случае сообщить.

— Одному твоему знакомому?

— Можно мне самому.

— Будет исполнено. Ни один генерал не проскользнет, а уж о чернявых и говорить нечего.

В это самое время Эдуард Петрович в гражданском костюме и с большим кожаным чемоданом в руке, а рядом с ним его дочь в плаще и с дорожной сумкой действительно были на пути к главному перекрестку села. Песчаная улица причиняла путникам немалые трудности.

сти. Генералу то и дело приходилось снимать шляпу, ставить на землю тяжелый чемодан и вытирать лицо носовым платком, ибо, несмотря на конец сентября, погода стояла, как уже не раз упоминалось, совершенно летняя.

— Ну и лето в этом году! Словно решили продлить его на порядочный кусок,— заметил Грибов, обращаясь к дочери.

Но Лида пропустила мимо ушей это высказывание. Ее лицо было строгим и задумчивым.

Наш же юный друг Отто Батц решил сделать еще одну попытку к примирению. Если бы он не мешкая направился бы к грибовскому дому, этим он в значительной части мог бы избавить меня от необходимости описывать происшедшие далее события, ибо по пути он непременно бы встретил, кого ему надо. Но не зря говорят, что если бы моей теще да рога, то это был бы чистый сатана. В том-то и беда, что не успел редактор сделать в намеченном направлении и нескольких шагов, как на его пути возникло непредвиденное препятствие. Некто иной, как Василий Иванович Крейслер, в сопровождении сотрудников своего аппарата двигался — и с немалой скоростью — от здания райсовета по направлению к чайной. Крейслер выступал впереди, будучи в шляпе и при галстукке, что указывало на высокую степень официальности.

Здесь я должен как бы заново представить нашего председателя райпотребсоюза, ибо тот, кто думает, что достаточно хорошо знает его из предыдущих глав, глубоко заблуждается. Дело в том, что Василий Иванович в личной жизни и Василий Иванович при исполнении служебных обязанностей — это совершенно разные люди.

Начнем хотя бы с внешности. Если Василий Иванович в частной жизни — это маленький, кругленький мужичок (кому нужны точные данные, вот они: рост 160, обхват в поясе 120), то к Василию Ивановичу как служебному лицу эта характеристика вовсе не подходит. Во-первых, толстая подошва вместе с высокой фетровой шляпой, которую он снимает только в своем кабинете, прежде чем опуститься в служебное кресло, придают ему несколько больше высоты. Во-вторых, кому

вообще пришло бы в голову измерять Василия Ивановича как служебное лицо его ростом? Его служебное достоинство излучает волны такой силы, какую не превзойти даже с помощью самой высокой антенны. Равным образом и служебный голос Василия Ивановича нечто совсем другое, чем его голос вне службы. Не то чтобы его высота или какие-то другие физические компоненты сильно бы отличались, нет, то-то и удивительно, что он вроде бы тот же самый и в то же время совершенно другой. Служебный голос Василия Ивановича приобретает особое звучание благодаря неким варьирующим оттенкам, не поддающимся никакому акустическому объяснению и никакому измерению с помощью приборов, то особое звучание, которое, пожалуй, правильное всего было бы обозначить как руководящее,— лучший его знает, в чем тут загвоздка. Также и употребляемые им в служебной обстановке выражения способствуют тому, чтобы Василий Иванович воспринимался согласно его служебному достоинству. Как построение фразы, так и выбор слов у Василия Ивановича при исполнении служебных обязанностей совсем иные, чем у него же вне службы или у всякого простого смертного. Ну, например, как ответит обыкновенный человек, если у него спросят, который час? Он скажет «половина первого» или, может быть, там «без четверти одиннадцать». И Василий Иванович отвечает точно так же, когда он вне службы. Совсем другое дело, когда он при исполнении. Правда, у него тогда мало кто спрашивается о времени, ибо обыкновенный человек обращается с подобными вопросами к себе подобным. Ну, а если уж такое случится... Когда однажды приезжая бабуса из Коми АССР, прибывшая навестить свою дочку и будучи не в силах разобраться в закономерностях открытия и закрытия наших торговых точек, спросила у него, который час, то Василий Иванович — он занимал тогда пост председателя райисполкома и как раз выходил из райсовета и направлялся к поджидавшей его «Волге» — ответил: «Ровно четырнадцать часов и тридцать семь минут, уважаемая гражданка!»

Однако то был исключительный случай, а то, что сейчас произойдет на наших глазах, это все совершенно в порядке вещей.

Когда редактор заметил приближение сильно ответ-

ственного лица, место которого в районном руководстве он еще не успел точно выяснить, во главе целой штурмовой группы, то первое, что пришло ему в голову, было спрятаться за лестницей, чтобы затем идти своей дорогой. Но момент был уже упущен, и Отто Батцу не оставалось ничего другого, как мило приветствовать предводителя отряда.

— Привет, привет, редактор,— ответил Крейслер на ходу (нового человека в деревне все знают). Василий Иванович хотел было уже продолжить поступательное движение, но переменял свое намерение, подумав, возможно, о значении печати. Нужно заметить, что давно уже отмеченная нами энергия руководящей деятельности с особой силой оживала у Василия Ивановича в критические моменты, подобные настоящему. Он вдруг остановился и окинул редактора взором полководца.

— Ты чего здесь околачиваешься? — спросил Крейслер без лишних церемоний.

— Я тут, видите ли, принимал пищу, с вашего разрешения, поскольку это необходимо для жизнедеятельности,— ответил Отто Батц, не совсем понимая, с кем он имеет дело.

— Похвально, похвально, молодой человек,— заметил Василий Иванович, которому понравилась основательность ответа.— Общественному питанию, с одной стороны, нужно всегда уделять внимание словом и делом, так как оно могучее средство раскрепощения женщины.— Поскольку Василий Иванович был при исполнении служебных обязанностей, он чувствовал себя обязанным высказывать глубокие мысли.— Ну, а с другой стороны, ты вроде бы холостой еще?

Среди сопровождающих лиц послышалось веселое оживление.

— Действительно так.

— Ну, ничего, хомут надеть никогда не поздно. Значит, принимал пищу. А я думал, ты тут с кем в прятки играешь, мне показалось, вроде ты за лестницу шмыгнуть собирался.

— Нет, это было просто так... минутная реакция. Своего рода условный рефлекс.

— Так-так, рефлекс. А ну-ка, пойдём с нами, реф-

лекс. Мы вот тут решили у Кочкина поинтересоваться, чем он людей кормит, а ты поприсутствуешь и напечатаешь обо всем в газете, чтобы масса была в курсе дела.

Посетители, которые в этот момент выходили из чайной, уступали дорогу начальственному кортежу, а заведующий чайной Сергей Прохорович Кочкин, услышав голос Василии Ивановича, уже мчался ему навстречу. Отто Батц, подавленный авторитетом неизвестного ему руководящего лица, вошел в число сопровождающих, и осмотр начался.

Как другу редакции, мне удалось завладеть блокнотом, исчерпанным стенографическими знаками, которым пользовался Отто Батц при этом памятном обследовании. Таким образом, нам теперь незачем ломать голову в догадках относительно содержания имевших место бесед, ибо мы можем на документальной основе ознакомиться с ними дословно. Многолетний труд по изучению различных стенографических систем, как немецких, так и русских, позволил мне с достаточной долей достоверности расшифровать нижеследующий текст:

Т р а п е з н а я

В. И. Ну, как качество пищи?

Посетитель. Да ничего так, сойдет. Только ножей нету. (Кочкин ругает официантку, она приносит нож.)

К. С ножами целая проблема. Все время недосчитываемся, так уж мы принимаем меры.

В. И. Надо повышать культуру обслуживания.

К у х н я

В. И. Ого, жарковато здесь. Ну, уважаемые, как живется-можетсЯ?

Повариха. Иди спроси свою жену, как ей живется и как можетсЯ. Тут сквозняки все время, от насморка спасенья нет.

К. Ты разговариваешь с самим председателем, Марта!

Повариха. Ах, так? Ну, значит, начхать ему на наши насморки.

В. И. Вот скоро построим новый торговый комплекс

с рестораном и кухней по последнему слову техники... Ой-ёй, это же будет пятно!

К. Ты что, не можешь поосторожней со своим бульоном!

Повариха. Ой, извините, ей-богу, нечаянно!.. Поставь-ка, солью надо посыпать... Вот так, а дома покажете жене, она-то уж знает, как выводить пятна.

К л а д о в а я

К. Здесь мы держим продукты длительного хранения.

Б. И. Гм... Что-то мышами пахнет, а?

К. Все возможно, все возможно, списания тут действительно немалые.

(Конец записей в блокноте)

Выйдя наружу и остановившись на верхней площадке лестницы, Василий Иванович взял заведующего чайной в оборот:

— Ну что у тебя, Кочкин, за порядок! Официантки без чепчиков, в буфете высохшие бутерброды, и нет чая! Где это видано — чайная без чая! Следовательно, таким образом: все недостатки немедленно устранить!

— Сегодня же проведем совещание, Василий Иванович.

— Совещание, совещание! Какое тебе совещание, Кочкин! Немедленно все устранить, с одной стороны и с другой стороны! Я тебе скажу по секрету: ожидаются гости. Не кто иной, как Иван Кузьмич, товарищ Ананасов, собственной персоной приезжает — сегодня!

— Ого!

— Вот тебе и ого! Представь себе, товарищу Ананасову придет мысль наведаться в твою чайную, что тогда?

— Уж как-нибудь прокормим, Василий Иванович.

— Ах, Кочкин, Кочкин, и чем ты только думаешь! Прокормить и без тебя найдется кому. Твое дело — порядок! Все должно блеснуть, как в день сотворения мира, понял? Персонал одеть во все новое, с одной стороны и с другой стороны, понял? Водку из буфета убрать, хорошее вино выставить. Полы драить, драить и драить, с одной стороны и с другой стороны, ясно?

— Будет сделано, Василий Иванович!

— Вот так, и блюсти готовность номер один.

— Хорошо, Василий Иванович!

— Ну, тогда за дело. Да, вот еще что. Мысль такая меня осенила. Вот когда товарищ Ананасов сюда придет, то было бы, с одной стороны, неплохо встретить его торжественным образом, с хлебом и солью, ты знаешь, как это делается, по русскому обычаю.

— Это было бы здорово.

— Понимаешь, как в старину! Полотенце, ну, конечно, чтобы чистое, с петухами, а на нем каравай, а на каравае солонка. И чтобы подносила все это хозяйство такая, ты понимаешь, красавица — кровь с молоком, с одной стороны и с другой стороны! Эдакая здоровенная, немного пусть даже толстоватая бабенка. Э-эх, вот это было бы дело!

— Это было бы замечательно, — подтвердил Кочкин.

— А одеть ее в полотняную блузу с широкими рукавами, да с вышивкой, черно-красно-синей, в крестик, понял? Одним словом, давай действуй, Кочкин.

— Я?!

— А кто же еще? Конечно, ты.

— Гм... Тут ведь вот какой вопрос, Василий Иванович. Конечно, если ваше такое указание, то наше дело выполнять. Но только где же я возьму такое полотенце, чтобы с петухами?

— Ах, Кочкин! — возмутился Василий Иванович. — Как можно быть таким беспомощным! Пошли кого-нибудь по домам, наверняка есть еще у людей такие вещи в сундуках.

— Ну ладно, это мы попробуем. Теперь взять обратно же каравай. Он же должен быть круглый, так ведь? А у нас не выпекают.

— Вот тебе на! Так вели испечь.

— Где же испечь, когда вы говорите, что сегодня вот-вот должны они прибыть, товарищ Ананасов?

— Тогда пусть спрашивают у людей, заодно когда за полотенцем пошлешь, наверно, немало еще таких, кто дома хлеб печет.

— Ну, это ладно, это мы попробуем. Теперь взять обратно женщину...

— Ну что ты за человек, Кочкин! — Тут Василий

Иванович почти что уже вышел из себя.— Что же ты, не можешь подходящую бабенку найти? Таковую вот, понимаешь! — Василий Иванович уперся кулаками в бока, одну ногу выставил вперед, голову закинул назад и подался грудью.— Да возьми вот хотя бы свою Дору, чем тебе не красавица?

— Правильно, возьмем Дору,— согласился Кочкин.— Но, понимаете, у нее сегодня выходной.

— Так пошли за ней, невозможный ты человек!

— Я в смысле сверхурочных...— начал было Кочкин, но взгляд председателя райпотребсоюза остановил его и заставил проглотить окончание фразы.— Так точно, будет сделано.

— Ну вот и давай, Кочкин. Делай это быстро, с одной стороны, и чтобы ничего не упустить, с другой стороны. Я буду в райисполкоме и, когда поближе к делу, дам тебе знак.

Отпустив Кочкина, Василий Иванович обратился к сопровождающим сотрудникам:

— За работу, товарищи. На всякий случай пошлем «Волгу» на станцию: бывало уже, что товарищ Ананасов приезжал не на своей машине, а поездом. Чтобы уж наверняка не прозевать.

Вся компания удалилась в направлении райсовета, лишь Отто Батц все еще оставался на лестнице, чтобы по горячим следам дополнить свои записи. К сведению читателя, этот молодой журналист имел обыкновение записывать не только то, что было нужно для его газеты, но и многое другое: а вдруг пригодится когда-нибудь впоследствии — может быть, действительно для его романа?

Но когда Отто оторвал взгляд от блокнота, он едва не зашатался, ибо увидел внизу генерала Грибова в гражданском костюме и Лиду, направляющихся к одной из скамеек. От растерянности его первым побуждением было снова скрыться в чайной, собраться с мыслями и наметить себе какой-то план действий. Он занял место за столиком у окна, откуда открывался вид на всю площадь.

Тем временем издали послышался рев тяжело нагруженной машины. Эдуард Петрович поднялся со скамейки, вышел на проезжую часть. Теперь промедление смерти подобно, подумал Отто Батц и ринулся из чай-

ной. И что же, ему снова путь был прегражден! Дора в выходном платье, а за ней обе ее подруги, доярка Розьхен и секретарша Валентина, стеной загородили проход.

— А, здравствуйте! Как хорошо, что мы вас встретили! — немедленно взяла редактора в работу энергичная Дора.

Напрасно Отто Батц пытался через плечи трех граций хотя бы взглянуть на площадь, — где там, «клеверный листок» без церемоний теснил его в глубь помещения.

— Так что вы скажете нашей дебютантке? — напирала Дора, уверенная в правоте своего дела. — Опубликованный материал имел, насколько нам известно, шумный успех. Иди сюда, Валюша, не стесняйся, скажи «здравствуйте» дяде редактору и подай ему ручку. Может быть, и у него найдется что тебе сказать.

Валентина, красная до ушей, поневоле выступила вперед, а обе подруги при этом немедленно отступили, так что она сразу осталась один на один с молодым человеком. Оба были в замешательстве, хотя и по разным причинам.

— Дора сказала мне, что вы меня разыскивали, — выдавила наконец Валентина.

— Кто? Я? — удивился Отто Батц. — Ах, да, действительно...

— Вы хотели мне что-то сказать? — продолжала выяснение несколько ободренная Валентина.

— Вам... Сказать? Ах, да, кое-что я действительно мог бы вам сказать... — Поскольку они стояли неподалеку от раскрытого окна, Отто Батц все время пытался заглянуть через ее плечо на площадь. — Дело в том, что... Я не сразу пришел к этой мысли... Но теперь, мне кажется, все станет на свои места... Я надеюсь, что мое предложение и для вас будет приемлемым... — На лице девушки отразилось радостное предчувствие. — Вы, так сказать, молодое дарование. Я бы даже сказал — многообещающее дарование. Об этом ясно говорит ваш стихотворный фельетон. Одним словом, я решил сделать вам предложение.

«Ого, так быстро?» — говорил, казалось, внезапно вспыхнувший веселый блеск в глазах Валентины.

— Уже и райком поставлен в известность, и там как будто не имеют возражений.

«Неужели он обязан согласовывать это в рай-
коме?» — екнуло сомнением сердечко нашей краса-
вицы.

— Короче говоря, скоро вы будете моей сотрудни-
цей.

— Ах! — ужаснулась Валентина, и это было все, чем
могла она выразить пережитое потрясение.

— Не пугайтесь! — Отто Батц почувствовал себя
обязанным укрепить ее дух. — Вы определенно справи-
тесь!

Но Валентина уже не слушала. Она кинулась разыс-
кивать подруг. Разыскав их, упала Доре на грудь и зарыдала:

— Девчонки, что мы натворили!

Приведенный в замешательство столь неожиданным
финалом своей беседы с будущей сотрудницей, Отто
Батц энергично почесал в затылке, однако он не мог на-
долго посвятить себя этому занятию, так как теперь в
чайную спешно вбежал инженер Кенжебаев:

— Как славно, что я тебя застал, редактор! Только
что твой генерал завел со мной разговор о том, чтобы
подвезти его с дочерью. Он, правда, в гражданском, но
орла узнаешь по полету. И чернявая тоже с ним. Ну,
брат, у тебя губа не дура.

— Хватит трепаться, мучитель! Выдавай конкрет-
ную информацию.

— Они хотят на станцию. На первый случай я их
заарканил, то есть взял с них слово, что они будут
ждать, пока я позавтракаю.

— Как, опять завтракать?.. Ах, понял! Ты настоя-
щий друг, позволь тебя обнять.

— А теперь будь любезен побыстрее улаживай свои
отношения с генералом и в том числе с его дочкой, дол-
го тут отсиживаться я не могу, работа есть работа, и
мне надо норму выполнять.

— Все произойдет в мгновение ока! — заверил Отто
Батц и рванулся вперед в полной решимости сделать
отъезд возлюбленной возможным только через его
труп.

Достиг ли он успеха, об этом мы узнаем только из
следующей главы, так как именно на этом месте у ме-
ня кончилась бумага. Теперь надо посмотреть, не зава-
лялись ли у детей еще где-нибудь не полностью испи-

санные тетрадки. И тогда мы пойдем без остановки дальше, по следам наших героев, обуреваемых страстями.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

которая вполне могла бы стать последней, если бы не необходимость в некотором заключении, долженствующем не оставить никаких сомнений у читателя, стремящегося к полной ясности

Не успел наш друг Отто Батц сбежать по лестнице, как он был почти что сбит с ног штурмовым отрядом, состоящим преимущественно из работников райпотребсоюза, который, находясь в высшей степени возбуждения, брал приступом чайную и при этом формулировал цели своей атаки с помощью воинственных выкриков:

— Кочкина сюда! Кочкина сюда! Где Кочкин? Редактор, Кочкина не видел? Давай выручай, ищи Кочкина!

Все происходящее не оставляло ни малейшего места для сомнения в том, что разыскание Кочкина имело решающее значение для дальнейшего существования человеческой цивилизации или по меньшей мере ее зельмановской части. Отто Батц почувствовал себя не вправе изменить своему долгу перед цивилизацией и общим потоком был возвращен в чайную, горя решимостью достать ее заведующего даже из-под земли. Однако Сергей Прохорович Кочкин сам уже бежал навстречу шумной компании.

— Что там стряслось? — спросил он встревоженно.

— Стряслось? — отозвался Давидка, ближайший помощник Крейслера. — Вот мы посмотрим, что стряsetся, если ты сейчас же не появишься с хлебом-солью, красавицей и полотенцем! «Волга» уже подъезжает!

Отто Батц, который то и дело поглядывал в окно, чтобы не потерять из вида предмет своего собственного интереса, и в самом деле заметил в отдалении маленькую голубую точку, позади которой вился густой шлейф пыли, быстро приближающийся к окраине села.

— Ну где я возьму вам эту хлеб-соль! — развел руками несчастный Кочкин. — Не выпекают ведь круглых...

— Давай, в темпе! — настаивал Давидка, грозно вращая единственным глазом.— Давай что есть!.. Ладно, сойдет и эта обычная буханка, если другой не находится. А это что за аппарат? Неужели это солонка? Ну ладно, за неимением лучшей... Воткни пару спичек в корку и закрепи на них эту свою солонку, чтобы не свалилась. Вот так. А полотенце где? Да разве это полотенце? Оно скорее похоже на портянку. Неужели нет другого? Ах, черт подери, они уже подъезжают!.. Ладно, рысью вперед, товарищи!

Вся компания стремглав помчалась вниз по лестнице и через площадку напрямик к дому райсовета. Многие посетители чайной, привлеченные необычностью происходящего, присоединились к процессии. Редактора же Батца помощник председателя райпотребсоюза потащил за рукав, ибо рассчитывал в конечном итоге попасть на страницы печати.

В этой суматохе никто не обратил внимания на длинного бородатого брюнета в форме студенческих строительных отрядов, в больших зеркаловидных солнцезащитных очках и с прибором научного вида на боку. Однако и брюнет со своей стороны не уделил ни малейшего внимания всеобщему волнению, а вошел в чайную размеренным шагом, величественно огляделся и направился в ту сторону, где он увидел одиноко сидящую за столиком молодую особу с заплаканным лицом.

— Прошу прощения,— осведомился вошедший,— свободно ли место?

— Да,— ответила девушка и шмыгнула носом.

Человек с бородой оценил взглядом знатока хорошенькое, как будто тонкой кистью нарисованное личико в каштановых кудрях, стройную, гибкую фигуру, и научный интерес почти полностью вытеснил мысли о плотном завтраке, которые привели его сюда.

— Разрешите представиться: Карл Торновский, научный сотрудник. Просто замечательно, что я вас здесь встретил. Именно ответов такого лица, как вы, мне не хватало для завершения социологического разреза жизни села, над которым я сейчас тружусь по поручению моего института.— Одновременно с этими словами ученый муж распаковывал свой прибор.— Готовы ли вы внести свой вклад в развитие науки? Если так, то, по-

жалуиста, говорите в эту блестящую штуку. Ваша фамилия? Имя? Возраст? Семейное положение — имеется в виду, замужем ли вы... Что вы говорите, я тоже еще холостяк, ха-ха!

Печальный взор нашей красавицы заметным образом прояснился, и веселые огоньки затанцевали в ее зрачках. Точно так же и научный работник становился с каждой минутой оживленнее. Вскоре он уже держал в своей огромной, как лопата, поросшей черным волосатым покровом лапе нежную ручку Валентины и подвергал научному анализу направление линий на ее розовой ладошке.

«Академик» был в ударе. Дело в том, что на сегодня он подготовился к завоеванию сердца Лиды Грибовой, и теперь ему было достаточно слова, приготовленные для одной, с заменой имени произнести перед другой.

Как жаль, что мы не можем задержаться возле этих двух детей природы, а то мы оказались бы свидетелями еще и того, как они достигли согласия о продолжении научного обмена мнениями вечером в парке и как они в конце концов рука об руку покинули чайную, потому что дожидаться вечера показалось им вовсе не обязательным. Ах, Валентина, уж не стоишь ли ты на пороге осуществления своей мечты?

Нам же следует поторопиться в другое место, ибо в центре событий находится сейчас не чайная, а участок площади перед райисполкомом.

Перед зданием райсовета собралась тем временем изрядная толпа — сотрудники отделов, случайные посетители, любопытные прохожие, покупатели расположенных поблизости магазинов. Если бы Отто Батц не был вовлечен в самый центр водоворота событий, то он заметил бы, что и Эдуард Петрович Грибов с дочерью, ведомые любопытством, поспешили сюда, к месту сбора людей.

Василий Иванович, по всей видимости, чувствовал себя здесь как рыба в воде. Размахивая шляпой, как дирижерской палочкой, он сновал туда и сюда перед группой других ответственных работников, среди которых случилось быть и Фриде Карловне Лёвен, с удовлетворением оглядывая собравшуюся толпу и отдавая последние указания:

— Повеселей, повеселей, уважаемые граждане, с одной стороны, с улыбочкой, платками помахивайте, у кого чистые, с другой стороны. Приветствия покрикивайте: мол, добро пожаловать, товарищ Ананасов, и все в этом смысле. Ага, вот наконец-то и хлеб-соль подошла! Иди сюда, Дорочка, и не надо смотреть так сердито. Сюда, сюда давай, наперед. Вот так, молодец! Ну, веселей!

В пылу ажиотажа Василий Иванович не замечал, что вафельное полотенце, на котором покоился хлеб, до этого было самое малое неделю в употреблении, что буханка была угловатая и вовсе не похожа на каравай и что своеобразный сосуд, который башенкой возвышался на пригорелой верхней корке буханки, был вовсе не солонкой, а спокон веков служил в качестве перечницы, о чем недвусмысленно свидетельствовали его припудренные черным дырочки. Однако для подобных мало воодушевляющих открытий у Василия Ивановича воистину не было времени, так как «Волга» уже въехала на площадь и в следующее мгновение затормозила с легким визгом тормозов прямо перед председателем райпотребсоюза.

Все замерли в благочестивом ожидании, воцарилась торжественная тишина. Дверца машины растворилась, и...

И кто же вышел из начальственного экипажа? Бьюсь об заклад, что даже самый искушенный из читателей не догадается. Я и сам не поверил своим глазам — лично я, находясь в тот памятный день от начала до конца на месте происшествия, — но факт остается фактом: Антон Филиппович Шифбауэр с одним, а может, и с двумя «ф» — вот кто предстал изумленным взорам собравшихся.

Но в каком виде! Лицо несчастного героя было помято и изборождено складками таким образом, как если бы он только что почивал на гранитной глыбе. В его волосах застряли комья глины и древесные стружки. Руки были связаны веревкой впереди туловища. Вслед за мастеровым из машины вылез и предстал перед настроившейся на торжественный лад публикой мужчина в милицейской форме, в котором присутствующие без труда узнали исполнительного сержанта Унгофуга.

Обескураженный людским скоплением, робея перед обилием высокопоставленных лиц, бравый сержант взял под козырек перед оказавшимся на переднем плане председателем райпотребсоюза и доложил по всей форме. Его доклад ввиду несомненной ценности как с точки зрения содержащейся в нем информации, так и с позиций языковедческой науки мы приводим в виде исключения полностью и без поправок:

— Товарищ начальник! Так что разрешите доложить в порядке прояснения обстановки. Доставлен злой умышленник, каковой изловлен на месте преступления благодаря бдительности местного населения. Как я нынешней ночью будучи дежурным по отделению, то приходит ко мне среди ночи шофер с колхоза и докладает. Едет он со станции, и когда к Лягушачьему ложку стал подъезжать, то видит тама шуруют неизвестные личности, бегают кругом нового моста, со всех сторон осматривают, под низ заглядывают, пляшут на вышеуказанном мосту натурально вроде какие психи, при этом с топорами в руках. На что вышеуказанный шофер при включенных фарах останавливает машину, и когда он берет заводную ручку и наступает на этих личностей со словами: «Бросай оружие, не то кости переломаяю», то двое сразу же дают ходу в неизвестном направлении с превышением скорости движения, а третий полез под мост в рассуждении скрыться. Тогда шофер выволакивает такового из-под моста и перво-наперво приступает при помощи разных речей проводить воспитательную работу среди вышеуказанного диверсанта и вредителя народного имущества. Когда же, обнаружив, что воспитательная работа идет вхолостую ввиду того, что указанный диверсант лыка не вяжет, он ему руки-ноги связал, ну конечно, руки он ему для удобства спанья связал спереди, и засунул обратно же под мост, а сам прямиком в отделение милиции, как и подобает сознательному гражданину. Тут я, как будучи дежурный, с моим помощником Глотцке-мотоциклистом прямиком на место, и видим, что под мостом фактически отдыхает вои энтот мужчина, какового длительное время не могли привести в бодрствующее состояние. А тут как раз «Волга» со станции порожняя идет, спасибо шофер помог затанцить его в машину, каковой и доставлен с целью привлечения по строгости закона.

В заключение бравый служака еще раз козырнул и сделал шаг в сторону.

Василий Иванович, играя челюстными мускулами, приблизился к захваченному злодею.

— Ах ты мошенник! — прошипел он сквозь зубы. — Ну, погоди, ты мне ответишь! — И добавил, обращаясь к милиционеру: — Уведи его!

Антон Филиппович огляделся по сторонам с мольбою во взоре. Обнаружив, что окружен большой толпой, он заревел, как медведь, прицелившийся лапу:

— Как же так, братцы?! За что же в каталажку?

В толпе послышался ропот.

— Что ж, нельзя уже и выпить человеку? Зачем же тогда вино продают? — высказывались мужчины.

— Спокойствие, граждане! — возвысил голос Василий Иванович. — Кто ни в чем не виноват, тому нечего бояться. Зря никому ничего не сделают. Милиция в точности разберется, что к чему. — А сержанту бросил нетерпеливо: — Да веди уж скорей, чтобы духу его не было!

Под взрывы смеха и при поощрительных возгласах герой дня был уведен чуть ли не торжественным манером.

Дора взяла под мышку свою церемониальную ношу и направилась обратно в чайную.

Василий Иванович поспешным шагом подался в свою контору. И исчез в ее недрах, окинув на прощанье место происшествия сердито-разочарованным взглядом.

Постепенно площадь стала пустеть. Вместо двух многочисленных групп — одна перед райсоветом, преимущественно из значительных лиц, другая через дорогу, где стояли простые граждане, — теперь на месте оставались лишь несколько человек. Председательница колхоза Фрида Карловна Лёвен сразу же была окружена людьми, которые поочередно и наперебой обращались к ней со своими делами. А по другую сторону теперь уже воображаемого коридора, образованного для подъезжающей машины и исчезнувшего после того, как рассосалась толпа, стоял генерал Грибов. Он, как заколдованный, глядел на первую группу, удаленную от него шагов на двадцать, естественным центром которой была немолодая женщина с уверенными движениями человека, привыкшего распоряжаться.

Поглощенный созерцанием, Эдуард Петрович не заметил даже исчезновения дочери, виновником которого был конечно же влюбленный редактор Отто Батц. Как только Шиффбауэр вступил на сцену событий, журналист не чувствовал себя больше связанным никакими обязательствами по освещению мероприятия и бросился на розыски возлюбленной. Теперь оба они уже стояли на другой стороне площади, возле весело подмигивающей коровы, держались за руки, и их беседа протекала в атмосфере единства и сердечности. Что же касается генерала Грибова, то его внимание было целиком поглощено упомянутой немолодой женщиной, которая стояла в окружении нескольких человек, оказывавших ей всевозможные знаки уважения.

Вдруг ноги генерала пришли в движение, в чем он, пожалуй, не отдавал себе отчета, и понесли его по направлению к той почтенной женщине. Если бы сейчас кто-нибудь окликнул его, или поставил ему какое-нибудь препятствие на пути, или, скажем, даже уколол бы его булавкой, то я уверен, что он на подобные раздражители вовсе бы и не прореагировал, ибо сходство с лунатиком в тот момент было у него совершенным. Медленно, с остановившимся взглядом, продвигался он в направлении цели, которая влекла его, как магнит.

Заметила ли председательница Фрида Лёвен, которая была этой целью, движущуюся к ней фигуру, и если заметила, то когда? Это, глядя на нее, определить было никак невозможно. Она как ни в чем не бывало продолжала разговор с окружающими ее людьми, и надо было быть очень внимательным, чтобы поймать несколько молниеносно быстрых взглядов, которые она бросила в направлении приближавшегося. Но при этом поведение ее нисколько не изменилось, не изменился даже ритм речи. И все же в атмосферу беседы вкралось нечто необъяснимое, неопределимое, что побудило людей выражаться более кратко и немедленно отходить с полученным ответом, независимо от того, удовлетворял он их или нет. Что-то в облике высокого, худощавого пожилого человека с явно военной выправкой, который подходил все ближе и ближе, пока наконец не остановился рядом, говорило им, что его дело важнее. Наконец удалился и последний проситель с уговором зайти в

другой раз, и никем больше не осаждаемая председательница колхоза Фрида Лёвен и генерал в отставке Эдуард Грибов стояли лицом к лицу.

Долго-долго смотрели они друг на друга.

— Фридель, — сказал Грибов наконец, — так это действительно ты?

— Да, Эдик, это я. Значит, узнал все-таки?

— Я узнал бы тебя из тысячи, — заверил Грибов и сделал шаг вперед. — Ты совсем не изменилась. Даже ямочки на щеках остались те же самые.

— Какая чепуха, ямочки! — усмехнулась Лёвен. — Если бы в них было дело...

Грибов сделал еще один небольшой шаг, теперь они стояли совсем близко друг к другу, и он протянул ей руку.

— Привет тебе, Фридель.

— Привет тебе, Эдик, — ответила Лёвен и подала ему руку. — Вот видишь, гора с горой не сходятся...

— Не верится даже! Ведь я считал...

— Да-да, у тебя были другие заботы.

— Фрида, как можешь ты так говорить! Мне сообщили, что... Я даже и понятия не имел...

— Да-да. А я то все о тебе знала, Эдик. С первого до последнего дня.

— Фридель!

— О твоём доме с садом...

— Фридель!

— О твоей дочери-врачихе. Она меня лечила.

— Фридель!

— О твоих невзгодах с мостом.

— Фридель, почему же тогда ты не дала о себе знать?!

— Я — о себе? Я здесь дома. Это ты прибыл изда-лека.

— Я же ничего не знал! Мне сказали...

Так они стояли посреди улицы, как будто в пустом пространстве, и ничего не видели вокруг себя, и прохожие делали большой крюк вокруг этой диковинной пары, а знакомые лишь вполголоса приветствовали Фриду Карловну Лёвен, ибо не сомневались, что она все равно их не слышала и не видела. Но наконец все же нашелся смельчак, решивший их потревожить, и это был не кто иной, как инженер Булат Кенжебаев.

— Эй, аксакал,— вмещался он без лишних церемоний,— это вы хотели ехать со мной на станцию? Если так, то поживей, а то уже мой график летит.

Фрида Карловна Лёвен вдруг как бы пробудилась от глубокого сна.

— Ах, это ты, инженер! — нахмурилась она.— Тебе мало того, что ты сам удираешь в кусты, теперь ты еще покушаешься и на мои лучшие кадры!

— Нет так нет,— не стал спорить инженер и с готовностью ретировался.

Вскоре взревел мотор его зерновоза. А когда он проезжал мимо, кого же, вы думаете, увидела председательница в его кабине? Там сидела юная Розьхен, она сияла, как ясное солнышко, и смеялась, как колокольчик.

Ах, Розьхен, Розьхен, это был для тебя твердый орешек! Нет, тебе не удалось отвоевать городского отца семейства для себя и для родного колхоза. Быть может, он уже завтра вернется к своему очагу и к своему заводу. Но ты молода и не делаешь из этого трагедии. Ведь сегодня он еще здесь! А день короток, и разлука близка. А посему — поезжай с ним, Розьхен, поезжай с зерновозом инженера на элеватор, до станции и обратно, через Лягушачий ложок, не пропусти эти последние минуты счастья — и смейся, смейся, ведь это лучше, чем плакать...

Какую-то долю секунды Фрида Лёвен была поглощена этими мыслями. Но тут же она вновь возвратилась в свою собственную, куда более сложную действительность. Орлиным взором она огляделась вокруг. И тут ей в поле зрения попался Глотцке-мотоциклист, который как раз остановился возле райотдела милиции.

— Павлуша, быстро, догнать зерновоз! Чтобы немедленно вернулся сюда!.. Ну что ж, Грибов, говорят, что ты по танкам был крупный специалист, так или не так? Значит, должен бы и в тракторах неплохо разбираться? А посему принимай машинный парк у этого шефа-инженера, этого дезертира, этого отца семейства, для которого нужды колхоза все равно что прошлогодний снег... А-а, ты уже здесь инженер. Вот и хорошо! А чего это ты смеешься?.. Ах, радуешься, что замена есть... А ты, Эдуард Петрович, чему радуешься?

— Я восхищаюсь тобой, моя председательница!

Мы, конечно, люди темные, но так, чтобы уж совсем ничего не понимали, этого тоже не скажете. Не зря же я годами был прилежным читателем такого уважаемого и весомого издания, как «Литературный собеседник», доставляемого мне по подписке почтальоншей Гулей, к немалому неудовольствию юной дамы, ибо слово «весомое» она понимает самым примитивным и поверхностным образом. Ну, да это ее дело, я же обязан этому печатному органу многими неоченимыми сведениями, в том числе и знанием правила, которое гласит, что написанное произведение не следует сразу же, не дав просохнуть чернилам, отправлять под печатный пресс, а надо на некоторое время отложить в сторону, чтобы авторские мозги остыли и при окончательном просмотре рукописи имелась бы уже некоторая дистанция, как бы отчуждение, позволяющее взглянуть на возможные шероховатости острым и непредвзятым оком. Разумеется, я не очень-то верю, что каждый, кто так охотно рассказывает об этой похвальной привычке литературных корифеев, непременно следует сам этому благому совету с риском пропустить вперед какого-то другого, менее начитанного автора. С другой стороны, мне известно из той же почтенной газеты, что способность к более или менее трезвой оценке собственных произведений приходит только с определенной степенью зрелости, тот же, кто с грехом пополам состряпал своего первенца, едва ли сумеет заметить его недостатки. Исходя из этого, давно разработан надежный прием, позволяющий каждому автору составить себе правильное представление о качестве собственного сочинения. Было бы лишним указывать здесь еще раз, что также и знания об этом методе почерпнуты мной все из того же литературного источника.

Короче говоря, я решил послать свою рукопись кому-нибудь на оценку. Поскольку в подобных случаях обращаются всегда к людям компетентным, то есть товарищам по профессии, то и я решил послать свою писанину моему свояку Алоису из Разнотравья, есть такая деревня неподалеку от Новосибирска, потому что он так же, как и я, является неплохим механизатором.

Моего свояка Алоиса можно по крайней мере в одном плане рекомендовать многим редакциям как образец для подражания: он не заставил меня слишком долго ожидать ответа. Не прошло и полугода, как почтальонна Гуля принесла мне нижеследующее письмо, которое я и воспроизвожу в полном объеме.

«Добрый день или вечер, мой дорогой свояк Генрих с семейством!

В первых строках моего письма позвольте вас сердечно приветствовать от вашего свояка Алоиса с его женой Амалией и детками Гильдой, Лео, Катей, Дитрихом и Карлушей! Оба близнеца, Филипп и Александр, еще ничего не смыслят, но также и от их имени примите то же самое. Мы все желаем вам доброго здоровья, больших успехов в работе и в личной жизни.

Дорогой Генрих, мы живем неплохо, зерновые в этом году выдались хорошие, только картошка из-за сухости получилась неважная, но наш сосед Нушке Яков, ты его знаешь, Генрих, он такой рыжий, с кривой шеей, который играет на скрипке, он уступил нам половину своего картофельного клина, потому что его старшего, Гришку, призывают в армию.

Мы все здоровы, Гильду мы прошлой осенью, слава богу, выдали замуж за вполне приличного парня, он так же, как и мы с тобой, работает трактористом и зарабатывает неплохо, водку не пьет и табак не курит, одна только с ним беда, что он футболист, это в свои-то двадцать четыре года. Но Гильда говорит, что это у него скоро пройдет. Между прочим, она его вскоре сделает папой, а меня тем же разом дедушкой.

Лео учится на тракториста и имеет хорошие отметки. Остальные пока еще ходят в школу и учатся хорошо, особенно Карлуша, который ходит еще и в музыкальную школу и уже делается нашему соседу-скрипачу опасным соперником, потому что он играет по нотам, как все самые знаменитые лауреаты.

Наша корова в этом году отелилась очень рано, но дает еще и сейчас порядочно молока, большое белое ведро получаем мы три раза в день полным до краев, так что дорожке золота стоит наша Кармен.

Мы очень рады, что также и у вас в семье все в порядке, что дети хорошо учатся и что в доме нет недостатка. Особенно мы приветствуем, дорогой свояк Ген-

рих, что ты подался в писатели. Писателей в нашем роду пока что еще не было, ты первый положил начало. Работа чистая, и получают они неплохо, насколько я знаю. Я желаю тебе большого успеха. Только я должен тебе сказать откровенно, что ты со своим писательством еще не так далеко ушел, чтобы заработать себе на пропитание, не говоря уже — прокормить семью. Если ты в своем романе насочинял всякое такое, что определенно делает тебе честь, и что ты под конец не перепутал, кого как зовут и чего он добивается, это я считаю тоже неплохим достижением, которое в сегодняшних романах не так-то часто и встретишь, мне попадались тут кое-какие в зимнее время. Но мне кажется, что как привести все к хорошему концу, этого ты пока еще не освоил. Ты заканчиваешь свой рассказ как раз на том месте, где надо было сказать решающее слово, а у тебя читатель должен гадать и теряться в предположениях.

Вот я спрашиваю тебя как читатель: что же твой генерал Грибов, человек во всех отношениях положительный, принял-таки он машинно-тракторный парк или нет? И что впоследствии стало с ним и с председательницей колхоза, женился он на ней в конце-то концов? Мы со своей стороны от души желаем ему этого, и ты его от нашего имени сердечно поздравь, если это действительно так и произошло.

Теперь возьмем его дочь, врачиху, — она и в самом деле заслуживает хорошего мужа, да, впрочем, и Отто Батц, как ты его описал, как будто не такой уж растяпа, хотя и журналист, — так вот ответь мне, пожалуйста: как было дело, не взяла ли она опять обратно свое согласие? Выходит что же, вскоре после свадьбы отца состоялась также и свадьба дочери или, может быть, наоборот, потому что молодежь в таких делах намного расторопнее, чем мы, старые щелкуны, и, может быть, она со своим редактором подала старикам хороший пример?

Теперь дальше: неужели этого несчастного Шифбауэра — или сколько там у него «ф» в его фамилии — неужели, я говорю, его действительно запрятали в кутузку? Это, однако, была бы величайшая несправедливость. Конечно, есть у мужика свои недостатки, но он, безусловно, никакой не преступник. Если ты готов

послушать моего совета, то пошли его лучше в соответствующую лечебницу, и когда он с помощью нашей советской медицины встанет на правильный путь, то он наверняка еще себя покажет, потому что мужик он с головой и с нужной специальностью. Я бы его потом женил бы на почтальонше Гуле, она бы наверняка научила ходить на коротком поводке.

Вот за Валентину я немножко боюсь, потому что на молодого научного работника, с которым она под конец пошла, не очень-то много надежды, но вообще-то кто может знать? А вдруг у них дело пойдет, только хотелось бы как читателю и на этот счет получить более точные сведения. А в редакцию нужно послать, конечно, не Валентину, а Дору, у нее для этой работы имеются все данные. Трудность здесь в том, что райком уже принял решение, но, может быть, все равно удалось бы уладить дело. Потому что за Дору, понимаешь ли, я по-настоящему беспокоюсь. С такими большими способностями и такой малой женской привлекательностью ей наверняка будет нелегко в жизни. Если не выйдет дело с редакцией, тогда ты должен выяснить, нельзя ли послать Дору куда-нибудь в большой город на учебу. Вот насчет Розьхен у меня меньше опасений, это девка самостоятельная, и она не пропадет, такую любой парень возьмет в жены. Конечно, историей с инженером она несколько подпортила себе репутацию, но это вскоре забудется и порастет травой.

Но прежде всего я недоволен тем, как ты обращаешься с Василием Ивановичем. Ты его как бы на полпути выронил из телеги, и никто не знает, что с ним будет дальше. Между тем известно, что ему недолго остается до пенсии. Правильно, у него тоже есть свои недостатки, но, в сущности говоря, он ничем не хуже других, а если он иногда ошибается, то ведь не зря говорят, что без греха один бог, да и того давно уже отметили. Я бы на твоём месте определил бы человеку приличную пенсию, он заслужил ее в поте лица, ибо такая работа, как у него, это явно не мед.

Вот эти соображения можно высказать по поводу твоего романа, или как там эти вещи называются у вашего брата писателей.

Мы гордимся тобой, дорогой Генрих, что ты не побоялся взяться за это дело, и желаем тебе в нем еще раз

большого успеха. Только свою основную специальность как механизатора ты ни в коем случае не должен бросать или даже запускать, что есть надежно, то есть надежно, и материя первична, а сознание — оно вторично.

Со многими приветами и поцелуями остаемся, как всегда, ваши

Алоис и Амалия вместе с детьми».

Вот таков текст письма моего свояка. Ну как мне теперь на все это реагировать?

То, что я до сих пор описывал в своей истории, является, как известно читателю, чистой правдой. Если бы я теперь последовал советам своего свояка Алоиса, которые он подал мне, конечно, с лучшими намерениями, то мне пришлось бы местами отступить от фактического развития событий. Ах, в жизни не все происходит так, как нам нравилось бы и как должно бы произойти по логике вещей!

Как быть? Поскольку я не желаю отступить от моего принципа придерживаться действительности, а с другой стороны, не хочу разочаровывать читателя, от имени которого, как я понимаю, выступает мой свояк Алоис, то мне не остается ничего другого, как предоставить читателю думать, что все завершилось именно таким образом, как это ему самому хочется.

Если же в действительности что-то отчасти вышло и не совсем так, то, да простит мне читатель, это единственное и продиктованное добрыми побуждениями послабление.

А если бы вообще моя воля, то я издал бы закон, вовсе запрещающий дописывать до конца романы и прочие истории, а возложил бы окончательное додумывание на читателя. В общем, каждый читатель сам себе сочинитель, в соответствии со своим жизненным опытом, своим вкусом и темпераментом. Вот тогда было бы меньше недовольных. Одному, например, пришло бы в голову женить редактора Отто Батца не на Лиде и даже не на Валентине, а на почтальонше Гуле, чтобы она быстрее доставляла его газеты читателям, — ну что же, пожалуйста! Другой, у которого, может быть, по-особому устроены мозги, посчитал бы необходимым Вильгельма Крейсlera в заключение его карьеры назначить

заведующим чайной, а официантку Дору сделать председателем райпотребсоюза. Тоже пожалуйста. Все было бы в руках читателя, каждый бы домысливал все по своему, как он считает нужным.

Ну, а я сейчас собираю свои бумажки и удаляюсь со сцены. Мой добрый верный «К-700» уже бьет копытом, чтобы помогать мне в создании материальных ценностей, которые, как известно, есть начало всех начал.

Итак, не сердись на меня, дорогой читатель, и желаю тебе много приятных минут при дальнейшем размышлении на заданную тему.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТУМАН	5
ТАКОЕ ДОЛГОЕ ЛЕТО	165

Алекс Дебольски
(*Алексей Борисович Дебольский*)

ТАКОЕ ДОЛГОЕ ЛЕТО

М., «Советский писатель», 1979, 304 стр.
План выпуска 1979 г., № 223

Художник *М. Э. Шлосберг*
Редактор *В. И. Золотухин*
Худож. редактор *Н. С. Лавренко*
Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *С. Б. Блауштейн* и *Л. И. Жиронкина*

ИБ № 1737

Сдано в набор 11.08.78. Подписано к печати 15.01.79. А 04210. Формат 84×108¹/₂. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 15,81. Тираж 30 000 экз. Заказ № 633. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.

